

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

ШАГИ

/STEPS

Т. 1. №1 2015

Журнал Школы актуальных гуманитарных исследований



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва
2015

ШАГИ
ШКОЛА АКТУАЛЬНЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY
OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC ADMINISTRATION
SCHOOL OF PUBLIC POLICY

SHAGI

/STEPS

Vol. 1. No.1 2015

The Journal of the School of Advanced Studies in the Humanities



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Moscow
2015

ШАГИ
ШКОЛА АКТУАЛЬНЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Главный редактор

С. Ю. Неклюдов (куратор направления «Теоретическая фольклористика»)

Редакция

М. В. Ахметова (зам. главного редактора)

М. И. Байдуж (зав. редакцией)

Н. П. Гринцер (куратор направления «Античная культура»)

М. А. Кронгауз (куратор направления «Социоллингвистика»)

М. Л. Майофис (куратор направления «Историко-культурные исследования»)

Д. С. Николаев (координатор редакции)

В. Ф. Спиридонов (куратор направления «Когнитивные исследования»)

Н. Ю. Чалисова (куратор направления «Востоковедение. Сравнительно-историческое языкознание»)

Е. П. Шумилова (координатор издательских программ ШАГИ)

Редакционная коллегия

Х. Баран, Университет Олбани (США)

Н. Б. Вахтин, Европейский университет в Санкт-Петербурге (Россия)

Л. М. Ермакова, Университет иностранных языков города Кобе (Япония)

А. Л. Зорин, Оксфордский университет (Великобритания); Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Россия)

С. Э. Зувев, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Россия)

С. А. Иванов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Россия)

К. Келли, Оксфордский университет (Великобритания)

А. А. Кибрик, Институт языкознания РАН (Россия)

С. Ловелл, Лондонский университет, Кингс Колледж (Великобритания)

В. А. Мау, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Россия)

Ю. Л. Слёзкин, Калифорнийский университет в Беркли (США)

Т. В. Черниговская, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

А. Шёнле, Лондонский университет королевы Марии (Великобритания)

Editor-in-Chief

S. Yu. Nekliudov (Responsible for Theoretical Folklore Studies Section)

Editorial Team

M. V. Akhmetova (Deputy Editor-in-Chief)

M. I. Baiduzh (Editorial Staff Manager)

N. Yu. Chalisova (Responsible for Oriental Studies and Comparative Linguistics Section)

N. P. Grintser (Responsible for Antique Culture Section)

M. A. Krongauz (Responsible for Sociolinguistics Section)

M. L. Maiofis (Responsible for Historical and Cultural Studies Section)

D. S. Nikolaev (Responsible for Philology) (Editorial Coordinator)

E. P. Shumilova (Coordinator of Publication Programs of the School for Advanced Studies in the Humanities)

V. F. Spiridonov (Responsible for Cognitive Studies Section)

Editorial Board

H. Baran, University at Albany, State University of New York (USA)

T. V. Chernigovskaya, St. Petersburg State University (Russia)

L. M. Ermakova, Kobe City University of Foreign Studies (Japan)

S. A. Ivanov, National Research University "Higher School of Economy" (Russia)

C. Kelly, University of Oxford (Great Britain)

A. A. Kibrik, The Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Russia)

S. Lowell, University of London, King's College (Great Britain)

V. A. Mau, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Russia)

Yu. Slezkine, The University of California, Berkeley (USA)

A. Schönle, Queen Mary University of London (Great Britain)

N. B. Vakhtin, European University at St. Petersburg (Russia)

A. L. Zorin, University of Oxford (Great Britain); The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Russia)

S. E. Zuev, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции..... 9

СТАТЬИ

Интерпретативные модели в культуре

- А. Н. МЕЩЕРЯКОВ. Зарождение концепции «душа слова»
(*котодама*) в древней Японии.....10
- М. В. АХМЕТОВА. «Неправильное» именование как оскорбление
(об одном аспекте вариантности катойконимов).....19

Советское образование и политики идентичности

- М. Л. МАЙОФИС, И. В. КУКУЛИН. Советская система образования
и производство социальных идентичностей в 1920-е —
начале 1940-х годов40
- А. В. КРАВЧЕНКО. *Вожатый* в пионерских журналах 1920–1930-х годов:
идеологический концепт и художественная репрезентация46
- Н. Ю. ХАРИТОНОВА. Система воспитания в детских домах для
испанских детей в Советском Союзе: к истории педагогических
идеологем.....74

Когнитивные исследования

- Ю. Е. КРАВЧЕНКО. Развитие представлений о причинах
эмоциональных переживаний в детском возрасте.....95
- Т. О. ЮДИНА, Т. Н. КОТОВА. Развитие просоциального поведения
у детей раннего возраста.....108
- В. М. АЛЛАХВЕРДОВ, М. В. АЛЛАХВЕРДОВ. О чем проще не думать?
(О природе струп-интерференции)122
- Е. С. ГОРБУНОВА. Исследования «пропусков при продолжении
поиска» в рентгенологии и когнитивной психологии138

Н. И. ЛОГИНОВ. Возможности когнитивного подхода к изучению бредовой симптоматики	147
М. И. МОРОЗОВ. Процесс различения реально предъявленной информации от достоверной (на примере воспоминаний)	159
В. М. АЛЛАХВЕРДОВ, О. В. НАУМЕНКО, М. Г. ФИЛИППОВА, О. В. ЩЕРБАКОВА, М. О. АВАНЕСЯН, Е. Ю. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, А. С. СТАРОДУБЦЕВ. Как сознание избавляется от противоречий	165
В. Ф. СПИРИДОНОВ, Э. В. ЭЗРИНА. Психологические модели языковой системы билингва	182

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТЫ ШАГИ

В. Ф. СПИРИДОНОВ. О когнитивных исследованиях и проектах	199
Г. С. СТАРОСТИН. Лаборатория востоковедения и сравнительно-исторического языкознания	202
А. С. КАСЬЯН, Г. С. СТАРОСТИН. Новые методы в генеалогической классификации языков и лингвистической реконструкции	206
М. В. ШУМИЛИН. Политический контекст римской поэзии	213
А. С. АРХИПОВА, Д. А. РАДЧЕНКО. Событие и общественное мнение: мониторинг актуальных городских текстов	223
О. Н. ЗАПОРОЖЕЦ, Е. Г. ЛАПИНА-КРАТАСЮК. Люди в сетевых пространствах города: о предварительных результатах проекта «Медиа и технологии в современном городе»	232

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

М. В. АХМЕТОВА. Международная конференция «Ситуация постфольклора: городские тексты и практики»	242
А. В. ИВАНОВА, А. К. КАСАТКИНА. Цифровой коллоквиум «Усложнение гуманитария: дигитальная ученость в эмпирическом исследовании»	245
С. Н. ЗЕНКИН. Международная конференция «Русская интеллектуальная революция 1910–1930-х годов»	252

CONTENTS

Editorial note.....	9
---------------------	---

ARTICLES

Interpretative models in culture

A. N. MESHCHERYAKOV. The origin of the concept of “Word Soul” (<i>kotodama</i>) in ancient Japan	10
M. V. AKHMETOVA. “Irregular” naming as abuse (on one aspect of variance of katoikononyms)	19

Soviet education and politics of identity

M. L. MAIOFIS, I. V. KUKULIN. The Soviet educational system and production of social identities in the 1920s — early 40s	40
A. V. KRAVCHENKO. “Vozhatyi” in Soviet magazines for Pioneers in 1920–1930s: Ideological concept and fictional representation	46
N. YU. KHARITONOVA. The education system in boarding schools for Spanish children in the Soviet Union. Towards a history of pedagogical ideologemes	74

Cognitive studies

YU. E. KRAVCHENKO. Development of children’s understanding of emotions of other people	95
T. O. YUDINA, T. N. KOTOVA. Prosocial development in toddlerhood	108
V. M. ALLAKHVERDOV, M. V. ALLAKHVERDOV. What’s easier not to think about? (On the nature of Stroop interference)	122
E. S. GORBUNOVA. Studies on subsequent search misses in radiology and cognitive psychology	138
N. I. LOGINOV. The cognitive approach to delusions: Opportunities and perspectives	147
M. I. MOROZOV. The process of distinguishing between really presented and generated information (in memory tasks)	159

V. M. ALLAKHVERDOV, O. V. NAUMENKO, M. G. FILIPPOVA, O. V. SHCHERBAKOVA, M. O. AVANESYAN, E. YU. VOSKRESENS- KAYA, A. S. STARODUBTSEV. How consciousness gets rid of contradictions	165
V. F. SPIRIDONOV, E. V. EZRINA. Psychological models of a bilingual language system	182

SCHOOL OF ADVANCED STUDIES IN THE HUMANITIES: RESEARCH TRENDS AND PROJECTS

V. F. SPIRIDONOV. About cognitive studies and projects	199
G. S. STAROSTIN. Laboratory of Oriental studies and comparative linguistics	202
A. S. KASSIAN, G. S. STAROSTIN. New methods in genealogical classification of languages and linguistic reconstruction.....	206
M. V. SHUMILIN. Political context of Roman poetry	213
A. S. ARKHIPOVA, D. A. RADCHENKO. From event to public opinion: Monitoring contemporary urban folklore	223
O. N. ZAPOROZHETS, E. G. LAPINA-KRATASYUK. People in the networked city: Preliminary results of the research project “Media & Technologies in Contemporary City”	232

ACADEMIC LIFE

M. V. AKHMETOVA. International conference “Situation of postfolklore: Urban texts and practices”	242
A. V. IVANOVA, A. K. KASATKINA. Digital colloquium “Sophisticating the humanist: Digital scholarship in empirical research”	245
S. N. ZENKINE. International conference “Russian intellectual revolution, 1910–1930”	252

ОТ РЕДАКЦИИ

Представляем читателю новый междисциплинарный журнал «Шаги/Steps», посвященный обсуждению актуальных проблем современного гуманитарного знания. Он издается Школой актуальных гуманитарных исследований (ШАГИ), созданной в сентябре 2013 г. при Институте общественных наук РАНХиГС, и в первую очередь ориентирован на презентацию результатов научной деятельности, которая осуществляется в рамках представленных здесь дисциплин (античная культура, востоковедение и сравнительное языкознание, историко-культурные и когнитивные исследования, социолингвистика, теоретическая фольклористика). Внутреннее единство Школы поддерживается методологическим сближением научных позиций и научных занятий ее коллектива, тематическим взаимодействием этих занятий, проницаемостью границ между отдельными проектами и, соответственно, направленностью на интеграцию проводимых здесь изысканий.

Журнал предназначен быть трибуной и для более широких дискуссий, которые выходят за «цеховые» рамки лабораторий Школы, потенциально покрывая все пространство гуманитарного знания нашего времени (речь идет об исторических, филологических, антропологических, культурологических, искусствоведческих, философских науках). Помимо работ на русском языке, журнал собирается предоставлять свои страницы для англоязычных публикаций; не исключается и выпуск отдельных англоязычных номеров. Надеемся, что появление такого междисциплинарного издания, объединяющего специалистов по истории, филологии, языкознанию, антропологии, культурологии, помимо всего станет очередным шагом на пути продвижения в мировой науке достижений отечественной гуманитаристики.

*Мещеряков Александр Николаевич
доктор ист. наук, профессор,
заместитель заведующего Лабораторией
востоковедения и сравнительно-исторического
языкознания, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: meshtorop@yahoo.com*

ЗАРОЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ДУША СЛОВА» (КОТОДАМА) В ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ

Аннотация. Концепция «душа слова» (*котадама*) активно разрабатывалась в Японии периода Токугава, однако ее истоки восходят к древней Японии. На основе анализа текста официальных хроник «Нихон коки» и «Сёку нихон коки» автор прослеживает процесс японизации жизни японского двора, составной частью которого явилось празднование сорокалетия императора Ниммё (849 г.), во время которого монахи храма Кофукудзи поднесли ему «длинную песню», составленную на японском языке, в котором, по их мнению, и обитает «душа слова», отсутствующая в других языках.

Ключевые слова: древняя Япония, уникальность японского языка, «душа слова» (*котадама*), император Ниммё, «Нихон коки», «Сёку нихон коки».

Культура и государственность древней Японии многим обязаны Китаю — тогдашнему культурному донору для всего дальневосточного ареала. Об этом свидетельствуют многие факты: усвоение в Японии иероглифической письменности и вмонтированных в нее смыслов, трансплантация многих китайских государственных институтов, заимствование технологий, обыкновений и т. д. Эти процессы происходили особенно активно начиная с середины VII в. Таким образом, культурная зависимость Японии от Китая была чрезвычайно велика. Временами похожесть Японии на Китай (прежде всего это касалось императорского двора) воспринималась как доказательство «культурности» Японии. Вместе с

тем потребность в самоидентификации вызывала к жизни и поиски таких параметров, по которым Япония отличается от Китая. Совершенно естественно, что одним из главных таких параметров стал японский язык, который по своему строю радикально отличается от китайского. В данной статье мы рассматриваем первые попытки придания японскому языку статуса уникального.

Понятие «душа слова» (*котодама*) широко употреблялось мыслителями эпохи Токугава (1603–1867), причем его популярность возрастала с течением времени. Только в первой половине XIX в. около 50 произведений содержат этот термин в названии. Если же добавить к ним сочинения, в которых «душа слова» обсуждается в той или иной форме, то станет понятно, что это понятие привлекало к себе действительно большое внимание японских мыслителей этого времени [Тоёда 1980: 182]. В особенности это касается ученых-нативистов — представителей так называемой школы национального учения (*кокугаку*), которые ставили перед собой задачу возрождения «исконно японской» культуры, «не испорченной» иноземными влияниями. Поскольку в качестве отправной точки рассуждений этих ученых выступал «уникальный» японский язык, то неудивительно, что для обоснования своих конструкций они придавали огромное значение понятию «душа слова», которая обитает только в «теле» японского языка. В своих рассуждениях они опирались на древние тексты, в которых говорится о *котодама*. Но таковых обнаруживается на самом деле немного. Тем не менее эти упоминания послужили основой для развертывания про-странных теорий.

Мыслители «национальной школы» сочиняли свои трактаты в прозе, однако все ранние упоминания о *котодама* встречаются только в поэтическом дискурсе. Впервые этот термин фиксируется в японоязычной поэтической антологии «Манъёсю» (вторая половина VIII в.), которая является отражением бодрого и оптимистического настроения элиты, обусловленного прежде всего успешным ходом государственного строительства (подробнее см.: [Мещеряков 2014: 19–41]).

Какиномото Хитомаро, считавшийся непревзойденным выразителем японского духа, оставил нам два упоминания о *котодама*:

На перекрестье тысячи дорог, где есть душа слов, вечером спросил-загадал. Встречусь ли с той девушкой, которая была названа?
(«Манъёсю», № 2506)

В данном стихотворении утверждается, что *котодама* обретается на перекрестье дорог, где часто проводили гадания и ритуалы. В таком месте следует произносить слова не профанные, а сакральные, которые имеют особую силу и действенность. По всей вероятности, в древней Японии имелось определенное количество вполне конкретных мест такого рода, которые в значительной степени определяли ее сакральную географию.

Однако вместе с формированием централизованного государства понятие «душа слова» стало прилагаться прежде всего к сердцу японской государственности — провинции Ямато (именно там — в Фудзивара и Нара — были расположены первые постоянные резиденции государей). «Ямато» нередко выступает и как обозначение Японии в целом — даже после переезда императорского двора в Хэйан (провинция Ямасиро) в 794 г., хотя после этого в официальных формульных документах при перечислении провинций страны Ямасиро стала упоминаться первой («Сёку нихон коки», Дзёва, 3-10-23, 836 г.¹).

Согласно другой песне Какиномото Хитомаро, именно в Ямато обитает душа слова. В предшествующей ей песне № 3253 земле Ямато придаются привычные формульные характеристики («Божественная страна обильных тростниковых равнин и удивительных колосьев риса» — Тоёасихара мидзухо-но куни камунагара) и содержится пожелание благополучия неизвестному адресату, который пребывает в этой земле. В ответной песне Хитомаро говорится:

Страна Сикисима-Ямато счастлива тем, что в ней есть душа слова.
Пребывай же в счастье! («Манъёсю», № 3254)

Сикисима — это древний топоним, относящийся к территории, которая впоследствии стала именоваться Ямато. Как видно из приведенного стихотворения, само пребывание в этой земле является определенной гарантией счастливой жизни.

Яманоуэ-но Окура, другой знаменитый поэт «Манъёсю», в песне № 894 соотносит Ямато с «душой слова» почти в тех же словах, что и Хитомаро. Это, вероятно, означает, что такое определение было общим местом. Вместе с тем в песне Окура упоминаются еще два распространенных признака земли Ямато: небо, с которого боги узрели страну Ямато (отсылка к мифу о божестве Ниниги-но Микото, который увидел с неба прекрасную землю Ямато и спустился туда), и пребывание в Ямато государя:

Со времен богов передавалось, что страна Ямато — это страна, увиденная с неба, в которой есть грозное божество-государь и которая счастлива тем, что в ней есть душа слова, — так говорят, так передают.

Таким образом, «душа слова» описывается как одна из славных и исключительно положительных характеристик земли Ямато, связанной с синтоистскими божествами и императором (потомком богов).

Следующее упоминание *котодама* фиксируется в письменных источниках только через столетие. Вероятно, это связано с тем, что на достаточ-

¹ При ссылках на официальные хроники (все они были написаны по-китайски) мы приводим название хроники в кавычках, девиз правления, указанные в хронике год, месяц, день и перевод даты на европейский календарь.

но длительное время китайские стихи вытеснили японские из официальной (придворной) письменной культуры. Вместе с тем понятно, что, хотя понятие *котодама* и было подзабыто, оно все равно оставалось в «рабочем состоянии». В официальной хронике «Сёку нихон коки» понятие «душа слова» появляется в записях за 849 г., когда отмечалось сорокалетие императора Ниммё (810–850, на троне 833–850). Данное сообщение описывает *котодама* наиболее полно и существенно расширяет наши представления о том, как мыслилось понятие «душа слова».

Праздничные мероприятия по случаю юбилея государя продолжались весь 849 год (праздновался не столько день рождения, сколько «год рождения»). В этой череде официальных мероприятий первым оказалось поздравление императору монахами храма Кофукудзи («Сёку нихон коки», Касё, 2-3-26, 849 г.). Хроника сообщает также о поздравлениях и подарках, поднесенных позднее другими подданными: управителем провинции Микава, монахами храма Якусидзи, супругой бывшего государя Сага по имени Татибана Катико, наследным принцем Митиясу, сыновьями императора и представителями рода Минамото.

Поздравление монахов Кофукудзи оказалось наиболее семантически нагруженным. Монахи преподнесли императору изображения, на которых были представлены символы долголетия, радости и весны: легендарный долгожитель Урасима Таро, небесные девы, обвитая глицинией (*фудзи*) сосна (символ нерушимой связи императорского рода и влиятельнейшего рода Фудзивара), журавли, птица, камышёвка (считалась вестницей весны). Монахи представили и благопожелательную песню собственного сочинения на японском языке. В ней, в частности, говорилось: территория Японии приняла свой окончательный вид, когда синтоистское божество Сукунабикона засадило землю тростником и осокой (символы плодородия земли); благодаря этому каждый год в эту страну приходит радостная и солнечная весна; японские государи наследуют солнцу и сменяют друг друга, становясь явленными божествами и превосходя по этому параметру (видимо, имеется в виду божественность) как варварские страны, так и «страну соседнюю» (т. е. равную Японии), под которой понимался Китай.

Далее объясняется, почему для поздравления был избран именно японский язык:

Слова, обращенные к богам и буддам для вечного продления лет [государя], являются приближением-возвратом к исконным словам этой страны. Эти слова не были заимствованы из Китая, мы не нанимали знатоков, пишущих [китайские] письма, это слова, передававшиеся в нашей стране, в богатой душою слова Присолнечной стране Ямато, в речах богов, которые присутствуют в старых речениях. При поисках истоков обнаруживается, что эти слова использовались при обмене песнями, в божественных действиях и в делах государевых. Сообразуясь с прошлыми временами, этими словами мы на сей раз почтительно обратились к буддам и богам, вознеся эти слова в молитве.

Таким образом, признаки устной речи, содержащей в себе *котадама*, суть следующие: 1) это слова, с помощью которых разговаривали синтоистские боги; 2) эти слова перешли к людям, которые обитают на территории Ямато; 3) эти слова употребляются в поэтической речи, во время отправления синтоистских ритуалов и в делах (речах) государя, обладающего статусом «явленного бога»; 4) адресатом этих слов являются люди (в случае со стихами и указами императоров) или же, как в данном поздравлении, боги и будды, которым вняты молитвы, вознесенные с помощью тех слов, которые имеют «душу слова»; 5) эти слова имеют особую силу воздействия на адресата, силу, которая может продлить жизнь государя.

Из известных нам классов текстов вышеприведенным признакам соответствуют стихи (*вака*, *ута*), синтоистские молитвословия *норито*, указы (*сэммё*) императора, написанные и оглашенные на японском языке². И *норито*, и *сэммё* представляют собой поэтические тексты. Если рассмотреть эти тексты в свете теории коммуникации, то *норито* возглашаются жрецами и имеют адресатом богов; *сэммё* — это речь государя, обращенная к подданным; *ута* (*вака*) — стихи, сочиняемые в придворном кругу, которые могут быть обращены как к людям, так и к богам. Иными словами, стихотворная речь является наиболее универсальным способом ритуально-церемониальной коммуникации, чем в значительной степени объясняется то выдающееся место, которое принадлежит стихосложению в японской культуре.

Прочитывая поздравление монахов, составители хроники следующим образом комментируют его уже на китайском языке:

Суть песен Ямато состоит в том, чтобы приводить в движение сердца людей. Ныне настали дурные времена, Путь [поэзии Ямато] тоже пришел в упадок, но среди монахов сохраняется много старых слов. Если утрачивается церемониальность [при дворе], следует искать ее в полях. Поэтому [монахи] собрали [старые слова] и записали их.

Вопрос о том, почему поздравление на японском языке было произнесено именно буддийскими монахами, остается не совсем ясным. Было бы «логичнее», если бы такое поздравление возгласили синтоистские жрецы: буддийские канонические сочинения бытовали в Японии на китайском языке, жрецы же возглашали молитвы на японском. Однако хроника не фиксирует поздравлений императору Ниммё, принесенных синтоистскими институтами, что, вероятно, свидетельствует об их меньшей вписанности в систему государственных отношений (речь идет именно об институтах, а не о синтоистских божествах). Кроме того, буддийское духовенство было более образованным и ориентированным на текстопорождающую активность во всех областях, социализация же жрецов предполагала прежде всего воспроизведение ритуалов (не случайно теоретическое осмысление

² О *норито* и *сэммё* см.: [Ермакова 1991].

котодама даже в эпоху Токугава восходит вовсе не к синтоистским священнослужителям, а к буддийскому монаху Кэйтю, 1640–1701). Что касается конкретно храма Кофукудзи, то это был родовой храм Фудзивара. Его связь с родом Фудзивара означала, что первое поздравление государю было фактически инициировано этим родом, который к этому времени уже занял главенствующее положение при дворе (недаром в хронике сообщается, что монахи из храма Кофукудзи, расположенного в Нара, остановились в Хэйане в доме правого министра Фудзивара-но Ёсифуса).

Несмотря на благопожелания и многократные молитвы о выздоровлении, Ниммё скончался в 21-й день третьей луны следующего года. Его похоронили через четыре дня. В соответствии с завещанием похороны прошли скромно. Хроника «Сёку нихон коки» приводит оценку правления императора и перечисляет его достоинства. К ним относятся глубокое знание китайских конфуцианских и исторических текстов, которые Ниммё умел правильно читать с «ханьским» произношением (т. е. с произношением, принятым в районе тогдашней китайской столицы Чанъани), знакомство с сочинениями Лаоцзы, Чжуанцзы и сотнями других. Отмечается, что Ниммё был также выдающимся каллиграфом, учась стилю у прославленного в этом отношении императора Дзюнна (786–840, на троне 823–833), — люди не могли отличить кисть одного от кисти другого. Кроме того, Ниммё был отменным лучником и музыкантом. По последнему параметру он превосходил древнекитайских императоров Шуня и Чэн-ди (комментаторы предполагают, что речь в данном случае идет не о Чэн-ди, а о Юань-ди). Император Ниммё был начитан в медицинских книгах, и в искусстве врачевания ему не было равных среди современников. Далее приводится довольно подробный рассказ самого Ниммё о своих хворях и о том, как следует лечиться. Сообщение хроники заканчивается утверждением, что Ниммё прожил достаточно долгую жизнь благодаря тому, что творил добро, правил гуманно, ел здоровую пищу и лечился правильно (Касё, 3-3-25, 850 г.).

Разумеется, утверждение относительно длинной жизни выглядит откровенным лукавством — все непосредственные предшественники Ниммё прожили дольше него: Камму — 69 лет (737–806), Хэйдзэй — 50 (774–824), Сага — 56 (786–842), Дзюнна — 54 (786–840). Это, однако, не отменяет того факта, что достоинства Ниммё оцениваются исключительно с позиции его соответствия китайским представлениям о добродетельном и мудром государе. Тем не менее монашеское поздравление к юбилею императора свидетельствует о начавшемся переосмыслении идентичности императорского двора — противопоставлении Японии другим странам.

Условным началом этого процесса можно считать запрет генеалогических списков «Вакан сорэкитэй фудзу», согласно которым иммигрантские роды из Корея и Китая возводили свое происхождение к синтоистскому божеству Амэ-но Минакануси («Нихон коки», Дайдо, 4-2-5, 809 г.), и составление официальных генеалогических списков «Синсэн сёдзироку» (815 г.), отказывавших иммигрантам в божественном происхождении,

в результате чего они теперь лишились даже теоретической возможности занимать высокие должности. О повышении статуса японского языка свидетельствуют указы-*сэммё*, адресованные прибывшим в Японию членам посольства из государства Бохай («Нихон коки», Энряку, 15-10-15, 794 г.; «Сёку нихон коки», Дзёва, 9-3-29, 842 г.). Таким образом, японскому языку придается статус международно-дипломатического (но только в общении со страной, которую Япония однозначно считала своим вассалом). *Сэммё* возглашаются также во время молений у могилы императрицы Дзинго-когу о спокойствии государства (Дзёва, 9-12-17, 842 г.). В отчетах о придворных церемониях появляются сообщения об исполнении японских танцев (*вафу*) и японских стихов-*вака* (Дзёва, 12-1-8, 12-1-10, 845 г.). Перед отправкой посольства в Китай государь Камму устраивает прощальный пир, который, как указывает хроника, был устроен на к т а й с к и й лад. Государь подзывает к себе посла, жалует ему чарку сакэ и произносит японское стихотворение (*ута*):

Это сакэ — не простое. Это сакэ молитвенное — чтобы благополучно вернулись («Нихон коки», Энряку, 22-3-29, 801 г.).

В правление Ниммё продолжалась активная работа по повышению престижа синтоистских святилищ и вписыванию их в систему государственного устройства. Святилищам присваивается статус государственных, им жалуют придворные ранги (у буддийских храмов рангов не было). К этому времени уже существовала сеть буддийских государственных храмов (*кокубундзи*, *дзёкакудзи*), призванных обеспечить магическую защиту всей страны. Такую же функцию приобретают и синтоистские святилища. Одним из символов общего процесса «японизации» становится включение японской флоры в реестр сезонных растений, подлежащих прославлению. Именно цветущую сакуру, росшую перед покоями императрицы, повелел воспеть весной 831 г. государь Дзюнна на устроенном им пиру («Нихон коки», Тэнтё, 8-2-15, 831 г.). Это повеление было частью процесса по признанию сакуры символом весны; до этого времени в качестве такого символа выступала прежде всего слива — дерево китайского происхождения. Считается, что в правление Ниммё слива, росшая перед императорским дворцом Сисиндэн, засохла, и вместо нее посадили сакуру. Вместе с росшим рядом вечнозеленым деревом татибана (разновидность мандарина) они образовывали пару, выражавшую идею перемен и вечности [Held 2008: 66]. Воспевают придворные поэты и другие растения, которые отсутствуют в китайском сезонно-поэтическом словаре (например, хаги; см.: «Сёку нихон коки», Дзёва, 1-8-12, 834 г.; 11-8-1, 844 г.).

Во время правления предшественников Ниммё — Сага и Дзюнна — были составлены три императорских поэтических антологии на китайском языке: «Рёунсю» («Собрание поверх облаков», 814 г.), «Бунка сюрэйсю» («Собрание шедевров из литературных цветов», 818 г.) и «Кэйкокусю» — «Собрание, [помогающее] управлению страной» (827 г.), что маркирует пик

китайского влияния на японский двор. Однако после этого таких антологий больше не создавалось. В правление Ниммё японоязычные антологии еще не создавались, но начиная с X в. их составление стало регулярным. Знаковым событием обычно считается указ о составлении антологии «Кокинсю» (905 г.). Не споря с утверждением относительно огромной роли «Кокинсю» в процессе японизации придворной жизни, мы, однако, полагаем, что данное действительно знаковое событие стало результатом начавшихся ранее процессов формирования японской идентичности (имеется в виду прежде всего идентичность японского императорского двора, а не культуры в целом). При этом следует иметь в виду, что речь идет не столько о решительном вытеснении континентального конфуцианско-буддийского комплекса, сколько о «подгонке» и подтягивании к нему автохтонных представлений, вписывании местного дискурса в более разработанную систему внеяпонских по своему происхождению координат. За счет этой операции заимствования начинали восприниматься как собственное культурное достояние.

Слова, содержащие в себе *котодама*, это, в сущности, разновидность заклинания. Подобные заклинания присутствуют в любой культурной традиции. Хотя сам термин *котодама* употреблялся до периода Токугава — лишь окказионально, он все равно оставался в памяти культуры. Теоретическая разработка понятия *котодама* происходит только в период Токугава в работах ученых школы кокугаку, которые полагали, что *котодама* содержится не в определенных словах, произнесенных в определенных ситуациях, а в японском языке как таковом. Но не в современном языке, который подвергся иноземному (читай: китайскому) влиянию, а в языке исконном и древнем, который следует восстановить и ввести в оборот. Поскольку эти ученые огульно считали все «исконно» японское лучшим, чем иностранное, то и японский язык оказывался для них самым совершенным.

В японской автохтонной традиции все культурные реалии имеют жесткую пространственную привязку к реальной среде обитания. Понятие *котодама* не оказалось исключением — «душа слова» обитает в Японии и только в Японии. Его главными носителями являются императоры, священнослужители и поэты. В такой привязке видны истоки японского изоляционизма, который, претерпевая определенные изменения, просуществовал до «обновления Мэйдзи», начавшегося в 1867 г.

Идеи нативистов относительно «души слова» активно использовались в XX веке в националистическом дискурсе японского тоталитаризма, когда японский язык признавался самым совершенным в мире. В послевоенных построениях приверженцев уникальности японской культуры (нихондзинрон) понятие *котодама* лишилось агрессивной составляющей и применялось для обоснования «особости» и уникальности японского языка и культуры. Историческое бытование понятия *котодама* показывает не только его живучесть, но и демонстрирует, как это понятие могло наполняться различными смыслами в зависимости от главенствующих настроений той или иной эпохи.

Литература / References

1. [Ермакова (1991)] — Норито. Сэммё / Пер., исслед. и коммент. Л. М. Ермаковой. М.: Наука, 1991. 303 с.
Ermakova, L. M. (transl. and ed.) (1991). *Norito, Semmyo*. Moscow: Nauka. 303 p. (In Russian).
2. Мещеряков А. Н. (2014). *Terra Nipponica: среда обитания и среда воображения*. М.: Дело, 2014. 424 с.
Meshcheryakov, A. N. (2014). *Terra Nipponica: sreda obitaniia i sreda voobrazheniia* [Terra Nipponica: Place of living and place of imagination]. Moscow: Delo. 424 p. (In Russian).
3. Тоёда Кунио (1980). *Нихондзин-но котодама сисо*. Токио: Коданся, 1980. 237 с. (На японском).
Toyoda, Kunio (1980). *Nihonjin no kotodama shiso* [Japanese idea of Kotodama]. Tokyo: Kodansha. 237 p. (In Japanese).
4. Heldt, G. (2008). *The pursuit of harmony. Poetry and power in early Heian Japan*. Ithaca; New York: East Asia Program, Cornell University. 433 p.

THE ORIGIN OF THE CONCEPT OF “WORD SOUL” (KOTODAMA) IN ANCIENT JAPAN

Meshcheryakov, Alexander N.

Doctor of History, Professor

Deputy Head, Laboratory of Oriental Studies and Comparative Linguistics, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: meshtorop@yahoo.com

Abstract. The concept of “Word Soul” (kotodama) was elaborated in Japan during the Tokugawa period, but this concept originated in ancient Japan. The author analyses official chronicles “Nihon Koki” and “Shoku Nihon Koki” to find evidence of Japanization of court life and argues that the celebration of the 40th birthday of Emperor Nimmyo in 849 was part of the process. During this celebration monks of Kofukuji temple presented a long poem compiled in the Japanese language. They thought that “Word Soul” lived only in Japanese and not in other languages.

Keywords: Ancient Japan, uniqueness of the Japanese language, “Word Soul” (Kotodama), Emperor Nimmyo, “Nihon Koki”, “Shoku Nihon Koki”.

MESHCHERYAKOV, A. N. (2015). THE ORIGIN OF THE CONCEPT OF “WORD SOUL” (KOTODAMA) IN ANCIENT JAPAN. SHAGI / STEPS, 1 (1), 10–18

Ахметова Мария Вячеславовна
канд. филол. наук, старший научный
сотрудник, Лаборатория теоретической
фольклористики, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: malinxi@rambler.ru

«НЕПРАВИЛЬНОЕ» ИМЕНОВАНИЕ КАК ОСКОРБЛЕНИЕ (ОБ ОДНОМ АСПЕКТЕ ВАРИАНТНОСТИ КАТОЙКОНИМОВ)

Аннотация. В русском языке от одного населенного пункта часто образуются вариантные названия жителей (катоиконимы). Иногда вариант, устоявшийся в локальном (региональном) узусе, не совпадает с тем, который употребляется в местных СМИ. Результатом является рефлексия локального сообщества по поводу «правильных» и «неправильных» названий. Последние часто ассоциируются с «чужой речью» и воспринимаются как оскорбительные. Такая реакция связана с позиционированием «неправильных» названий как неблагозвучных, грубых. Кроме того, аргументом против варианта могут быть его, во-первых, фонетическое сходство или рифма с каким-либо словом, и, во-вторых, омонимическое сходство. В результате «неправильные» варианты приобретают изначально несвойственную катоиконимам экспрессивность и употребляются в пейоративной или инвективной функции.

Ключевые слова: ономастика, названия жителей, катоиконимы, вариантность в русском языке, языковая рефлексия.

В русском языке от одного названия населенного пункта (ойконима) при помощи разных формантов образуются разные названия жителей (катоиконимы). Основные модели образования катоиконимов, их морфологические закономерности, продуктивность разных формантов в определенные периоды хорошо описаны (см., на-

пример: [Арапов 1979; Левашов 1968; 1974] и др.), а сами названия жителей с середины XX в. фиксируются специальными словарями¹.

Вариантность подразумевает проблему выбора: как следует называть жителя того или иного города? Оттопонимических дериватов, известных всем носителям языка (наподобие *москвичи*, *одесситы*, *нижегородцы*), не слишком много, для большинства этот пласт лексики находится в пассивном запасе. Значительная часть катойконимов активно употребляется лишь жителями конкретных регионов и соседних с ними, т. е. теми, для которых соответствующие населенные пункты являются актуальными (так, название жителей Улан-Удэ в целом актуальнее для населения Восточной Сибири, чем, скажем, Центральной России).

Проблема выбора может рассматриваться с двух позиций — более очевидной «внешней» (с точки зрения, к примеру, журналиста центральных СМИ и вообще любого человека, не являющегося жителем некоторого населенного пункта, но у которого возникает потребность в именовании его жителей), и «внутренней» (с точки зрения самого локального либо регионального сообщества).

Если говорить о «внешней» позиции, то ответ на вопрос о «правильном» названии принято искать в справочных изданиях. Однако словари названий жителей изначально задумывались не как нормативные справочники, а как собрание материала; кроме заведомо выходящих за пределы нормы «местных» и «устарелых» лексем, они зачастую содержат несколько «наиболее употребительных» вариантов, а информации о местных предпочтениях не содержат. Что касается орфографических словарей (и создающихся на их материале справочников для дикторов радио и телевидения), они, во-первых, отражают названия жителей намного менее полно, а во-вторых, в них часто включается один-единственный вариант для одного населенного пункта. Этот вариант может не соответствовать принятому в региолекте, и более того, не соответствовать даже общим тенденциям в именовании жителей соответствующего населенного пункта, отражаемым, в частности, в СМИ².

Для самого локального сообщества при наличии двух и более вариантов одни являются экзонимами, а другие — эндонимами. По имеющимся данным (материалы анализа газет, Интернета, полевые материалы), можно выделить следующие ситуации соотношения вариантов в региолекте и за его пределами.

1. В региолекте установлен дериват А; вне региолекта употребляются дериваты А + В (например: в Пятигорске — *пятигорчане*, вне — *пятигорчане* и *пятигорцы*).

¹ Имеются в виду словари оттопонимических дериватов под редакцией А. М. Бабкина (1964), А. М. Бабкина, Е. А. Левашова (1975), Е. А. Левашова (2000) и И. Л. Городецкой, Е. А. Левашова (2003).

² В статье [Ахметова 2013] приводятся сравнительные статистические данные по употреблению ряда катойконимов в газетах с 1990-х годов; в центральных газетах может преобладать тот же вариант названия жителей определенного населенного пункта, что и в газетах этого населенного пункта.

2. В региолекте отмечена конкуренция вариантов А и В, как и вне региолекта: А + В (+ С) (например: в Муроме конкурируют варианты *муромцы* и *муромляне*, за пределами города употребляются оба варианта, а также *муромчане*).

3. В региолекте и вне его употребляются принципиально разные варианты (например: в Ярославской области для названия жительницы используется исключительно вариант *ярославна*, за пределами области — *ярославка*).

Тексты, которые будут рассмотрены в данной статье, спровоцированы частотной ситуацией столкновения представителей локального сообщества с употребленным в центральных СМИ или самостоятельно порожденным неместным жителем катойконимом, который не совпадает с тем, что принят в данном населенном пункте (в устной речи, в местных газетах, в текстах, с которыми к жителям обращается местная власть, и т. д.). Следствием являются подчас болезненные рефлексии по поводу «правильности» одних вариантов и «неправильности» других, продуцирующие устойчивые суждения. Эти рефлексии могут выплескиваться на страницы местных газет (в письмах читателей и в статьях, написанных журналистами), находят отражение в сетевом общении (от полемики в блогах и на форумах до комментариев к электронным версиям новостных статей). Частным случаем являются дискуссии на локальном уровне, когда в одном населенном пункте различные социальные группы считают правильными разные варианты; эти дискуссии в целом аналогичны описанным выше.

Я не буду останавливаться на таких важных мотивах данных рефлексий, как традиционность обсуждаемых названий и их соответствие литературной норме; подкрепление доводов в пользу одного и против другого варианта авторитетом «традиции» и «норм языка» заслуживает отдельного исследования. Отмечу лишь, что участники дискуссий часто заявляют, что употребление «неправильных» названий свидетельствует о безграмотности, — таким образом, исключая их из сферы литературного языка. При этом подавляющая часть таких названий зафиксирована словарями, встречается в литературе, в том числе классической, а некоторые принятые в локальном узусе варианты могут в словарях вообще отсутствовать и формально к литературному языку не относиться.

Предметом моего внимания будут аспекты рефлексий о «правильных» и «неправильных» названиях жителей, напрямую или опосредованно связанные с категориями обиды и оскорбления.

* * *

Зачастую употребление «неправильных» вариантов ставится в вину журналистам, прежде всего московским.

Например, на портале «Новости Кемерово» была опубликована статья «Для Москвы мы “кемеровцы”?»), автор которой негодует на ведущую программы «Вести», назвавшей жителей Кемерово не *кемеровчанами*, а *кемеровцами*, и язвит: «Привет вам, пафосные телемосквиты, от России,

лежащей за пределами МКАД!» (Keminfo.ru, 6.02.2007)³. Кировский блоггер начинает одну из своих записей с упоминания «московских журналист, путающих кировчан с кировцами» (Breys.ru/blog, 2009), а вологодский автор жалуется в социальной сети:

Интересно, есть еще такой регион России, названия населенных пунктов в котором так же охотно путают и коверкают жители центрального региона (журналисты федеральных СМИ?) Ладно еще ударения в названии бедного Великого Устюга — это еще можно понять, ладно еще упорное наименование вологжан вологодцами (даже мои знакомые пытались назвать меня вологодцем — жуть!) (Vk.com [Иван Мухин], 2011).

Наконец, иркутский автор Юлия Сергеева в статье с показательным названием «Дорогие мои иркутчи» рассказывает, что сама она «как истинный патриот вела беседы с телевизором <...>, обзывая московских журналистов идиотами, вопя на всю комнату: “Не иркутчане мы, а иркутяне!”» («Иркутский репортер», 23.07.2011).

Вообще ассоциация «неправильного» именования с московскими СМИ может не соответствовать действительности; например, если говорить о названиях жителей Иркутска, в центральных газетах с 1990-х годов доля непопулярных в региолекте *иркутчан* составляет всего 2,7% [Ахметова 2013: 91]; вероятно, ситуация на центральных телеканалах едва ли сильно отличается. Однако локальное сообщество маркирует именно отвергаемое словоупотребление, и таковое становится одним из пунктов, по которому малая родина сопоставляется с Москвой, а последняя подвергается критике.

Нередко проблема актуализируется в связи с массовым освещением в прессе событий в определенном регионе, которое зачастую требует упоминания в репортажах названий местных жителей. В этом аспекте употребление «неправильных» вариантов описывается в контексте журналистской «безграмотности». Например, в 2010 г., когда в Смоленской области проходили траурные церемонии по случаю 70-летия катынской трагедии, а под Смоленском в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский, местные жители выражали возмущение тем, что журналисты не только произносят топоним *Катынь* с ударением на второй слог (в данном случае местная норма отлична от общей), но и называют жителей Смоленска *смоленцами* или *смоляками*, а не *смолянами*:

Словарик для журналистов: В слове «Катынь» ударение на первый слог. В Смоленске проживают не «смоленцы», а смоляне. А то ишь, грамотеи (Livejournal.com [dixie-flatline], 2010).

³ Здесь и далее при цитировании СМИ приводятся название газеты и дата публикации, для сетевых новостных источников — название сайта и дата, для блогов и форумов — адрес ресурса, ник автора в квадратных скобках (если запись в настоящее время недоступна, ник не указывается). Печатки, орфографические и пунктуационные ошибки исправляются; значки-эмодзи убираются; особенности интернет-речи сохраняются.

Кстати, смолян весьма сильно коробит то, что населенный пункт Катънь (ударение на первом слоге) <...> российские официальные лица и центральные СМИ почему-то называют Катънью (с ударением на втором слоге). <...>

Скудность официальной информации [о крушении самолета] создало благоприятную почву для слухов и домыслов. <...> ...Жители города Смоленска (смоляне, а не смоленцы, как называют нас СМИ) начали по крупницам собирать информацию... (Е. И. Жмуриков, Авиакатастрофа в Смоленске // Журнал «Самиздат» (Samizdat.ru), 18.04.2010).

Маркируется также «неправильное» именование приезжими артистами, политиками, общественными деятелями и т. д. Так, петрозаводский политик А. В. Чаженгин приводит обращения *пряжцы* вместо *пряжинцы* (о жителях пгт Пряжа) и *петрозаводцы* вместо *петрозаводчане* в качестве примера неуважения к местным жителям:

Взять того же Явлинского. От него вы не дождетесь такого, чтобы на пресс-конференции в зале правительства жителей Пряжи он называл «пряжцами». Болдырев же себе такой уровень отношения позволяет. А что дальше? «Уважаемые карельчане» или «петрозаводцы»? («Губерния» (Петрозаводск), 15.07.1999).

Если посещение города неместными жителями оставило негативное впечатление, употребление «неправильного» названия непременно перечисляется в списке их «грехов». Например, в заметке о вологодском кинофестивале им. Ю. Д. Половникова, где в жюри участвовали москвичи, отмечается, что церемония закрытия была превращена в «фарс» — столичные знаменитости награждали «своих», не вспомнили о сыне Половникова, который должен был вручить гран-при имени отца победителю, а кроме того, «переврали» имя Половникова и название жителей Вологды:

...Зрители с удивлением услышали, что вологодцам (!) (так в источнике. — М. А.) несказанно повезло, что они стали участниками кинофестиваля имени Юрия: Половникова!

Когда мы стали вологодцами и почему обладатель «Серебряного витязя», основатель документального кино в нашей области Юрий Половников вдруг стал Половиковым, история умалчивает («Русский Север» (Вологда), 23.11.2005).

В другой вологодской газете авторы статьи, в негативном тоне повествуя о приезжих пиарщиках, участвовавших в подготовке выборов в Законодательное собрание («они проводят выборы и уезжают, оставляя после себя горы дерьма и руины человеческих отношений. А почему бы и нет? Им тут не жить. И никакие нравственные обязательства их не связывают»), сетуют:

Эти люди приезжают к нам из Москвы (Нижнего Новгорода, Иваново, Петрозаводска) примерно за полгода до выборов. И в первых подготовленных материалах упорно именуют нас вологодцами («Премьер» (Вологда), 14.03.2007).

Журналисты иркутской газеты, давшие своей статье красноречивый заголовок «Заезжие экологи показали иркутянам свое невежество», рассказывают о посещении Иркутска представителями международной группы «Экозащита»:

Несколько часов они веселили публику — называли иркутян «иркутчанами», пропагандировали использование энергии ветра и заявляли, что сырье, которое Ангарский электролизно-химический комбинат использует в своей работе, — это и есть ядерные отходы («Номер один» (Иркутск), 7.12.2006).

Для смоленского журналиста Игоря Струженкова употребление неместными коллегами названия *смоленцы* вместо *смолян* служит свидетельством высокомерия — наряду с негативной оценкой игры местных футболистов:

...В их отношении к середняку из Смоленска, как показалось, сквозила некоторая высокомерность. Например, в предматчевом ролике пресс-служба «Локо-2» допустила ошибку, указав, что в прошлом сезоне «Днепр» играл на любительском уровне, а в отчете, написанном после игры, наши футболисты были названы «смоленцами» («Рабочий путь» (Смоленск), 19.06.2010).

И наоборот: если приезжий употребляет «правильный» катойконим, это служит для него своеобразным «бонусом». Так, участник тамбовского форума в контексте обсуждения пары *тамбовцы—тамбовчане* вспоминает приезд в Тамбов А. Б. Чубайса, который

...назвал тамбовчан тамбовчанами (<...>), тут я его даже зауважал на несколько минут (Tamboff.ru [Ежик], 2011).

Кроме того, может маркироваться употребление «неправильного» названия абстрактными неместными жителями либо непопулярными местными политиками:

Слова «муромляне» и «муромчане» появились в 60-е годы прошлого века⁴. Причем слово «муромчане» придумали «писатели» — не муромцы, а из других городов. И оба неправильных и неграмотных слова почему-то прижились. Конечно, вроде как слово «муромляне» звучит мягче, напевней. Но это неправильно (Murom.ru, 2010; запись удалена).

⁴ Для слова *муромляне* — фактически неверно: оно встречается в документах конца XIX в.

...Наш губернатор Е[гор] С[троев]. Сами-знаете-кто из деревни, поэтому он говорит «орловцы», хотя <...> люди, которые живут в г. Орле, — орловчане. Но все СМИ в угоду Удаву (никнэйм нашего всего) пишут «орловцы». И меня это БЕСИТ!!! (Livejournal.com [jazom], 2010).

Следствием восприятия отвергаемых вариантов как чужеродных и безграмотных является манифестация обиды: «неправильный» вариант оказывается оскорбительным, унижающим достоинство местных жителей, вызывающим обиду и боль; он уподобляется инвективе, а его употребление зачастую описывается при помощи глагола *обзывать*. Например, житель Смоленска пишет на форуме, что на «Земле Смоленской» живут «не “смоленцы” и не “смоленчане”, а именно “смоляне”», подчеркивая, что местные жители «на такие “синонимы” обижаются» (Forum-slovo.ru [Панас Смолянин], 2010). Пользователь муромского форума отвечает автостопщику из Сочи, обратившемуся с вопросом к «добрым муромчанам»:

...Если будете о б з ы в а т ь муромлян или муромцев — муромчанами, они могут оказаться недостаточно добрыми (Murom.ru [Wasq_], 2005).

Жители Тамбова, предпочитающие называться *тамбовчанами*, как оскорбительный воспринимают вариант *тамбовцы*:

Я тамбовчанин, и когда меня называют тамбовцем, воспринимаю это как о с к о р б л е н и е. <...> Прошу администрацию [форума] в случае, если меня здесь обзовут тамбовцем, дать этому человеку предупреждение за нанесение оскорбления (Tamboff.ru [Ежик], 2011).

У нас только недавно сняли эпохальную надпись <...> на здании библиотеки. Гласила она — ТАМБОВЦЫ! ЛЮБИТЕ СВОЙ ГОРОД! Прямо вот непривычно даже без такого обзывательства (Livejournal.com, зап. [dimkox] в блоге [sam-live], 2010).

Никогда не говори «тамбовцы», только «тамбовчане»! Это как, ну, сказать на афроамериканца — нигер (Dnevnik.bigmir.net [Синий_чулок], 2008).

Газетная статья о названиях жителей Иркутска начинается с заявления:

Как можно о с к о р б и т ь жителя Иркутска сильнее всего? Уж точно не назвав «замкадышем». Сильнее всего иркутянин негодует, когда его называют иркутчанином. «Убью, если от кого услышу», — ёмко выразился один молодой человек, глядя прямо в глаза («Иркутский репортер», 23.07.2011).

По мнению жителя Твери Я. И. Заровного, высказанному им в письме в «Тверскую газету» (18.03.2011),

...страницы тверских газет буквально усеяны сорными словами типа тверичи, земляки, тверяки и т.д. <...> Все эти воззвания к тверичам, землякам, тверякам унижают достоинство наших сограждан, оскорбляют их чувства к городу. <...> Появление новообразования типа тверичане, тверичанин, тверичанка не соответствует духу древней Твери, принижает величие современной Твери.

В ответ на запись в официальном блоге губернатора Орловской области А. П. Козлова, согласно которой «государство высоко оценило подвиг орловцев» во время Великой Отечественной войны, был оставлен комментарий:

...Мне всегда больно слышать в адрес коренных жителей города, это то, что нас называют орловцами, но мы же не ...овцы, мы — ОРЛОВЧАНЕ! И это должно звучать гордо и непременно, раз и навсегда, должно быть прописано в новом Уставе города Орла (Blog. orel-region.ru [Соломатин Евгений], 2010).

Отдельного внимания заслуживают рефлексии сенсорно-вкусового характера, согласно которым отвергаемый вариант дискредитирует его звучание. Наряду с абстрактными оценками благозвучия одного варианта и неблагозвучия другого («больше/меньше нравится», «красиво/некрасиво», «приятно/неприятно») важное место занимают оценки, связанные с критерием «грубости/мягкости». К примеру, опрошенные мною в 2013 г. жители Тамбова разных возрастов, считавшие правильным вариант *тамбовчане* (*тамбовчанин*, *тамбовчанка*), а не *тамбовцы* (*тамбовец*, *тамбовка*), высказывались о первом как о «мягком», «ласковом», звучащем «нежно, по-женски» (о слове *тамбовчанка*), «близком, родном, добром названии», а о втором как о «грубом», «оскорбляющем слух» и даже «ругательном». Примечательно, что информанты, рассуждая о вариантах, нередко маркировали их особым интонированием, напевно растягивая ударную гласную в слове *тамбовчане*, а слово *тамбовцы* произносили нарочито резко. Приведу схожие оценки пары *муромляне*–*муромцы* из полевых записей 2005 г. и из Интернета:

[О названии *муромляне*:] Вот вы знаете, немножко мягче. Мягче. А «муромцы» — грубее (ж., 1965 г. р., зав. библиотекой).

«Муромляне» — как-то, знаете, плавно, тягуче так. <...> [Местная] речь — такая вот плавная, напевная, поэтому вот я говорю, что «муромляне» так звучит более благозвучно (ж., 1956 г. р., учительница).

Сколько себя помню, всегда говорили «муромляне» и «муромлянки». А «муромцы» уже потом появились. И слышится как нечто обкусанное (Mugom.ru [Аленка], 2010).

В 2006 г. одна из тверских газет проводила опрос, какой вариант предпочитают читатели: *тверичи*, *тверичане* или *тверитяне*. В некоторых ответах сенсорно-вкусовая мотивация сочеталась с мотивациями, связанными с традиционностью и грамотностью:

Михаил Васильевич, столяр: Думаю, что мы — тверичи. Это не только произносится благозвучно, но, на мой взгляд, более правильно. По крайней мере, себя я считаю именно тверичом.

Любовь Витальевна, оператор: Считаю себя тверичанкой и этим горжусь. Других режущих слух определений не приемлю. Поскольку они надуманы и не отражают исторической истины («Горожанин» (Тверь), 16.11.2006).

В том же выпуске газеты было опубликовано стихотворение местного поэта Б. И. Зверева «Как нас теперь называть». Автор, считающий правильным вариант *тверяк*, *тверячка*, издевается над «корявым» названием *тверитяне* и предлагает абсурдные переделки названия *тверитянка*:

И вроде я умом не слаб,
Но непонятно без полбанки,
Как называть мне здешних баб:
То ль тваританьки, то ль втвеританки.

Таким образом, само звучание катойконима подразумевает его аксиологический статус: благозвучие словно сообщает названию жителей позитивное отношение к самим жителям, а подкрепленное историческими коннотациями — гордость за малую родину (см. об этом далее); неблагозвучное же название сообщает негативное (вплоть до пейоративного) отношение к жителям, принижая их.

Не случайно частым аргументом против варианта является его фонетическое сходство или рифма с каким-либо словом, имеющим отрицательные коннотации или окказионально наделяющимся ими. Например, жители Твери, отвергающие вариант *тверитяне*, могут мотивировать это созвучием со словом *инопланетяне*, а отвергающие *тверичей* — созвучием со словом *куличи*, ср. записи с тверского форума:

На наших телеканалах говорят, что в Твери живут «тверитяне»-«инопланетяне»... (Tverforum.ru [katenok5555], 2010).

Вообще тверичане и правильно. <...> А всякие инопланетяне и куличи пошли от безграмотных приезжих да от местных руководителей (Tverforum.ru [ГИП], 2010).

Тверичанка звучит благороднее, чем тверитянка-инопланетянка (Tverforum.ru [Алла765], 2010).

Названия на *-чане* обычно переосмысливаются через слово *чан* и конструкцию *в чане*. Например, тамбовский автор Н. Н. Веселовская, активно участвовавшая в местной газетной дискуссии о вариантах *тамбовцы* и *тамбовчане*, отвечает комментатору своей статьи, размещенной на литературном сайте:

«Ковровчане» однозначно воспринимаются как ковры в чане. Еще хуже «котовчане» (жители Котовска) — коты в чане, «гусевчане» — гуси в чане... (My-works.org [vesnag], 2013).

Ср. высказывания жителей Орла, предпочитающих название *орловцы* и отвергающих название *орловчане*:

А мне более нравится, когда называют орловцами, чем орловчанами... В последнем варианте видятся не люди, а чаны с капустой... Орлов чаны (Infoorel.ru [SWG], 2010).

Орловчане... слышится: орлы в чане; как куры в горшке. Наши предки писались: орловцы. Строже, тверже, достойнее («Орловский вестник», 30.12.2010).

Интересно, что подобные суждения могут рождаться вне локального сообщества, но находить в нем поддержку. Например, журналистка из г. Чехова Московской области Ольга Авдеева приводит высказывание писателя и телеведущего Вячеслава Шугаева, который посещал культурные мероприятия в Чехове, проводившиеся музеем:

Представьте себе ребус: Чехов сидит в чане (то бишь в большом тазике). Так образуется слово «чеховчане». Если уж возникло такое название — город Чехов, говорил В. М. Шугаев, то не унижайте Антона Павловича, ежеминутно направляя его с тазиком в баню. Не говорите: Чехов — в чане. Говорите: чеховцы, чеховец, жительница Чехова («Лопасня» (Чехов), 2.02.2012).

Похожее свидетельство приводит чеховский журналист и блогер Елена Лиховидова — со ссылкой на того же Шугаева, а также на ряд местных писателей и почетных горожан:

Их пытливый ум был поглощен происхождением слов, этимологией. Поэтому они и обнаружили неэстетичное сочетание в слове чеховчане — «Чехов в чане». Для наглядности и пушей убедительности в ту пору по народу даже «гуляли» карикатуры, изображающие интеллигентного Чехова в пенсне и... в тазике (чане).

К этому образу обращается и сама Лиховидова, призывая:

Не сажайте Антона Павловича в кадку! Я и своих детей этому учу (Blogs.mail.ru [elena_lih], 2011).

(Примечательно, что в случае с представлением названия *чеховчане* как «Чехов в чане» адресатом оскорбления является личность, именем которой назван город, тогда как в остальных рефлексиях подобного рода имплицитно выражена идея, что «неправильное» название унижает его носителей.)

Названия на *-(ов)цы* прочитываются через слово *овцы*. Например, жители Орла, считающие правильным название *орловчане*, мотивируют этой рифмой неблагозвучие названия *орловцы*, а само слово представляют как «гибрид орла и овцы»:

Не так давно на одном орловском ресурсе уже обсуждалось, кто мы, орловцы или орловчане. И большинство согласилось, что лучше уж быть орловчанами, чем орлОВЦАМИ (Blog.orel-region.ru [авось да небось], 2010).

Неужели кто-то реально может себя называть ОРЛ-овцой? УЖАС! (Vorle.ru [Inohvat], 2007).

Орловчанин по мне звучит лучше, чем орловец... Прямо невиданное животное из мифов, орел и овца в одном флаконе (Vorle.ru [Stingo], 2007).

Интересно, какой, мать его, москаль привнес моду орловчан называть орловцами, помесь орла и овцы, может быть? (Fogu.netuch.ru, 2009; запись удалена).

Рифма со словом *овцы* служит основанием для дискредитации «неправильного» варианта названия жителей Тамбова (*тамбовцы* — вместо *тамбовчане*), ср. мои полевые записи 2013 г.:

Я сейчас не помню, кто, от кого я впервые услышала «тамбовцы», я помню, мне это очень не понравилось. Какие-то овцы. И потом я слышала от других людей тоже, которые так считают (ж., 1947 г.р., сотрудник библиотеки).

В рефлексиях жителей Тамбова широко распространен мотив визуальной игры со словом *тамбовцы* в прецедентном тексте — лозунге «Тамбовцы, любите свой город!», который более десяти лет (1995—2007) украшал крышу Областной библиотеки им. А. С. Пушкина, примыкающей к центральной площади города. Упоминаются различные варианты искажения названия жителей на надписи, в результате адресатами надписи становятся собственно «овцы» («Овцы, любите свой город!»), либо надпись позиционируется как указывающая на то, что жители города являются «овцами» («Там овцы...»). Таким образом, «неправильный» вариант, употребленный в надписи, осмысливается как равнозначный инвективе в адрес жителей города (см. об этом подробнее: [Ахметова 2015]).

Наконец, иногда против варианта играет его «невыгодная» омонимия. Так, жители Ярославля отвергают единственный отражаемый словарями вариант названия жительницы *ярославка* в пользу названия *ярославна*, поскольку первый вариант омонимичен породе коровы либо разговорному названию Ярославского шоссе:

[Вопрос:] Как правильно назвать жительницу, жителя и жителей города Ярославля?

[Ответ справочной службы русского языка:] Правильно: ярославцы, ярославец, ярославка.

[Вопрос:] Все верно ли? Любая уважающая себя жительница Ярославля обидится на такое обращение (ярославка — порода коровы). По-ярославски правильно ярославна (Gramota.ru, вопрос № 250207).

[Во время экскурсии по Ярославлю] наш гид Ольга очень просила называть жительниц Ярославля ярославнами, как положено, а не ярославками, так как это порода коровы с высокими удоями. Передаю ее просьбу в массы (Отзыв.ru [ОханаК], 2008).

Я знаю породу коров «Ярославка», поэтому <...> предпочитаю называть себя ярославной. Тем более что поэт Лев Ошанин написал замечательный гимн всем нам — ярославнам, закрепив за нами право не быть «ярославками»⁵ (Diets.diets.spsu.ru, 2010; запись удалена).

«Ярославка» — это порода коров, выведенная у нас в области, еще так в Москве называют шоссе М8; жительница же Ярославля называется «ярославна» (Livejournal.com [kotobasis], 2007).

Для жителей Кирова, которые предпочитают называться кировчанами, мотивацией нежелательности варианта кировец является то, что такое название носит трактор, выпускавшийся на Кировском заводе (сейчас — на Петербургском тракторном заводе). Например, ИА Regnum сообщает о случае на открытии фестиваля социальных кино- и телепрограмм в Кирове:

... Не обошлось без курьеза, который изрядно повеселил зрителей. Актриса Татьяна Конюхова, приветствуя жителей города, назвала их «кировцами». Кировчане пояснили: «Кировец» — это трактор (ИА Regnum, 23. 08. 2004).

Аналогичным образом жители Коврова, предпочитающие называться *ковровчанами*, реагируют на вариант *ковровец*, приводя в качестве доказательства то, что так называются местный экскаваторный завод, а также марки экскаватора и мотоцикла:

⁵ Имеется в виду песня «Ярославия» на стихи Льва Ошанина (1973), в которой лирическая героиня — жительница города — именуется *ярославной*.

Извините, но жителей Коврова принято называть ковровчанами (ковровчанин, ковровчанка). Ковровец звучит как название экскаватора, который выпускают в этом городе! Следите, пожалуйста, за слогом! (сайт газ. «Комсомольская правда» (Кр.md.ru), коммент. к статье «Ковровец снимал самоубийство на видеокамеру», 13.01.2009).

А жители у нас предпочитают зваться ковровчане и ковровчанки. Ковровец — это экскаваторный завод и ещё старенький моцк [мотоцикл] (Dieta.ru [Игрица], 2010).

Название *орловцы* также может отвергаться по причине омонимии с породой лошадей:

...Наш губернатор <...> говорит «орловцы», хотя это — рысаки орловской породы, а люди, которые живут в г. Орле, — орловчане (Livejournal.com [jazom], 2008).

Одним из доводов против названия *тамбовцы* является омонимия с названием преступной группировки:

...«Тамбовцами» в зомбоящике называют тамбовскую преступную группировку в Питере. Я не с ними!!! (Tamboff.ru [Детка], 2011).

Тамбовцы это те, кто в Питере. А в Тамбове тамбовчане (Velomania.ru, 2011; запись удалена).

* * *

Такой механизм выражения чуждости отвергаемого варианта, как его переосмысление в результате языковой игры с использованием фонетически сходных или рифмующихся лексем, типологически схож с тем, что заложен в дразнилках — как отыменных и отфамильных (ср. *Ленка-пенка* либо именование человека по фамилии Пенкин *Пенкой*, если оно прежде всего имеет целью нанести обиду, а не функционирует как прозвище), так и адресованных локальным группам. Фольклору известны локально-групповые прозвища, бытующие как сами по себе, так и в контексте присловий, дразнилок и географических песен, где иронически говорится о жителях соседних деревень (см., например: [Дранникова 2003]). В таких прозвищах наряду с семантической мотивацией, указывающей на реальные или мнимые особенности жителей той или иной местности, задействуется и формальная, например:

а) рифма: о жителях Каргополя: *Каргополь* — *долгополь* / *долги поль* [Воронцова 2011: 102]; о жителях Торопца: *Торопчане* — *египчане* [Там же: 108]; о жителях ветлужского края: *Ветлугаи-попугаи* [Там же: 264], *Ветлугаи-голодаи все заборы оглодали* [Там же: 84]; о жителях верховьев Пинеги: *Верховцы* — *опалённые (палёные) овцы*: «Мы <...> кричим, кто

мимо проплывает: “Верховцы — опалёны овцы!” <...> Они: “Низовцы — ельцы, женились на овцы! Овца дрище, барана ище!”» [Там же: 243]; о жителях Великодворского сельсовета Вологодской обл.: *Великодворы — воры*; о жителях Вытегры: *Вытегоры-воры*; о жителях Торжка: *Новоторы-воры* и мн. др. [Там же: 68–70];

б) аллитерация и метатеза: *долгопляши* ‘жители д. Долгополово Кемеровской обл.’ [Там же: 102]; *Любимцы — любимые ловцы, даниловцы — невыдавцы*... [Там же: 231]; *икоты* ‘жители д. Ичково Архангельской обл.’ + семантическая мотивация: «Бабки там живут, икоту насаждают» [Там же: 132]; *луковицы (луковцы)* ‘жители д. Прилук Архангельской обл.’ + семантическая мотивация: потому что жители деревни выращивали лук [Там же: 205]; *кулаки* ‘жители пос. Ковкула Архангельской обл.’: «Молодежь расшифровывала Ковкула как “кованый кулак”. Отсюда пошли кулаки» [Там же: 186]; *колупаевцы* ‘жители с. Елыкаево Кемеровской обл.’ [Там же: 162] и т. д.;

в) сходство с каким-либо словом или выражением: *золотари* ‘жители пос. Золотаревский Кемеровской обл.’ [Там же: 126]; *тары-бары* ‘жители д. Тарабарино Кемеровской обл.’ [Там же: 317], и т. д.

Однако между, с одной стороны, прозвищами, дразнилками и присловьями и, с другой, рассматриваемыми в статье рефлексиями есть существенные функциональные и референциальные различия. В случае с отыменными/отфамильными дразнилками дискредитируется прежде всего объект, т. е. именуемый, а имя является лишь поводом. Что касается локально-групповых прозвищ, функционирующих в том числе в составе присловий, то если они и сообщают негативную информацию, последняя также касается жителей, но не их названия. Кроме того, прозвища, дразнилки и присловья, даже если и несут информацию о неблагозвучности имени (в особенности это касается отфамильных дразнилок), по очевидным причинам не диктуют необходимости его смены (хотя теоретически могут стать поводом для этого), в то время как для рефлексий о названиях жителей эта интенция первостепенна. Наконец, прозвища, по крайней мере осознаваемые как обидные, порождаются вне именуемой группы, тогда как над отрицательными коннотациями рассматриваемых катойконимов рефлексиируют их носители. Различие между присловьями типа *Верховцы — опалённые овцы* и восприятием названия *тамбовцы* как дискредитируемого рифмой со словом *овцы* состоит в том, что во втором случае место оскорбляющего остается, как правило, вакантным. Логику рефлексии можно реконструировать не только как *Поскольку «тамбовцы» рифмуется с «овцы», нас могут дразнить «овцами»*, но и как *Называя тамбовцами, нас на самом деле дразнят «овцами»*.

Данная логика вполне эксплицитно выражена в статье каргопольского краеведа М. Крючковой «Мы не каргополы, а каргопольцы»:

Слово «каргопол» имеет пренебрежительный, грубоватый оттенок. По-видимому, это просторечное название возникло в XIX веке в уездах, соседствующих с Каргопольским. Существовало, существует и теперь своеобразное соперничество между людьми, живущими в разных городах. Восхваляли свой город, для жителей соседних городов придумывали разные шуточные, а иногда и обидные прозвища и поговорки. Слово «каргопольцы» плохо рифмуется с другими словами. Иное дело — слово «каргополы»: «каргополы — рты полы», «каргополы — рваные полы» и т. д. («Каргополье», 20.06.1996).

Примечательно, что лексемы, с которыми созвучны либо омонимичны отвергаемые варианты, могут использоваться в речевой ситуации передразнивания. Например, в ответ на высказывание «Тверичанка звучит благороднее, чем тверитянка-инопланетянка», пользователь форума пишет:

Продолжай в том же духе, тачанка-тверичанка (форум Tverforum.ru, 2010; запись удалена).

Приведу также два примера, в которых осмысление названия *кировец* как дискредитируемого омонимией с маркой трактора служит основанием для того, чтобы назвать «трактором» собеседника (примечательно, что во втором примере житель Кирова дразнит так чужого, употребившего название *кировец*):

[arts:] Вы посмотрите, какой кировец!

[sg:] Сам ты кировец, я кировчанин коренной.

[arts:] Нет, ты ТРАКТОР.

[sg:] А ты тракторная отработка (форум Pstonet.ru, 2011).

[Реплика:] Кировцы, подтвердите или опровергните.

[Ответ:] Сам ты кировец... трактор, *ля (форум Gorodkirov.ru, 2012).

Наконец, и сами «неправильные» варианты могут приобретать изначально несвойственную катойконимам экспрессивность и употребляться в пейоративной функции. Например, в тамбовском дискурсе о вариантных катойконимах противники названия *тамбовцы*, пользуясь его рифмой с *овцы* и пейоративными коннотациями слова *овца*, зачастую используют этот вариант в качестве инвективы, в том числе в адрес тех, кто не знает родной город (см. [Ахметова 2015]). В то же время противники названия *тамбовчане* могут именовать *тамбовцами* коренных и патриотичных жителей, а *тамбовчанами* — приезжих либо непатриотичных). Например, автор статьи в тамбовской газете Н. Н. Веселовская вспоминает о своей бабке, которая «пустила по городу моду называть коренных жителей “тамбовцами”, а приезжих — “тамбовчанами”» («Тамбовское время», 9.07.1997). А тамбовский краевед В. Кузнецов, осуждая «неправильное название тамбовчане», предлагает

...называть тамбовцами коренных жителей Тамбова, тех, кто знает город и любит его. А людей пришедших, не любящих город, можно называть тамбовчанами. Тогда все станет на свое место («Тамбовская жизнь», 23.07.1999).

Приведу еще один пример. При обсуждении на нижнетагильском новостном сайте критической статьи о бывшем мэре города Валентине Исаевой пользователь под ником «Анонимус» отметил, что Исаева «благодарностей от нижнетагильцев не дождалась», на что получил реплику: «Вообще-то, мы — ТАГИЛЬЧАНЕ, а не нижнетагильцы, господин тролль». Ответ «Анонимуса» был следующий:

Не всех в нашем городе можно тагильчанами назвать, к сожалению... Тагильчане это тот, кто любит свой город, и желает ему всего хорошего, и РЕАЛЬНО на вещи смотрит, и все понимает, а не твякает из-за угла и чушь всякую необоснованную несет. Вот таких я называю нижнетагильцами! (Все новости: Инф. агентство Нижнего Тагила (Vsenovosti.ru), коммент. к статье «За несколько дней до ухода с поста главы города Валентина Исаева презентовала тагильчанам свою книгу», 10.10.2012).

Логика подобных высказываний реконструируется следующим образом: городское сообщество разделяется на тех, кто соответствует гордому званию жителя города и поэтому достойных именоваться «правильным» катойконимом, и тех, кто настроен непатриотично, поэтому недостоин называться настоящим горожанином и заслуживает лишь употребления в его адрес «неправильного» названия. Имени, таким образом, приписывается содержание информации об отношении именуемого к городу, о его «компетенции» как горожанина. Показательно, что такая логика может отмечаться и в высказываниях, задействующих обратную причинно-следственную связь: само по себе употребление человеком по отношению к себе «правильного» названия делает его достойным горожанином. Так, в уже цитировавшемся выше письме Я. И. Заровного, который сетовал на распространение в тверских газетах «сорных слов» типа *тверичи* и *тверяки*, содержится следующий пассаж:

Пусть хоть молодое поколение растет с гордым словом тверитянин — тверитянка. И родная Тверь пусть становится для молодых не мачехой, но матерью («Тверская газета», 18.03.2011).

А пользователь муромского форума, отвергая названия *муромляне* и *муромчане* в пользу варианта *муромцы*, апеллирует к исторической памяти и прецедентному имени былинного богатыря Ильи Муромца:

...Почему же мы коверкаем традиции русского языка и стыдимся своих предков? Глядя в зеркало, видим образ не богатырский? Так это от нас зависит! Да званием своего знаменитого земляка, получившего имя по «прописке», гордиться надо. МУРОМЕЦ!!! Любой мальчишка от этого плечи распрямлять будет и о чести задумается, а не за пивом в киоск побежит. Жители тысячелетнего города забыли свои корни и первоначально сложившееся название горожан. Позор! С таким отношением к своей истории мы не муромляне, не муромчане, а, извини меня, муромсранцы (Mugom.ru [Карачаровский куркуль], 2010).

* * *

По всей видимости, в основе экспрессивизации катойконимов лежат совсем иные механизмы, чем в приобретении экспрессивности единицами близкого лексического пласта — этнонимами (ср. *жид*, *нацмен* и т. д.)⁶. Едва ли первостепенна (хотя и, безусловно, важна) в данном случае и логика, обуславливающая семантическую дифференциацию синонимичных понятий, одно из которых является стилистически сниженным (последнее может касаться самых разных синонимических пар⁷). Вероятно, здесь более близка такая аналогия, как отношение к вариантным названиям представителей профессий в соответствующих профессиональных сообществах. Доводом против разговорного названия представителя профессии может служить его дополнительное значение, отличающееся от семантики «профессионализма», ср. *цирковой* vs. *циркач* (об артисте цирка), *пожарный* vs. *пожарник* (о работнике пожарной охраны)⁸ и т. д. Эта аналогия представляется оправданной, в частности, по той причине, что стимулом к соответствующим рефлексиям является «внешнее» словоупотребление — как и в случае с рефлексиями по поводу катойконимов, рассмотренными в данной статье.

В заключение хотелось бы отметить, что болезненная реакция на катойконимы, обусловленная их фонетической ассоциацией либо омонимией, отнюдь не универсальна. Например, жителей Галича Костромской области и Иваново совершенно не смущает существование

⁶ О формировании экспрессивных этнонимов см.: [Грищенко, Николина 2005].

⁷ Ср. примеры из Национального корпуса русского языка: «В своей же, еврейской компании могли делить на *евреев* и *жидов*, предпочитая и тому и другому определения “порядочный” или “непорядочный” человек» (М. Козаков, Актерская книга, 1978—1995); «Уважающая себя жена будет стремиться быть *женщиной*, а не *бабой*» (В. Шахиджанян, 1001 вопрос про ЭТО, 1999); ср. также: «Есть хорошие, умные люди, которые достойны уважения, и только они в моем понимании являются теми, к кому можно применять термин “*священник*”, а не “*пон*”. Они не пытаются навязать своего мнения, не лицемерят, не строят двойных стандартов, не имеют какого-либо фанатичного настроения» (форум Lovehate.ru, 2015). Курсив мой.

⁸ Ср.: «...Пожарные-профессионалы слово *пожарник* не приняли, считая его для себя низким, оскорбительным. Дело в том, что *пожарниками* обычно называли инвалидов заштатных пожарных команд, а также пожарных-любителей, членов добровольных пожарных дружин» [Скворцов 1980: 179].

автокранов «Галичанин» и «Ивановец», не говоря уже о жителях Москвы и Запорожья — *москвичах* и *запорожцах*. Причина этому — отсутствие конкурентоспособных вариантов. Наличие же синонимичных вариантов, расходящихся с закрепленными в локальном узусе либо региолекте, заставляет маркировать их употребление в речи неместных жителей, актуализируя оппозицию «свое–чужое» как в территориальном аспекте (в частности, в виде противопоставления малой родины и чужого города либо Москвы), так и в социальном (в частности, в виде противопоставления себя «безграмотным» либо «забывшим свои корни» землякам). Позиционирование «неправильных» вариантов одновременно и как неблагозвучных (а тем более схожих либо идентичных каким-либо словам), и как «чужой речи» формирует восприятие их как инвектив в самом локальном сообществе (поскольку «восприятие словесной агрессии в большой степени зависит от установки адресата» [Жельвис 2001: 78]), и прежде всего само локальное сообщество начинает использовать их в пейоративном качестве.

Наконец, важным фактором является систематическое употребление отвергаемых вариантов за пределами локального сообщества, поскольку окказиональное столкновение с «неправильным» названием (даже при наличии у него омонимов) воспринимается нейтрально, ср. фрагмент из интервью, записанного фольклорной экспедицией Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в г. Беломорск по поводу искусственно образованного названия *беломорка*, в качестве катойконима не отмечаемого словарями и фактически неупотребимого:

Соб.: Жителей Беломорска как правильно называть? «Беломорцы», «беломорчане»?

Инф.: «Беломорчане» зовут обычно.

Соб.: А «беломорцы», «беломорка» — это неправильно?

Инф.: «Беломорка» — это у нас сельдь только. <...>

Соб.: То есть не бывает, что жителей называют «беломорка», «беломорцы»?

Инф.: Нет, «беломорчане». Ходит в ходу уже «беломорчане». Поморы, беломорчане. А сельдь у нас деликатес. Жалко, сейчас не ловится... (ж., 1932 г. р., зап. М. Д. Алексеевский и А. С. Лебедева в 2011 г.)

Литература / References

1. Арапов М. В. (1979). Соотношение существительных со значением «название местности» и «название жителей данной местности» в современном русском языке // Проблемы структурной лингвистики. М.: Наука, 1979. С. 469–504.
Arapov, M. V. (1979). Sootnoshenie sushchestvitel'nykh so znacheniem "nazvanie mestnosti" i "nazvanie zhitelei dannoi mestnost" v sovremennom russkom iazyke [Correlation of nouns with the meaning 'name of a locus' with nouns with the meaning 'name of inhabitants of this locus' in contemporary Russian language]. In *Problemy strukturnoi lingvistiki* [Problems of structural linguistics], 469—504. Moscow: Nauka. (In Russian).
2. Ахметова М. В. (2013). **Вариантность названий жителей (по данным электронной базы СМИ «Интеграм»)** // Вестник РГГУ. Сер. «Филол. науки. Языкознание». № 8(109) (Московский лингвистический журнал; Т. 15). С. 86–105.
Akhmetova, M. V. (2013). Variantnost' nazvaniy zhitelei (po dannym elektronnoi bazy SMI "Integrum") [Variance of names of inhabitants (based on the media-database "Integrum")]. *Vestnik RGGU, ser. "Filol. nauki. Iazykoznanie"* (RSUH/RGGU Bulletin, Ser. "Philology. Linguistics"), no. 8(109) (= *The Moscow Journal of Linguistics*, 15), 86—105. (In Russian).
3. Ахметова М. (2015). **-Овцы vs. -чаны: языковая игра в полемике о названиях жителей Тамбова** // Антропологический форум. № 24. 2015. С. 120–140.
Akhmetova, M. (2015). *-Ovtsy vs. -chany: iazykovaia igra v polemike o nazvaniakh zhitelei Tambova* ["Ovtsy" vs. "chany" ("sheep" vs. "vats"): wordplay in the polemics about names of inhabitants of Tambov]. *Antropologicheskii forum* [Anthropological Forum], 24, 120—140. (In Russian).
4. Воронцова Ю. Б. (2011). **Словарь коллективных прозвищ** / Ред.-лексикограф Н. В. Галинова. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. 448 с.
Vorontsova, Yu. B. (2011). *Slovar' kollektivnykh prozvisch* [Dictionary of collective nicknames], ed. by N. V. Galinova. Moscow: AST-PRESS KNIGA. 448 p. (In Russian).
5. Грищенко А. И., Николина Н. А. (2005). **Экспрессивные этнонимы как приметы языка вражды** // Язык вражды и язык согласия в социокультурном контексте современности: Коллективная монография / Отв. ред. И. Т. Вепрева, Н. А. Купина, О. А. Михайлова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. С. 175–187.
Grishchenko, A. I., Nikolina, N. A. (2005). Ekspressivnye etnonimy kak primety iazyka vrazhdy [Expressive ethnonyms as the marks of hate speech]. In: Vepreva, I. T., Kupina, N. A., Mikhailova, O. A. (eds.). *Iazyk vrazhdy i iazyk soglasia v sotsiokul'turnom kontekste sovremennosti* [Hate speech and concord speech in modern socio-cultural context], 175–187. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo un-ta. (In Russian).
6. Дранникова Н. В. (2003). **Локально-групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера. Функциональность, жанровая природа, этнопоэтика**. Архангельск: Поморский ун-т, 2003. 432 с.
Drannikova, N. V. (2004). *Lokal'no-grupповые prozvischcha v traditsionnoi kul'ture Russkogo Severa. Funktsional'nost', zhanrovaia priroda, etnopoetika* [The local-group names in the traditional culture of the Russian North. Functionality, genre system, ethno-poetics]. Arkhangelsk: Pomorskii un-t. 432 p. (In Russian).
7. Жельвис В. И. (2001). **Поле брани: Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира**. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Ладомир, 2001. 349 с.

Zhel'vis, V. I. (2001). *Pole brani: Skvernoslovie kak sotsial'naiia problema v iazykakh i kul'turakh mira* [A field of swearing: Foul language as social problem in the languages and cultures of the world], 2nd ed. Moscow: Lodomir. 349 p. (In Russian).

8. Левашов Е. А. (1968). «Москвичи и иных мест люди...» / Отв. ред. А. М. Бабкин. Л.: Наука; Ленингр. отд-е, 1968. 104 с.

Levashov, E. A. (1968). "*Moskvichi i inykh mest liudi...*" ["Muscovites and people from other places"], ed. by A. M. Babkin. Leningrad: Nauka. 104 p. (In Russian).

9. Левашов Е. А. (1974). Названия лиц по местности в русских говорах и литературном языке // Диалектная лексика. 1973. Л.: Наука, 1974. С. 113–121.

Levashov, E. A. (1974). *Nazvaniia lits po mestnosti v russkikh govorakh i literaturnom iazyke* [Names of people, formed from the names of locuses, in Russian dialects and literary language]. In *Dialektnaia leksika. 1973* [The dialect lexica. 1973], 113–121. Leningrad, Nauka. (In Russian).

10. Скворцов Л. И. (1980). **Правильно ли мы говорим по-русски? Справочное пособие по произношению, ударению и словоупотреблению.** М.: Знание, 1980. 223 с.

Skvortsov, L. I. (1980). *Pravil'no li my govorim po-russki? Spravochnoe posobie po proiznosheniiu, udareniiu i slovoupotrebleniiu* [Do we speak Russian correctly? A reference work on pronunciation, accentuation, and word usage]. Moscow: Znanie. 223 p. (In Russian).

“IRREGULAR” NAMING AS ABUSE
(ON ONE ASPECT OF VARIANCE OF KATOIKONYMS)

Akhmetova, Maria V.

PhD (Candidate of Science in Philology), Senior Researcher, Laboratory of Theoretical Folklore Studies, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: malinxi@rambler.ru

Abstract. Formation of variant terms for inhabitants (katoikonoms) of one place is characteristic for the Russian language. Sometimes a variant, which is accepted in local or regional usage, differs from its synonym, used in non-local media. As a result, the local community reflects upon “regular” and “irregular” names — in newspaper articles, on the Internet and in oral communication. “Irregular” naming is associated with “aliens”, particularly, with Moscow journalists. Such names are often perceived as abusive. Such a reaction is linked, first of all, with their perception as disharmonious and rough-sounding. Secondly, a variant is often rejected because of its phonetic similarity or rhyme with some word; for example, inhabitants of Tambov reject the term *tambovtsy*, because it rhymes with *ovtsy* (Russian for ‘sheep’ [pl.]). Thirdly, a variant is rejected because of its homonymy; for example, the term for an inhabitant of Kirov *kirovets*, because of the Soviet model of tractor “Kirovets”. As a result, such “irregular” names gain an expressiveness that initially is unusual for the katoikonoms, and can be used as pejoratives or invectives in local speech.

Keywords: onomastics, names of inhabitants, katoikonoms, variance in Russian language, metalanguage reflection.

AKHMETOVA, M. V. (2015). “IRREGULAR” NAMING AS ABUSE (ON ONE ASPECT OF VARIANCE OF KATOIKONYMS). *SHAGI / STEPS*, 1 (1), 19–39

М. Л. МАЙОФИС, И. В. КУКУЛИН

Майофис Мария Львовна

*канд. филол. наук, старший научный сотрудник,
Лаборатория историко-культурных исследований
ШАГИ РАНХиГС;
доцент, Институт общественных наук РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: mmaiofis@yandex.ru*

Кукулин Илья Владимирович

*канд. филол. наук, доцент, Школа культурологии,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
старший научный сотрудник;
Международный центр истории и социологии
Второй мировой войны и ее последствий, НИУ ВШЭ
Россия, Москва 105066, Старая Басманная ул., 21/4
Тел.: +7 (495) 772-95-90
старший научный сотрудник,
Лаборатория историко-культурных
исследований ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: ikukulin@yandex.ru*

СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В 1920-е — НАЧАЛЕ 1940-х ГОДОВ

От составителей раздела

«Советское образование и политики идентичности»¹

Аннотация. В предисловии объясняются задачи подборки статей в рубрике «Детство, воспитание, идеология». Обсуждается массовое производство новых идентичностей в СССР в 1920-е — начале 1940-х годов. Выдвинуто предположение, что новые социальные идентичности в СССР всегда формировались для решения конкретных задач, которые могли

¹ Раздел подготовлен в рамках работы над проектом Лаборатории историко-культурных исследований ШАГИ РАНХиГС «Концептуальные основания советской образовательной политики (1920–1980-е)».

противоречить друг другу. Это порождало скрытые напряжения в советской социальной и образовательной политике.

Ключевые слова: социальные идентичности, профессиональные идентичности, советская социальная политика, советская образовательная политика.

В этом разделе мы предлагаем вниманию читателей две статьи о формировании новых социальных и профессиональных идентичностей в СССР 1920–1940-х годов.

Социологи и антропологи в 2000-е годы неоднократно критиковали термин «идентичность» как получивший слишком широкое толкование². Р. Брубейкер и Ф. Купер предлагали говорить не об «идентичностях», а о временно возникающих «идентификациях». Мы здесь понимаем идентичность не как исследовательский инструмент, но как социально-психологический конструкт, с помощью которого властные структуры и общественные институты формируют самосознание социальных групп (основания для такой интерпретации предложены в работе норвежского политолога Ивэра Нойманна [Нойманн 2004: 267–294])³.

Социальные, профессиональные и гендерные идентичности могут быть «спроектированы» и созданы заново в ходе целенаправленной работы политических элит, медиа и социальных организаций⁴. Наиболее мощный инструмент для такой работы — образование. Другие инструменты — политическая пропаганда, публицистика на темы морали и этики (в том числе профессиональной) и репрезентации идеальных образов той или иной идентичности — образцового или как минимум «положительного» инженера, врача, школьника, коммуниста, общественного работника и т. п.

Из этого перечисления видно, что важнейшие средства конструирования идентичности и ее дальнейшего преобразования — языковые. Среди них — система слов-маркеров с явными оценочными коннотациями, положительными и отрицательными, профессиональная или гендерно окрашенная терминология (например, «современная женщина» как носительница подразумеваемого, вполне определенного набора качеств) и т. д. Социолингвисты обсуждают значение языковых средств для конструирования идентичности уже на протяжении нескольких десятилетий (см., например: [Gumperz, Cook-Gumperz 1982]).

² После публикации первой статьи на эту тему [Brubaker, Cooper 2000] появилась довольно обширная литература, обсуждающая изложенные в этой статье тезисы. См., например: [Jamieson 2002].

³ См. подробнее также ч. 1 и 2 книги [Ashmore, Jussim 1997].

⁴ См., например, исследование формирования самосознания британских медсестер-сиделок: [Hallam 2000].

Советская Россия и в целом СССР 1920–1930-х годов были местом массовой выработки новых социальных идентичностей. Это «производство субъектов» было основано на эксплицитном включении идеологических критериев в самосознание миллионов людей. Заново формировались и профессиональные идентичности, которые тоже переосмыслились как политически и идеологически значимые. Создавались и совершенно новые профессии, необходимые для функционирования советского государства, — например, профессии «освобожденных» партийных чиновников.

Государственные пропагандисты, журналисты, работники образовательной и социальной сфер стремились «реформировать» самосознание даже тех профессий и социальных групп, которые существовали в имперской России: на место инженеров должны были прийти — и во многом пришли — специфически советские инженеры [Шаттенберг 2011], на место рабочих — советские рабочие⁵, на место писателей — советские писатели [Добренко 1999]. Их самосознание должно было быть пересоздано с помощью доктринальных и языковых средств. Большевицкое руководство считало, что справилось с поставленными задачами: так, Сталин в своей речи на XVIII съезде ВКП(б) в 1939 г. объявил, что в СССР создана совершенно новая интеллигенция, не имевшая ничего общего с дореволюционной.

Все эти новые идентичности имели телеологический и идеологический смысл: каждая должна была занять свое место в единой конструкции нового общества. Ироническим изображением такого идеала, видимо, является, известная картина Гриши Брускина «Фундаментальный лексикон» (1988), составленная из отдельных микроизображений советских социально-профессиональных и социально-бытовых типов: архитектор, моряк, продавец мясного отдела в продовольственном магазине, «образцовый» больной и т. п.

Вероятно, позднесоветских функционеров такая стабильная картина совершенно бы устроила, однако социальная действительность никогда не была столь однородной, как на визионерской картине Брускина. Новые социальные и профессиональные идентичности в СССР создавались всегда для решения конкретных задач, иногда — масштабных, иногда — локальных. Между каждой такой задачей и общим телеологическим пафосом советского режима всегда возникали скрытые напряжения. Это было тем более неизбежно, что часть ресурсов для построения новых идентичностей не изобреталась заново, а бралась из предреволюционного или иностранного опыта.

Предлагаемые вниманию читателя статьи описывают не столь массовые случаи, как «формовка» советских инженеров или рабочих. Работа **Артема Кравченко** прослеживает формирование в СССР

⁵ См. об этом, например, полезные материалы в: [Kotkin 1995].

идентичности пионервожатого — с самого начала это была не профессия, а именно социальная функция, хотя и близкая по смыслу к профессиональному самоопределению. Вторая статья, написанная **Наталией Харитоновой**, показывает, как в конце 1930-х и в 1940-е годы были созданы идеологические и языковые средства для воспитания в СССР эвакуированных испанских детей. Оба исследования позволяют проследить на микроуровне, как решение конкретной задачи вызывало переосмысление заимствованных терминов и иных дискурсивных ресурсов, и как эти термины влияли на самовосприятие «адресатов».

Понятие *вожатый* дополнило язык дореволюционных скаутов, измененный и приспособленный для новой структуры детского движения. Вожатый — тот, кто должен осуществлять постоянный контроль над жизнью детей и поддерживать их индоктринацию. Хотя движение скаутов и имело свою идеологию — или, точнее, строилось на основе нескольких конкурирующих идеологий, — подобной задачи в нем не было, поэтому не было и соответствующей социальной функции. А. В. Кравченко показывает, как эта функция была не только создана, но и натурализована, т. е. стала восприниматься как «естественная», необходимая для нормального функционирования советской школы и других образовательных институций (в первую очередь пионерских лагерей).

Для обучения и воспитания эвакуированных из Испании детей и для мотивации их учителей был использован язык испанской прогрессивной педагогики первой половины XX в. Из статьи Н. Ю. Харитоновой видно, что выражение «полезный человек» (*hombre util*), имевшее в испанском языке первоначально леводемократические коннотации, было использовано испанскими и советскими коммунистами как ключевое для формирования социальной идентичности испанских детей, росших в СССР, а вокруг этого понятия были выстроены дискурсивные и педагогические «подпорки».

В целом, как мы надеемся, эта подборка позволяет прояснить отношения между образовательными практиками, дискурсивным строительством и формированием новых идентичностей в СССР и увидеть, что эти отношения были более разнообразны, чем это представлялось прежде.

Литература / References

1. Добренко Е. (1999). Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Академический Проект, 1999. 557 с.
Dobrenko, E. (1999). *Formovka sovetskogo pisatel'ia. Sotsial'nye i esteticheskie istoki sovetskoi literaturnoi kul'tury* [The making of a Soviet writer: Social and aesthetic origins of Soviet literary culture]. St. Petersburg: Akademicheskii Proekt. 557 p. (In Russian).
2. Нойманн И. (2004). Использование «Другого» / Пер. с англ. В. Литвинова и И. Пильщикова, предисл. А. Миллера. М.: Новое издательство, 2004. 336 с.
Neumann, I. (2004). *Ispol'zovanie "Drugogo"* [Uses of the Other]. Transl. by V. Litvinov, I. Pil'shchikov. Moscow: Novoe Izdatel'stvo. 336 p. (In Russian, transl. from: Neumann, I. B. (1999). *Uses of the Other: "The East" in European identity formation*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 281 p.).
3. Шаттенберг С. (2011). Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы / Пер. с нем. Л. Пантиной, В. Брун-Цехового. М.: РОССПЭН, 2011. 478 с.
Schattenberg, S. (2011). *Inzhenery Stalina: Zhizn' mezhdru tekhnikoi i terrorom v 1930-e gody* [Stalin's engineers: Life between technics and terror in the 1930s]. Transl. from German by L. Pantina, V. Brun-Tsekhovoi. Moscow: ROSSPEN. 478 p. (In Russian).
4. Ashmore, R. D., Jussim, L. (eds.) (1997). *Self and identity. Fundamental issues*. Oxford: Oxford Univ. Press. 256 p.
5. Brubaker, R., Cooper, F. (2000) Beyond "Identity". *Theory and Society*, 29, 1–47.
6. Gumperz, J. J., Cook-Gumperz, J. (1982). Introduction: Language and the Communication of Social Identity. In J. J. Gumperz (ed.). *Language and social identity*, 1–21. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
7. Hallam, J. (2000). *Nursing the image: Media, culture and professional identity*. London: Routledge. 240 p.
8. Jamieson, L. (2002). Theorizing identity, nationality and citizenship: Implications for European citizenship identity. *Sociología*, 34(6), 506–532.
9. Kotkin, S. (1995). *Magnetic mountain: Stalinism as a civilization*. Berkeley: Univ. of California Press. 639 p.

*THE SOVIET EDUCATIONAL SYSTEM AND THE PRODUCTION OF
SOCIAL IDENTITIES IN THE 1920S — EARLY 40S:
FOREWORD TO THE CLUSTER
“SOVIET EDUCATION AND POLITICS OF IDENTITY”*

Maiofis, Maria L.

PhD (Candidate of Science in Philology)

Senior Researcher, Laboratory of Historical and Cultural Studies, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Associate Professor, Institute of Social Sciences, RANEPA

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: mmaiofis@yandex.ru

Kukulin, Ilya V.

PhD (Candidate of Science in Philology), Associate Professor, School of Cultural Studies, National Research University “Higher School of Economics” (HSE); Senior Researcher, International Center for the History and Sociology of World War II and Its Consequences, HSE

Russia, Moscow 105066, Staraya Basmannaia str., 21/4

Tel.: +7 (495) 772-95-90

Senior Researcher, Laboratory of Historical and Cultural Studies, School of Advanced Studies for the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: ikukulin@yandex.ru

Abstract. This brief note aims to clarify the tasks of the cluster “Soviet education and politics of identity”. We focus on mass production of new social identities in the USSR in the mentioned period. The main argument is that new identities in the USSR always were constructed for the purpose of solving particular tasks that could contradict each other. These contradictions caused hidden tensions in Soviet social and educational policies.

Keywords: social identities, professional identities, Soviet social policy, Soviet educational policy, Young Pioneer leaders, the Scout movement in Russia, Spanish War children in the USSR.

MAIOFIS, M. L., KUKULIN, I. V. (2015). THE SOVIET EDUCATIONAL SYSTEM AND THE PRODUCTION OF SOCIAL IDENTITIES IN THE 1920S — EARLY 40S: FOREWORD TO THE CLUSTER SHAGI / STEPS, 1 (1), 40–45

Кравченко Артем Владимирович
МА (Public History), Московская высшая
школа социальных и экономических наук
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (495) 564-85-82
E-mail: artemioskravchenko@gmail.com

ВОЖАТЫЙ В ПИОНЕРСКИХ ЖУРНАЛАХ 1920–1930-х ГОДОВ: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

Аннотация. В центре внимания автора статьи — понятие о вожатом в текстах центральных советских журналов 1920–1930-х годов, ориентированных на участников пионерского движения (прежде всего, в журналах «Вожак» и «Вожатый»). Восходящее к практике скаутинга пионерское движение породило ряд отличных от него категорий и социальных ролей; вожатый стал одной из них. «Вожатый» как понятие, вобравшее в себя и представление о низовом лидерстве, и установку на связь с властью, было удобным для практики пионерской организации, поскольку ее риторика исходила из постулата о детском самоуправлении и самодеятельности, но одновременно содержала устремление к объединению/подчинению партии и комсомолу. Объединяя в себе две разные категории, «вожатый» стал одним из тех понятий советского идеологического языка, которое хотя и не было рассчитано на полное переозначивание, но легко поддавалось «перетягиванию» значений. В течение двух первых советских десятилетий акцент сместился с вожатого как фигуры лидера, появляющегося непосредственно из среды детей, к вожатому как более взрослому товарищу пионеров, который осуществлял их связь с вышестоящими властными инстанциями.

Ключевые слова: вожатый, вожак, пионер, пионерское движение, скаут, комсомол, детские журналы.

Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою огромную семилетнюю жизнь.

М. Цветаева, «Пушкин и Пугачев»

1

Вожатый как фигура, взаимодействующая с детьми и подростками, возникает в Советской России вместе с формированием пионерской организации в 1920-е годы. По своему происхождению понятие *вожатый* было связано с уже существовавшим в стране более десятка лет скаутским движением. Сам этот термин для обозначения должности не получил у скаутов широкого распространения и стал активно использоваться лишь в период вытеснения скаутской организации из Советской России.

Уникальность ситуации России 1920–1930-х годов выражалась не только в самой попытке реализовать универсалистский утопический проект на «одной шестой части суши», которая выразилась в масштабных экспериментах в самых разных сферах. Подобные попытки предпринимались и раньше — достаточно вспомнить хотя бы две крупнейшие революции XVIII в., Французскую и Американскую. Но именно советский революционный эксперимент достиг небывалого масштаба как по исходной радикальности замыслов, так и по длительности периода, во время которого предпринимались более или менее последовательные попытки воплотить эти замыслы в жизнь. И это породило не просто новые механизмы управления или взаимодействия внутри общества, но и новые социальные роли, новые профессиональные идентичности. Эти роли и идентичности вовсе не всегда были следствием целенаправленной деятельности творцов утопии, чаще — ее «побочными продуктами». Впрочем, это вовсе не уменьшало их значимость внутри реструктурируемого общества.

Взаимодействие государственных структур с молодежью и детьми, государственная политика в сферах детско-юношеских движений, школы и прочих институтов образования и социализации создали одно из важнейших «полей», где новые социальные роли и профессиональные идентичности созидались особенно стремительно. Разумеется, это не могло не привлечь внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей¹. Но в то же время, насколько известно автору данной статьи, генезис понятия *вожатый*, как и процесс построения соответствующей идентичности не становились объектом отдельного исследования.

Между тем понятие это кажется чрезвычайно важным для анализа тех процессов, которые протекали как собственно в пионерском движении, так и в школе, в системе комсомола. Понятие *вожатый* находилось на

¹ Историография вопроса достаточно обширна. Приводим лишь несколько работ: [Ви-хавайнен 2000; Рожков 2014; Салова 2001; Шпаковская 2009; Avis 1987; Fitzpatrick 1978; Fitzpatrick 1979; Holmes 1999; Kelly 2007; Kirschenbaum 2001].

«острие» начавшегося в России еще в начале XX в. и развернувшегося в небывалых масштабах в 1920-е годы процесса вытеснения «родительской семьи как института социализации» [Рожков 2014: 39]. Государственный механизм теперь, пожалуй, впервые последовательно противостоит «традиционному фамилизму» и пытается вытеснить семейный авторитет авторитетами других институтов социализации. Пионерская организация и школа становятся в этих условиях важнейшими институтами, через которые власть пытается реализовать свое влияние на новое поколение. И, судя по всему, влияние это часто в итоге преобладало над влиянием семьи (об этом также см.: [Балашов 2003]). Так, В. П. Булдаков отмечает, что в этот период «некоторым детям родители казались “отсталыми”, советская школа, напротив, привлекала новизной» [Булдаков 2012: 653]. А. Ю. Рожков и вовсе говорит о «полном распаде семьи», когда «дети уже не хотели говорить о взаимных правах и обязанностях, они считали, что в семье существуют только взаимные отношения» [Рожков 2014: 45]. В любом случае «перераспределение социальных ролей между семьей и школой в пользу последней» многими детьми «было воспринято с одобрением» [Там же: 40]. Сходным образом воспринималось и усиление влияния возникшей на основе метода скаутинга пионерской организации, которая достаточно быстро интенсифицировала «суггестивные возможности власти» [Булдаков 2012: 264–266].

Некоторые исследователи обращают внимание на то, что пионерское движение в 1920-е годы «перевернуло (...) иерархию с ног на голову, активно призывая детей поучать старших» [Келли 2009: 27], и на то, что суть конфликта, развернувшегося между учителями и школьниками, отражала «не столько противоборство разных поколений, сколько конфликт различных идентичностей» [Рожков 2014: 21]. Однако нужно принимать во внимание и тот очевидный факт, что в пионерской организации был создан новый социальный институт, в принципе способный вступать в конкуренцию с семьей. Особую роль в рамках этого института занимала фигура вожатого. Она находилась не только в промежуточном положении между миром детей и миром взрослых, но и лавировала между собственно пионерской организацией и комсомолом, а позднее — также между школьной и внеклассной активностью. Все это делало место вожатого особенно чувствительным к тем изменениям, которые происходили в советском обществе.

Разумеется, вожатый, как и все пионерское движение, вовсе не был «изобретен» в пореволюционный период. Здесь стоит указать на очевидную генетическую связь с практиками скаутинга, существовавшего в дореволюционной России и в первые годы советской власти². Тем не менее при внешнем сходстве вожатый не был полным аналогом скаут-мастера — об этом нам еще предстоит поговорить дальше.

² О скаутах в России 1920-х годов см., например: [Дружинин 2004; Кудинов, Ярмольчук 2004; Кучин 2008; Слезин 1999; Riordan 1985: 93–106; Riordan 1987: 136–160].

В центре внимания статьи — понятие о вожатом в текстах центральных советских журналов, ориентированных на участников пионерского движения (прежде всего, «Вожак» и «Вожатый»), и в некоторых методических и художественных текстах, вышедших в этот период отдельными изданиями. В качестве основного метода анализа применяется метод истории понятий (см.: [Бёдекер 2010]), но в максимально широком его понимании. Как отмечает Е. Н. Марасинова, история понятий в практике историков «выступает не как главная цель исследования, а как инструмент изучения источника, облегчающий путь от понимания текста к пониманию внетекстовой действительности» [Марасинова 2008: 104]. Ровно о таком инструментальном применении метода и идет в данном случае речь. Очевидно, что «слова, идеи и вещи должны изучаться как аналогические и взаимодействующие ряды явлений» [Виноградов 1999: 6], но цели, перспективы этого изучения могут быть различными. В данном случае мы попытаемся «глубже проникнуть в работу социальных механизмов» [Бикбов 2014: 23] применительно к периоду 1920–1930-х годов, но не заниматься собственно историей слова *вожатый*. Для решения поставленной задачи будут использованы некоторые приемы дискурс-анализа (см., например: [Огурцов 2014]).

2

Слово *вожатый* известно в русском языке с XVI–XVII вв.; первоначально существовала форма *вожатый* [Черных 1999: 160]. В словаре русского языка XVIII в. отмечено прилагательное *вожатый* (применительно к животному, ведущему стадо, а также в словосочетании «Вожатый корпус» с предположительным толкованием ‘штурманский’); существительное *вожатой* имеет следующие значения: ‘проводник; провожатый’, ‘лоцман’, ‘погонщик’, ‘предводитель, руководитель’, перен. ‘наставник, советчик’, а также ‘проводник электричества, тепла’ и ‘вожак стада’ [СРЯ 1987: 267]. Для ряда значений синонимом слова *вожатой* в языке XVIII в. было *вожак*: 1) ‘проводник, указывающий дорогу; провожатый’, перен. ‘наставник, руководитель’; 2) ‘передовой баран в стаде’ [Там же]. Частичное совпадение значений слов *вожатый* и *вожак* сохраняется и в словаре В. И. Даля. К началу XX в., очевидно, происходит значительная дифференциация значений двух этих слов, и в дальнейшем большую роль в этом играет вхождение слова *вожатый* в «номенклатуру» терминов пионерской организации.

Мы попытаемся сосредоточить внимание именно на том, как формировалось в 1920–1930-е годы представление о том, кто такой (*пионер*)*вожатый*³, как смещались акценты в его описании и чем он отличался от вожака. В качестве основных источников будут служить два руководящих издания РКСМ с характерными названиями: «Вожатый» (1924–1991) и «Вожак»

³ По имеющимся данным, термин *вожатый* первичен по отношению к названию *пионервожатый*.

(1928–1933), а также отдельные тексты из пионерских журналов⁴ («Пионер», «Барабан») и брошюры, посвященные «пионерработе».

Если подробнее остановиться на двух ключевых для данной статьи источниках, журналах «Вожатый» и «Вожак», то можно выделить некоторые различия в характере структуры и контента каждого из них (хотя, разумеется, на протяжении своего существования каждый из журналов претерпевал существенные изменения). В целом «Вожатый» был журналом с более отчетливо заданной структурой номера. В нем имелась очевидная рубрикация и, несмотря на то что она менялась из номера в номер, некоторые разделы долгое время оставались постоянными. Так, во всех номерах «Вожатого» за 1938 г. неизменно присутствуют три раздела: «Живые дела» (о том, чем занимаются отряды и что предпринимают вожатые), «Беседы на сборе» (тексты о ключевых событиях, датах и т. п. для обсуждения на сборах), «Игры и песни». Другие разделы появляются более или менее регулярно: «Детский спорт», «Из боевого прошлого», «Жизнь замечательных большевиков», «Лучшие вожатые», «Беседы у костра», «В помощь вожатому-новичку» и т. д.

В «Вожак» отсутствовала система рубрикации. В то же время он был меньше по объему, а кроме того, был в большей степени ориентирован на освещение политических событий, идеологических установок и в меньшей — на практические вопросы. Однако различия между двумя журналами не были кардинальными — в целом эти два печатных органа были схожи по своему построению и тематике.

3

Замена старых, скаутских названий на новые, пионерские, равно как и изменения в форме одежды, имели важное значение в позиционировании нового социального института⁵. В то же время происходили изменения самой структуры организации — прежде всего это касалось сферы взаимодействия с партийными и комсомольскими инстанциями. В этих условиях новые слова оказались связанными с уже отличными от скаутских руководящими ролями внутри детской организации. Слово *вожатый* было важно как термин, объединивший в себе сразу две социальные функции, которые существовали в скаутской системе: *руководителя патруля* (патруль — около восьми скаутов) и *скаут-мастера*, стоящего во главе отряда (около 50 скаутов). В практике российского бойскаутизма имперского и пореволюционного периодов слова, обозначающие эти две роли, обычно были отчетливо разделены. Основатель скаутизма Р. Баден-Пауэлл в сво-

⁴ Здесь и далее под «пионерскими журналами» понимаются все центральные издания, выпускавшиеся при участии комсомола и ориентированные на участников и организаторов пионерского движения, в том числе «Вожатый» и «Вожак».

⁵ Необходимость привлечения скаутских методов работы с подростками была окончательно легализована в советской идеологии после выхода знаменитой брошюры Н. К. Крупской [Крупская 1922] и решения II Всесоюзной конференции РКСМ в мае 1922 г. Об этом см., например: [Кучин 2008: 182–184; Слезин 1999: 142].

ей книге «Scouting for boys» говорит о главе патруля (*Patrol Leader*) как о ребенке-скауте, которого избирают все члены патруля, и об инструкторе (*Instructor*) как о взрослом скаут-мастере (*Scoutmaster*), возглавляющем отряд. В подготовленном еще до Октябрьской революции отечественном «Руководстве по скаутингу» В. В. Попова и В. С. Преображенского глава патруля называется *вожаком*, а отряд возглавляет *инструктор*, который является *скаут-мастером*, он должен быть «в возрасте не менее 20 лет» [Попов, Преображенский 1917: 93–94]. При этом «патруль пользуется широкой свободой, подчиняясь лишь немногим основным правилам закона скаутов» [Там же]. Вожака патруля определяют следующим образом:

Вожак патруля избирается самими мальчиками из своей среды. Его полномочия не определяются точно, вообще говоря, он является своего рода начальником патруля, когда патруль находится в действии, и подчиняется инструктору, заведующему всем отрядом. Иногда, впрочем, патрульный назначается инструктором. В свою очередь, он выбирает себе помощника, заменяющего патрульного в его отсутствие [Там же: 101].

В пионерском движении начиная уже с 1922 г. и главу отряда, и главу звена (звено соответствует скаутскому патрулю) называют *вожатым*. Разумеется, в любом тексте обычно содержится пояснение, о каком именно вожатом идет речь — о вожатом звена (который, скорее всего, избирался пионерами из своей среды) или о вожатом отряда (т. е. о комсомольце, назначаемом для руководства пионерами «сверху» местной организацией). Но нередко, читая тексты 1920-х годов, не сразу можно понять, к какой из категорий относится пионерский руководитель, о котором идет речь. Вожатым отряда мог оказаться пионер, а звено мог организовать специально приехавший для этого комсомолец⁶. В первые годы своего существования журнал «Вожатый» еще полон призывов к максимальному продвижению самих пионеров в руководство детской организацией:

Задача состоит в том, чтобы успеть организовать выдвижение из самой детской среды наиболее подготовленных и серьезных 14–15–16-летних мальчиков и девочек, которые смогли бы вести за собой детскую массу. Начать нужно с более серьезной подготовки вожатых звеньев, но одновременно действовать смелее, выдвигать самих пионеров в местные бюро, которые руководят детским движением [Тарханов 1924: 4].

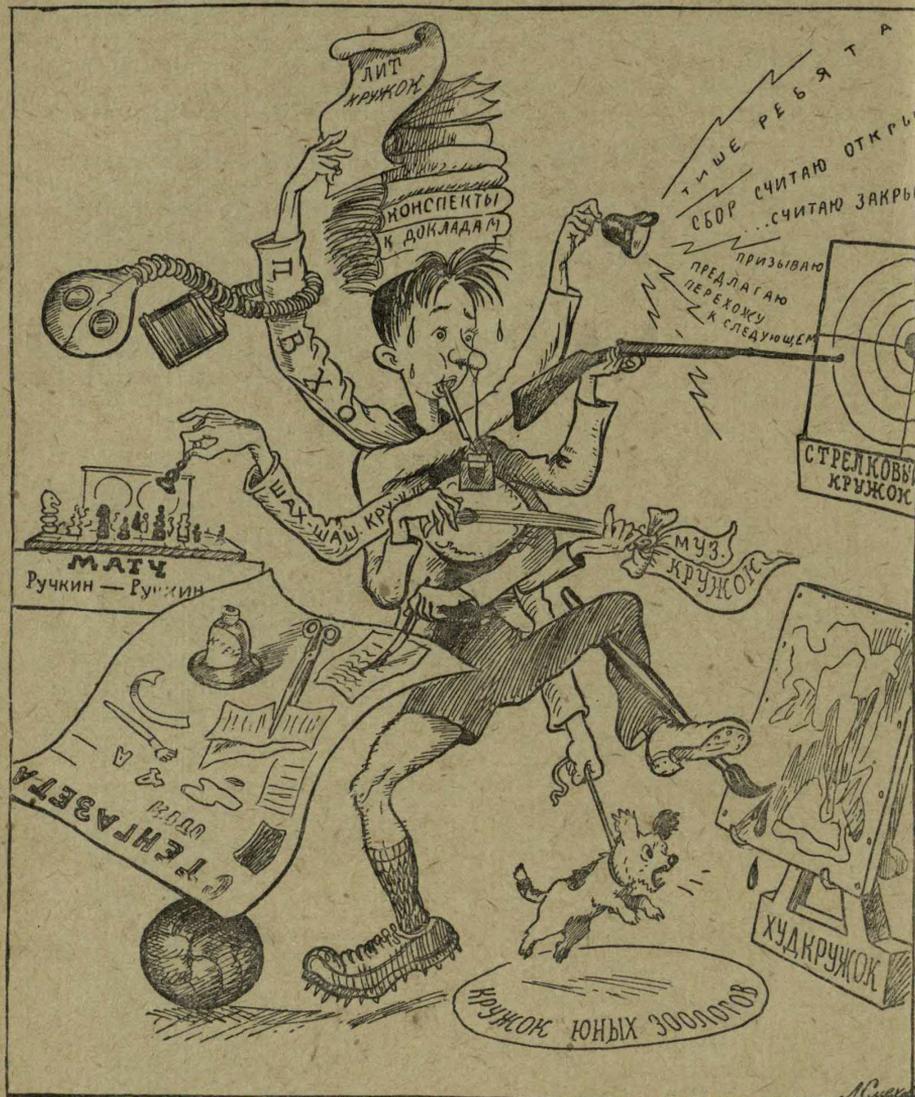
Однако по мере структурирования работы пионерской организации возрастная и статусная разница между вожатым отряда и вожатым звена становилась все более очевидной.

⁶ Характерно, что слово *звеновой* (или *звеньевой*) используется иногда для обозначения вожатого звена, но для *вожатого отряда* нет дополнительного названия.

«ОСЬМИРУК»

Нередко вожатые вместо того чтобы привлечь к руководству пионерскими кружками специалистов, берутся за все сами, в результате чего кружки работают плохо.

Рис. Л. Снехова



Всей его работы круг
Привели мы здесь едва ли.
«Осьминог и осьмирук» —
Так не зря его прозвали.

Сразу он — и тут, и там,
Из кружка в кружок он скачет.
Он за все беретя сам,
А в кружках работа — плачет!

«Осьмирук». «Нередко вожатые вместо того чтобы привлечь к руководству пионерскими кружками специалистов, берутся за все сами, в результате чего кружки работают плохо». Карикатура из журнала «Вожатый» (1938, № 3)

Еще в 1919 г. Н. К. Крупская, рассуждая о предшественниках пионеров — «юных коммунистах» (юках), говорит о том, что «кроме связи юков с организациями коммунистической молодежи, чрезвычайно важно организовать самоуправление юков. Жизнь юков еще не война, где опасна каждая ошибка» (см.: [Крупская 1927: 9]). Однако, судя по всему, в пионерской организации уже к середине 1920-х годов сформировалась очевидная установка на «руководство» детьми, их «самодеятельность» должна была осуществляться только посредством подобного руководства («при системе звеньев мы можем добиться руководства детьми через самих детей» [Зорин и др. 1924: 70]). Именно сочетание самоорганизации и связи с комсомолом — коммунистической молодежью — было ключевым требованием к зарождавшейся детской организации. Характерно, что организация юков была распущена в 1919 г. именно после того, как комсомолу не удалось полностью подчинить ее, поставить под собственный контроль: «...ни политруки, ни политкомы не пользовались таким авторитетом, как скаут-мастера, которые остались подлинными руководителями дружин и отрядов» [Кучин 2008: 166].

Хотя методисты признавали, что основной проблемой, стоявшей перед пионерским движением, было «внедрение в организацию принципов самодеятельности», позднее они настоятельно рекомендовали сохранять руководство «за комсомолом» [Кайдалов 1924: 20–21]. В вышедшем в 1924 г. пособии для инструкторов «Юный пионер» обозначена необходимость не слишком увлекаться организацией детского самоуправления, поскольку «наша главная задача — подготовить не для жизни в коммунистическом обществе, а для борьбы за коммунизм» [Там же: 21]. В журнале «Вожатый» можно найти высказывания, удивительным образом обосновывающие назначение руководства отрядов «сверху» комсомольскими ячейками и настаивающие на элиминировании демократических процедур. Так, авторы статьи «Кем должен быть руководитель в отряде» производят очень ловкий логический и риторический кульбит:

Если бы мы выделяли не подходящих людей, тогда грош цена нашему назначению. Тогда ребята перепрыгнули бы через назначение и стали бы требовать выборности, а сейчас им это делать ни к чему, ибо назначенные комсомольцы к ним вполне подходят [М. З. 1924: 19–20].

Вожатый пионерского отряда с самого начала был связан с комсомолом и властной системой и вовсе не обязательно был самостоятельным низовым «вожаком». В этом смысле кажется показательной книга «Записки старого пионерработника» [Соловейчик, Магидович 1929], в которой становление главного героя, вожатого Бориса Громова, совпадает со становлением системы пионерской организации (период 1922–1925 гг.). Вначале герой состоит в скаутской организации, но потом вместе с частью ребят

«откалывается» и становится «юным разведчиком», а затем — пионером. Но несмотря на формальное вхождение в пионерскую организацию, настоящие изменения в системе управления внутри организации начинают происходить вовсе не сразу. Нововведениям противостоят старые «вожди» скаутов во главе с бывшим скаут-мастером Черным Вороном. Они, с одной стороны, тайно противостоят росту влияния комсомола в пионерской организации, а с другой — стремятся слишком много дел возложить на самих пионеров. Как отмечает главный герой, «какой бы активный пионер ни был, он все равно никогда не сможет организовать звено без руководства» [Там же: 47]. Однако заговор старых скаут-мастеров в итоге разоблачен комсомолом. Герой, случайно оказавшийся связанным с Черным Вороном, раскаивается, и комсомольская организация прощает его. С этого момента горбюро (городское бюро) играет в жизни пионерской организации «совершенно иную роль, чем раньше: прежде оно заслонялось, сначала советом дружины, потом советом легиона <...> теперь оно непосредственно руководит отрядами через районструкторов» [Там же: 89]. В новой ситуации позитивные изменения сразу же становятся заметны. Но на этот раз препятствием к развитию пионерского движения становится забюрократизированная и непродуманная работа «куратора» пионеров из горбюро — Константина Попова. В итоге герой вместе с другими вожатыми отрядов решает, что «дело зашло слишком далеко», и пишет жалобу в журнал «Вожатый» [Там же: 123]. Статья инициирует скандал и борьбу, во время которой протестовавших пытаются обвинить в «групповщине». В итоге справедливость торжествует, и Попова смешают.

Таким образом, все ключевые события книги выстраиваются именно вокруг того, как герой-вожатый пытается установить контакт с комсомольскими руководителями, а организация работы с детьми выступает уже как что-то второстепенное. О выборности в этой ситуации речь заходит нечасто. Все завязано на отношении с теми или иными властными институтами или группами: ключевые решения о «карьерном росте» героя принимаются либо старыми скаутскими «вождями», либо комсомольскими лидерами. При этом поразительно, что в нескольких эпизодах второй части книги главный герой (заметим — положительный) последовательно демонстрирует не слишком серьезное и внимательное отношение к действиям вышестоящих инстанций. Так, получив от председателя уездного бюро комсомола план работы с новой пионерской группой и посчитав его нереализуемым и непродуманным, он просто выбрасывает его в окно поезда: «План я аккуратно сложил и выкинул в окно поезда. Надеюсь, что никто его не найдет» [Там же: 145]. На докладе «о конституции и кооперации» он откровенно спит, просыпаясь только тогда, когда ему предоставляют слово [Там же: 146]. Все эти детали, кажется, по замыслу автора должны восприниматься читателем как элементы нормального поведения, хотя сейчас затруднительно восстановить однозначную семантику этих эпизодов: это то ли следствие загруженности героя, то ли реализация идеи о том, что

даже требованиями вышестоящих инстанций иногда приходится пренебрегать. Не исключено, что автор просто стремится продемонстрировать «живость» персонажа.

В то же время своеобразным клише становится утверждение, что вожатый должен быть «не начальником пионеров», но их «товарищем». Глава отряда «...не начальник, командующий ребятами, и не учитель, натаскивающий их, а прежде всего товарищ всем ребятам (...) Наш комсомолец и не может быть никем иным, кроме как товарищем ребятам» [Там же]. Необходимо, чтобы «вожатый всеми мерами и способами развивал инициативу и самостоятельность самих детей, являясь их старшим товарищем, помощником, незаметно помогал, а не командовал» [Золотухин 1933: 10]. Более того, задачей вожатого провозглашается завоевание у пионеров «звания хорошего товарища» [М. З. 1924: 19–20].

При этом риторически все эти рекомендации отвергают любых пионерских «начальников» (но не руководителей!). Причина этого неприятия очевидна: в дореволюционной скаутской традиции термин *начальник* был как раз весьма употребительным. Так, будущий основатель пионерского движения, скаут-мастер И. Н. Жуков в 1916 г. в книге «Русский скаутизм» пишет именно о «начальнике звена», «начальнике отряда», «начальнике отделения» [Жуков 1916: 15], а В. В. Попов и В. С. Преображенский говорят о «своего рода начальнике патруля» [Попов, Преображенский 1917: 101]. Недопустимость же «начальников» в пионерской организации была очевидна. Критикуя сложившуюся на местах ситуацию и пытаясь продемонстрировать ее в качестве недопустимой и архаичной, пионеры говорили о том, что «вместо вожатых появились начальники, которые в пионер-организации не нужны» [Сталин 1924: 13].

В формуле «вожатый = товарищ» делался очевидный акцент на отсутствии дистанции между вожатым и пионерами. Уже в 1933 г., отвечая на вопрос слушателя Высшей школы деткомдвижения о том, не игнорируется ли «политическое руководство вожатого» в его статусе «старшего товарища пионеров», Н. К. Крупская апеллировала к образу Ленина, которого «миллионы трудящихся называли товарищем», поскольку он «старался быть как можно ближе к массе и тем, кем он руководил», — так и «вожатый должен стремиться стать как можно ближе к пионерам, завоевать их доверие»⁷.

Закрепление руководства пионерской организацией именно за комсомолом изначально обосновывалось большей возрастной близостью комсомольцев и пионеров. Ссылаясь на итоги XIII съезда РКП(б), О. Тарханов в журнале «Вожатый» подчеркивал, что «характер детского движения требует руководства со стороны юношей, а не со стороны взрослых» [Тарханов 1924: 4]. Подробное обоснование этого тезиса приводит в своей

⁷ РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 284 (Ответы на вопросы слушателей Высшей школы деткомдвижения и пр.). Л. 14.

книге «Детское коммунистическое движение» [Гернле 1923] (ее фрагменты печатались в журнале «Вожатый») немецкий идеолог деткомдвижения Э. Гернле. Согласно Гернле, только юноша «может быть одновременно учителем, руководителем, другом и товарищем детей». И хотя молодежь еще «не вполне устойчива в нравственно-сексуальном отношении», «устойчивость» старших в большинстве случаев исчерпывается «мещанской нравственностью и отсталостью». Гернле советует опираться на возрастную группу 17–20-летних руководителей, но привлекать и руководителей «старше 20 лет». В целом, автор полагает, что «нет никаких оснований отказываться» от практики опоры на молодежь, ведь «сотрудничество взрослых товарищей очень желательно, но главное руководство необходимо предоставить юношеству» — «с этими юными пролетариями мы надеемся одолеть всю буржуазную педагогику и предпринять борьбу за трудовую и общественную школу в самой школе» [Гернле 1924: 10–11].

Вопросы об оптимальном возрасте вожатого (здесь явно подразумевался вожатый отряда) задавали во второй половине 1920-х годов и пионерские работники. Например, в 1927 г. у Н. К. Крупской спрашивают: «Зависит ли работа в отряде от возраста вожатого, молодой он или старый?» — и она отвечает: «...легче вожатым стать парнишке или девчонке из комсомола, которые пользуются у ребят естественным авторитетом», т. е. «конечно, молодой возраст не препятствие, а плюс» [Крупская 1927: 150–151].

При этом роль вожатого в школе первоначально была противопоставлена роли учителя. Вожатый должен был «одолеть всю буржуазную педагогику». Наиболее радикально эта оппозиция отражалась в художественных текстах. Например, в «Записках старого пионерработника» — в книге, рекомендованной к чтению подписчикам «Вожатого» и написанную авторами этого журнала, вожатый-комсомолец Борис Громов вступает в борьбу с учителями, притесняющими пионеров (они сажают учеников под парту и... заставляют вставать при своем появлении в классе):

Оказывается, что борьба за новую школу — не такая уж отвлеченная штука, как мне казалось в начале года. Бывают случаи, когда она может дойти и до кулачной борьбы [Соловейчик, Магидович 1929: 103].

В инструктивных и образовательных текстах взаимоотношения учителей и вожатых репрезентированы далеко не так прямолинейно. Вожатый должен «объединять передовое учительство для работы над ним и вместе с ним» [Вл. З. 1929: 45]. Н. К. Крупская говорит о том, что основная задача вожатого — «заинтересовать учителя, показать ему, как работа отряда может помочь работе школы». При этом сферы ответственности четко разграничиваются:

Вожатый — больше организатор, учитель — преподаватель. Вожатый обычно лучше знает среду, у учителя больше знаний; главная область работы вожатого — все же внешкольная [Крупская 1927: 158–159].

А. В. Луначарский в докладе на конференции по вопросам детдвижения и школы (февраль 1925 г.) описывает это взаимодействие совсем уж в возвышенных тонах:

Нельзя себе представить ничего более прекрасного, как эту пару, если она совместно работает. Ни с педагогической, ни с человеческой точки зрения не представить себе более удачной комбинации. У педагогов должен быть житейский опыт, все это должен дать возраст, но вместе с тем педагог наш, да и всякий педагог отдается своей задаче, и он меньше всего обществу. У него нет настоящей гибкости, которую дает только юность, у него нет быстроты и живости. Он специальный педагог — это плохо. У юного педагога слишком мало житейского опыта, психологической проницательности, но вместе с тем юность есть абсолютно необходимая черта, чтобы быть настоящим другом и итти⁸ в ногу, чтобы руководить детьми, говорить с ними на одном языке⁹.

Нарком уверен, что «если бы они стали верить друг другу и нашли бы взаимность работать в 4 руки»¹⁰, то результат непременно был бы великолепным.

К концу 1930-х годов, если судить по текстам рассматриваемых журналов, конфликты и даже несогласованность действий между вожатыми и школьными учителями уже отсутствуют. Исчезает их упоминание как в художественных текстах, так и в письмах, публицистике. Раньше взаимодействие «вожатый–учитель» мыслилось если не как борьба, то как взаимодействие равных, теперь же вожатый все чаще оказывается в роли младшего товарища педагога, фактически — его ученика. Вожатая К. Ларионова, например, описывает в своем письме в журнал «Вожатый» многочисленные плюсы сотрудничества с педагогом Извольской: «...на каждый непонятный мне вопрос я получала педагогически обоснованный ответ» [Педагог помогает 1933: 91]. Вожатый фактически встраивается в школьную иерархию, и заглавие статьи «От вожатого до завшколой» эмблематически представляет наиболее успешный вариант развития «карьеры» вожатого [От вожатого до завшколой 1933].

В журнале «Вожатый» изначально большое внимание уделялось тому, что должен знать и уметь вожатый отряда. В середине 1920-х годов обычно гра-

⁸ Здесь и далее при цитировании сохраняем орфографию оригинала, но вносим изменения в пунктуацию согласно современным нормам.

⁹ РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 206 (Речь на конференции по вопросам деткомдвижения и школы). Л. 29–30.

¹⁰ Там же.

ничиваются отсылками к постановлению XIV съезда ВКП(б) 1925 г.: «Самая острая проблема в пионердвижении — это проблема подготовки квалифицированного вожатого, грамотного не только политически, но хотя бы элементарно грамотного в медицинском и в педагогическом отношении».

В начале 1930-х годов все больше места занимают статьи с подробным описанием того, что должен знать и уметь вожатый, чему должен научиться (см., например: [Королев 1929: 3–8]). В статьях, посвященных рассмотрению кадрового состава вожатых (и пионерработников) на местах, сквозит явное неудовольствие тем, что «большинство вожатых пришли к руководству непосредственно из пионеротрядов». Путь таких вожатых представляется как неудовлетворительный [Маг-ич 1929], а возраст кажется недостаточным для выполнения возложенной на них миссии:

Одна пятая всех вожатых пионерских отрядов, таким образом, не вышла из пионерского возраста и больше половины не достигли 18 лет [Здзярский 1929: 24–25].

При подобном смещении акцентов неудивительным оказывается и то, что к концу 1930-х годов успешным вожатым отряда может представлять уже и учитель. В хвалебной статье «Вожатый Иван Кириллович» в качестве положительного примера работы вожатого описывается опыт учителя зоологии, химии и физики. Мало того что пионеры называют его, естественно, по имени-отчеству, так он еще и характеризуется как «строгий». Тем не менее таинственным образом он является для пионеров «отличным товарищем»:

Как-то само собой почувствовали ребята в Иване Кирилловиче вожатого в самом лучшем смысле этого слова. Как-то само собой стало для ребят ясно, что хотя Иван Кириллович учитель и при том строгий, требовательный учитель, но в то же время он отличный товарищ [Еськова 1938: 24].

Уже с конца 1920-х годов в журналах часто встречаются такие словосочетания, как «старый вожатый», «старый пионерработник». При этом, как и в случае с хрестоматийным выражением «старый большевик», эпитет *старый* здесь является, безусловно, позитивной характеристикой. В изданной в 1930 г. брошюре В. Зорина и В. Ханчина «Работа Пионеротряда: Практическое руководство для вожатых» (значительная часть глав которой уже была ранее опубликована в журнале «Вожатый») есть любопытное сравнение двух вожатых. Это же сравнение вновь повторяется в опубликованном в 1933 г. в журнале «Вожатый» тексте В. Ханчина. Один пионер говорит, что «вожатый у нас старый», и рассказывает о блестяще проведенной им кампании по подготовке к очередным праздникам. Другой пионер рассказывает, что их «вожатый молодой, но горячий», что фактически все, что должны были делать члены отряда, вожатый выполнял сам

и только потому достиг результата. Естественно, «старый» вожатый выступает как положительный пример, а «молодой» — как отрицательный [Ханчин 1933]. Достоинства юности, таким образом, становятся все менее заметными, а «старость» все более явно выступает как преимущество.

Одновременно с этим уже в течение 1920-х годов можно заметить некоторое изменение акцентов в статьях, которые затрагивали тему взаимоотношения со скаутизмом. Разумеется, скаутизм продолжал позиционироваться как отрицательное, враждебное всему советскому явление. В момент формирования пионерской организации еще можно найти тексты, где идет речь о «заимствовании методов бойскаутизма» (к чему призывала в отдельной брошюре Н. К. Крупская [Крупская 1922]). К середине 1920-х принято говорить практически исключительно о «наследии старого скаутизма», которое надо изжить. Но в конце 1920-х годов в «Вожатом» можно встретить статьи, подробно описывающие практику зарубежного скаутизма и говорящие об отдельных его достоинствах — заимствование некоторых методов зарубежного движения, по-видимому, признается возможным. В рамках этой новой тенденции в качестве ключевого достоинства скаутской системы начинает выступать ее большая иерархичность и организованность. Например, М. Мечева пишет об особенностях руководства скаутской организации США, что «скаутским движением руководят взрослые, все руководство представлено строго выдержанной системой, узаконенной конструкцией», и сама утвердительно отвечает на собственный вопрос о том, дает ли подобная система руководства «нужные результаты» [Мечева 1929: 15]. Следовательно, делает вывод Мечева, нужно «не вздыхать над успехами противника», а «учиться на его опыте» [Там же: 16].

В статье, посвященной итогам VI Интернациональной конференции руководителей деткомдвижения, отдельный раздел («В лагере противников») был посвящен анализу опыта скаутов. Поразительны выводы, которыми автор объясняет успех скаутизма. Первая причина — это то, что «все направлено к единой цели капитализма уметь конкурировать, уметь противопоставлять себя сопернику». Вторая заключается в том, что «скаутизм является не частью какой-либо общественной организации страны, а является непосредственной организацией государства. Отсюда те громадные возможности, отсюда тот громаднейший агитационный аппарат, который имеется в распоряжении скаутизма» [Магрил 1929]. Сложно не увидеть в подобном выводе о скаутизме форму подачи устремлений пионерской организации к определенному характеру выстраивания собственной работы и отношений с государством.

4

Вернемся, однако, к упомянутому в самом начале статье разграничению терминов *вожатый* и *вожак*, а также вожатых звена и вожатых отряда. Журнал «Вожатый» был, очевидно, ориентирован все же на вторых и — как «орган молодой, революционной педагогической мысли» — апел-

лировал не к пионерам, но к комсомольцам и другим «старшим пионерработникам». Другой журнал — «Вожак» — позиционировался как «журнал детского актива» и был явно в большей степени ориентирован на вожатых звеньев и на других деятельных пионеров. В брошюре «Вожакам о вожачестве» напрямую указывалось, что «эти-то ребята — вожаки и зачинщики — и есть пионерский (и детский) актив» [Вожакам о вожачестве 1929: 7]. Редакционный манифест первого номера «Вожак» прямо говорит о том, что его аудитория — пионеры-активисты, а не взрослые:

В звеньях, отрядах, школах работают тысячи активистов, они — фундамент нашей организации [О «Вожаке» и вожаках 1928: 3].

Иногда слово *вожак* встречается в качестве синонима *вожатого*, но эти случаи скорее представляют исключение. Так, можно найти упоминания «экзамена на звание вожака» (т. е. вожатого отряда) или прочитать о «фактах нарушения выборности вожаков» [Архипов 1933: 18; см. также: Шамет 1939: 22–24].

В целом *вожак* — всегда лидер, признанный именно неформально (либо избранный «снизу», либо завоевавший доверие). В статье И. Драпкина «Вожак или бузотер?» под вожаками автор понимает «детей, которые имеют влияние в коллективе, безразлично — положительное или отрицательное, но влияние значительное, известным образом отражающееся на жизни всего коллектива или части его» [Драпкин 1929: 13]. Драпкин опровергает позицию «многих работников», которые представляют вожака как ребенка, «обязательно вредно влияющего на детскую среду, противопоставляющего себя педагогу или вожатому» [Там же], поясняя, что «вожачество среди детей — явление обычное, нормальное». Напротив, «вожак, при умелом к нему подходе, может быть лучшим помощником вожатого», просто «вожак нуждается в серьезном руководстве и воспитании» и «должен постоянно чувствовать, что его старый товарищ по работе — вожатый — учитывает его работу и выравнивает ее» [Там же: 16].

Авторы пионерской прессы зачастую прямо указывают на то, что личностные качества вожака приобретаются самовоспитанием и тренировкой:

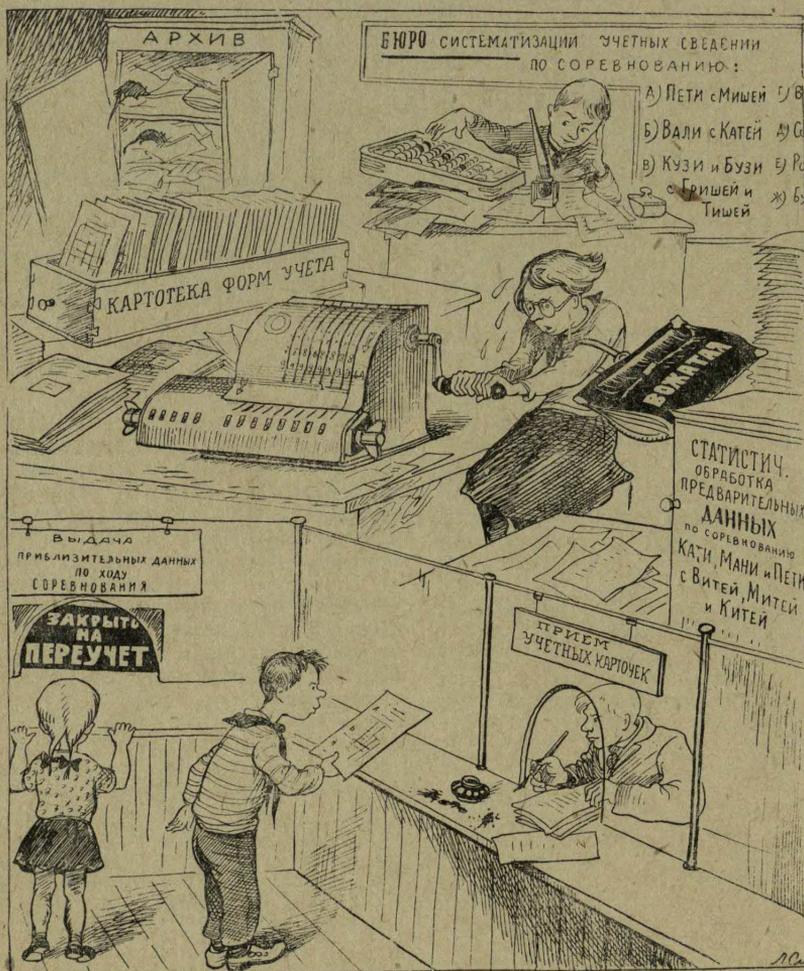
...Никто не рождается готовым вожаком, но каждый пионер при желании может им стать [Генин 1929: 11].

В любом случае, говоря о вожаках, чаще всего имеют в виду именно активистов, способных «вести за собой». Их место в официальной иерархии пионерской организации не так важно. *Вожак* и *вожатый* здесь уже совсем не синонимы. Вожатый — это должность, которую пионер получает «по назначению», а вожак — неофициальный статус, который можно приобрести только с помощью личных качеств и влияния:

СТАТБЮРО И КАРТОТЕКА ЗАСЛОНИЛИ ЧЕЛОВЕКА

Вместо настоящей работы по организации социалистического соревнования в пионерских отрядах вожатые нередко придумывают бюрократические и канцелярские формы учета соревнования.

Рис. Л. Снегова.



«Система», «Картотека», «Сводка»,
«Прием», «Бюро», «Переучет»,
«К докладу», «К делу», «Обработка»...
С вожатой пот ручьем течет!

Все обалдели от старанья
И забывают лишь о том,
Что не поднять соревнованья
Бюрократическим путем.

«Статбюро и картотека заслонили человека». «Вместо настоящей работы по организации социалистического соревнования в пионерских отрядах вожатые нередко придумывают бюрократические и канцелярские формы учета соревнования». Карикатура из журнала «Вожатый» (1938, № 4)

В ДОЛГОСРОЧНЫЙ ОТПУСК

С наступлением летних каникул многие вожатые перестают работать с пионерами. (Из писем.)

Рис. Л. Смегова.



Создает зимой шумиху
Этот парень шумодел,
А с приходом лета тихо
Отстраняется от дел.
И твердит с утра до вечера:
„Дескать, летом делать нечего!“
Но ребята недовольны,
Говорят они: „Довольно!“

Чтоб отряд был весел, дружен,
Крепкий нам вожатый нужен.
Ну, а если ты таков —
Возвращаясь с облаков!
И займись полезным делом,
К речке нас веди и в сад,
Чтобы крепким, загорелым
Встретил зиму наш отряд*.

«В досрочный отпуск». «С наступлением летних каникул многие вожатые перестают работать с пионерами. (Из писем.)». Карикатура из журнала «Вожатый» (1938, № 6)

...Если пионер, ставший вожатым звена, будет всегда помнить <...> свои обязанности и выполнять их, — он через некоторое время станет настоящим вожаком своего звена, будет пользоваться полным доверием и авторитетом у ребят [Вожакам о вожачестве 1929: 11].

При этом самих низовых вожаков призывают проявлять активность и не ждать решений сверху, т. е. от комсомольских руководителей (см., например: [Вожаки, решайте сами! 1930: 12–13]). Одновременно утверждается, что каждый пионер должен стремиться стать «вожаком всей детворы» и воздействовать на неорганизованных ребят.

В 1930-е годы уже невозможно найти словоупотребление *вожак* в значении ‘пионер, официально руководящий звеном’. Эту нишу полностью занимает *вожатый*. В 1933 г. прекращает выходить и само издание «Вожак». Низовой пионерский «активизм» продолжает поощряться, но пишут о нем в пионерских журналах все реже. При этом внутри комсомола уже во времена нэпа происходит смещение значения самого слова *активист*. Как отмечает А. А. Слезин, в 1920-е годы в комсомоле «понятие “активист”, “активный работник” означали не активную общественную деятельность, а принадлежность к управленческому аппарату» [Слезин 1993: 14].

Однако в пионерской организации слово *активист* не превратилось в форму именованного аппаратчика. Зато вожатый, призванный быть «организатором пионерской самостоятельности», явно становится теперь все более значительной и отделенной своим авторитетом от «пионерских масс» фигурой. Власть посредством одноименного журнала коммуницирует именно с ним, а не с пионером-вожаком. Более того, самостоятельные действия и усилия пионеров представляются к началу 1930-х годов в некоторых текстах бессмысленными, если не вредными. Они приобретают смысл лишь как результат выполнения указаний вожатого, который, в свою очередь, является посредником между пионерами и партией (вождем). Так, например, в рассказе «Таланты и весна» деревенские пионеры Митя и Сережа готовят пьесу о капитализме и мастерят модель ледокола «Сибирь», но вдруг оказывается, что все их усилия никому не нужны:

Взмахивая рукой, как знаменем, пионервожатый Савчук на сборе отряда медленно, с точками, запятыми в голосе, прочел речь товарища Сталина о работе в деревне и постановление правительства о заготовке хлеба [Добровольский 1933: 2–3].

Сначала Митя и Сережа очень расстроены, что их работа оказалась ненужной и бесполезной, но «Савчук все объяснил просто, и все стало ясно <...> дело в умении использовать свои неисчерпаемые способности и таланты на фронте села» [Там же]. Пионеры принимаются за работу и с радостью участвуют в заготовке хлеба — иерархия взаимоотношений внутри пионерской организации уже выстроена и понятна.

Теперь, даже когда пионеры делают что-либо неправильное в отношении взрослого вожатого, часто они сами быстро понимают свою ошибку. Так, в «Разговоре с вожатой» Тамара Косякина описывает, как вожатая Лида обсуждает с детьми материал, размещенный в журнале «Пионер» (официальный орган Центрального бюро юных пионеров, ЦК ВЛКСМ) и посвященный распространенной форме хулиганства — стрельбе из «резинок». Вожатая выступает своеобразным посредником между властью и детьми. Дети послушно соглашались с ее доводами, и все сдают свои «резины» и «пульки». В последний момент кто-то кидает в вожатую бумажку, но тут же пионер Герасимов сам признается в проступке, просит прощения и даже плачет от стыда [Разговор с вожатой 1939: 72].

Единственные, кто, кажется, еще могут не знать во второй половине 1930-х годов о школьно-пионерской иерархии и правилах, — это приехавшие в СССР из-за рубежа. Прибывшие из Испании дети на призыв избрать ответственного старосту начинают спорить и заявляют:

В СССР нет никаких старост и старших, все одинаковы, никто не подчиняет себе других [Комкова 1938: 38–40].

Впрочем, и они очень быстро усваивают новые правила.

* * *

Таким образом, слово *вожатый* заняло свое место в языке официальных именовании низовых руководителей пионерской организации во многом именно благодаря коннотативной нагрузке данного слова к началу XX в. Оно содержало более отчетливые ассоциации с указанием, направлением пути, что подтверждается даже существованием формы *вагоновожатый* (но не *вагоновожак!*). *Вожак* же (при всей близости значения двух слов в начале XX в.) был в большей степени связан именно с низовым, стихийным лидерством¹¹. В итоге понятие *вожатый* оказалось более приспособлено для обозначения направляющего, ведущего за собой, поскольку в большей степени сочеталось с рождающейся советской властной «вертикалью». Именно это понятие (а не *вожак*) закрепилось в практиках пионерской организации, риторика которой исходила из постулата о детском самоуправлении и самостоятельности, но в то же время содержала устремление к объединению/подчинению партии и комсомолу. *Вожатый* стал одним из тех понятий советского идеологического языка, которое хотя и не было рассчитано на полное переозначивание, но легко поддавалось «перетягиванию» значений (которое и происходило в 1920–1930-е годы). Вожатый мог превращаться из низового «вожака» в учителя, из пионера во взрослого, из автономного организатора «детских масс» в проводника партийных решений.

¹¹ По данным Национального корпуса русского языка, с 1880 по 1920 г. слово *вожатый* употреблялось по преимуществу в значениях ‘управляющий транспортом’ (включая вьючный и гужевой) и ‘указывающий дорогу, проводник’, в то время как *вожак* — в основном в значении ‘руководитель, лидер, главарь’. — Прим. ред.

Говоря даже о ситуации начала 1920-х годов, вряд ли стоит переоценивать исходную степень «демократизма», которая потенциально была заложена в систему управления пионерской организацией и в вожатого как одну из ключевых фигур этой системы. Комсомол — организация, объединявшая пробольшевицки настроенную молодежь, на представителей которой пытался опираться Л. Д. Троцкий в своей борьбе с бюрократическим аппаратом за «новую политику» в 1923–1924 гг. (см., например: [Резник 2010]), — вряд ли был склонен позволить существовать детской организации, не встроеной в его собственную систему управления. Достаточно вспомнить скорый конец «юных коммунистов» (юков), уже в 1919 г. прекративших свое существование — вероятно, не в последнюю очередь именно потому, что им не удалось «встроиться» в комсомол, и скаут-мастера обладали там бóльшим авторитетом, чем «политруки и политсоветы».

Вожатый как новая категория пионерской идентичности послужила в определенной мере той связкой, которая позволила встроить новую детскую организацию, основанную на принципах скаутинга, в советскую властную систему. Характерно, что и сами скауты (и даже лояльные новой власти «красные скауты»), и их обличители нередко использовали по отношению к скаут-мастерам слово *вождь*. Разумеется, в устах самих скаутов это именование звучало скорее в игровом, потешном духе — в значении ‘предводитель племени’, обусловленном популярностью (и актуальностью для скаутизма) игры в индейцев. Так, например, создатель отряда «Племя “Белый Клык”» Владимир Собинин в 1922 г. начинал воззвание словами: «Так сказали вожди!» В конце же возвания стояли подписи «Вождь “Белый Клык”» (т. е. сам Собинин), затем «Вожди малого совета» и, наконец, «Вожди племени» [Кучин 2008 : 174]. Но последовательные сторонники новой власти, особенно после смерти В. И. Ленина, могли говорить о «вождях» в детском движении лишь с очевидным оттенком сарказма и осуждения. *Вождем* в советской стране мог быть только тот, кто находился на вершине власти. Любые другие «вожди» — тайные или явные — противники советской страны. Не случайно в уже упомянутой книге «Записки старого пионерработника» враждебные новой власти скаут-мастера постоянно именуется именно *вождями* (см. [Соловейчик, Магидович 1929]).

При этом Ленин или Сталин, разумеется, легко могли именоваться *вожатыми*. В стихотворении В. Я. Брюсова на смерть Ленина находим характерную номинацию: «Вождь, земной Вожатый» [Брюсов 1924: 9]. Периодически и в пионерских журналах можно встретить именование В. И. Ленина или И. В. Сталина «вожатым нашей партии» (см., например: [Опыт революционной борьбы 1929: 1–3]). Вождь для пионера может быть вожатым. Но вожатый (если это пионерский вожатый) уже никак не может быть вождем. Его место в системе власти отчетливо обозначено, и он не должен пересекать установленные границы.

Литература / References

1. Архипов (1933). Задачи пионерорганизации в деревне // Вожатый. 1933. № 1. С. 18–19.
Arkhipov (1933). Zadachi pionerorganizatsii v derevne [The goals of the Young Pioneer organization in the countryside]. *Vozhatyi, № 1*, 18–19. (In Russian).
2. Балашов Е. М. (2003). Школа в российском обществе 1917–1927 гг.: Становление нового человека. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 236 с.
Balashov, E. M. (2003). *Shkola v rossiiskom obshchestve, 1917–27 gg.: Stanovlenie novogo cheloveka* [Schooling in Russian society, 1917–1927: The rise of a New Man]. Saint-Petersburg: Dmitry Bulanin. 236 p. (In Russian).
3. [Бёдекер (2010)]. История понятий, история дискурса, история метафор / Под ред. Х. Э. Бёдекера. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 328 с.
Voedeker, H. E. (2010) (ed.) *Istoriia poniatii, istoriia diskursa, istoriia metafor* [History of ideas. History of discourse. History of metaphors]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. 328 p. (In Russian).
4. Бикбов А. Т. (2014). Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: НИУ ВШЭ, 2014. 432 с.
Bikbov, A. T. (2014). *Grammatika poriadka. Istoricheskaiia sotsiologia poniatii, kotorye meniaiut nashu real'nost'* [The grammar of order: Historical sociology of reality changing concepts]. Moscow: NRU HSE. 432 p. (In Russian).
5. Брюсов В. (1924). МЕА: Собр. стихов. 1922–1924. М.: Гос. изд., [1924]. 107 с.
Briusov, V. (1924). *MEA: Sobranie stikhov. 1922–1924*. [MEA: Collection of poems]. Moscow: Gos. izd. 107 p. (In Russian).
6. Булдаков В. П. (2012). Утопия. Агрессия. Власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени России, 1920–1930 гг. М.: РОССПЭН, 2012. 762 с.
Buldaikov, V. P. (2012). *Utopiia. Agressiia. Vlast'. Psikhosotsial'naia dinamika postrevoliutsionnogo vremeni Rossii, 1920–1930 gg.* [Utopia. Aggression. Authority. Psycho-social dynamics of the post-revolution period in Russia. 1920–1930s.]. Moscow: ROSSPEN. 762 p. (In Russian).
7. Виноградов В. В. (1999). История слов / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: РАН, 1999. 1138 с.
Vinogradov, V. V. (1999). *Istoriia slov* [The history of words]. Ed. by N. Iu. Shvedova. Moscow: RAN. 1138 p. (In Russian).
8. [Вихавайнен (2000)]. Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в России, 1920–1930-е годы / Под ред. Т. Вихавайнен. СПб.: Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, 2000. 479 с.
Vihavainen, T. (2000). *Normy i tsennosti povsednevnoi zhizni: stanovlenie sotsialisticheskogo obraza zhizni v Rossii, 1920–1930-e gody* [The norms and values of everyday life: The establishment of the socialistic way of life in Russia. 1920–1930s]. Saint-Petersburg: Institut Finliandii v Sankt-Peterburge. 479 p. (In Russian).
9. Вл. З. (1929). Вожатый в подколлективе // Вожатый. 1929. № 20. С. 44–46.
Vl. Z. (1929). *Vozhatyi v pedkolliektive* [Vozhaty among teaching staff]. *Vozhatyi, № 20*, 44–46. (In Russian).
10. Вожакам о вожачестве. Библиотечка всесоюзных перевыборов пионерактива. М.: Молодая гвардия, 1929. Вып. 3. 47 с.
Vozhakam o vozhashestve. Bibliotekha vsesoiuznykh perevyborov pioneraktiva [Leadership for Pioneer leaders. Library of the All-Soviet Union reelection of the Pioneer volunteers] (1929), vol. 3. Moscow: Molodaia gvardiia. 47 p. (In Russian).

11. Вожак, решайте сами! // Вожак. 1930. № 12/13. С. 12–13.
Vozhaki, reshaite sami [Pioneer leaders, decide for yourselves!] (1930). *Vozhak*, № 12/13, 12–13. (In Russian).
12. Генин Г. (1929). Звено в новой системе // Вожатый. 1929. № 1. С. 7–11.
Genin, G. (1929). Zveno v novoi sisteme [Squad in the new system]. *Vozhatyi*, № 1, 7–11. (In Russian).
13. Гернле Э. (1923). Коммунистическое движение детей: Работа в коммунистических детских группах. Харьков: Путь просвещения, 1923. 66 с.
Hoernle, E. (1923). *Kommunisticheskoe dvizhenie detei: rabota v kommunisticheskikh detskikh gruppakh* [The children's Communist movement: Activity in Communist groups for children]. Khar'kov: Put' prosveshcheniia. 66 p. (In Russian).
14. Гернле Э. (1924). Почему детдвижением руководит комсомол // Вожатый. 1924. № 1. С. 10–11.
Hoernle, E. (1924). Pochemu detdvizheniem rukovodit komsomol [Why is the children's movement led by Komsomol?]. *Vozhatyi*, № 1, 10–11. (In Russian).
15. Добровольский Н. (1933). Таланты и весна // Пионер. 1933. № 5/6. С. 2–3.
Dobrovolskii, N. Talanty i vesna [The talents and the spring]. *Pioner* [Pioneer], № 5/6, 2–3. (In Russian).
16. Драпкин И. (1929). Вожак или бузотер? // Вожатый. 1929. № 2. С. 13–16.
Drapkin, I. (1929). Vozhak ili buzoter? [A leader or a hooligan?]. *Vozhatyi*, № 2, 13–16. (In Russian).
17. Дружинин В. В. (2004). Детское движение в России: историко-теоретический аспект. М.: Логос, 2004. 244 с.
Druzhinin, V. V. (2004). *Detskoe dvizhenie v Rossii: istoriko-teoreticheskii aspekt* [The children's movement in Russia: The theoretical historical aspect]. Moscow: Logos. 244 p. (In Russian).
18. Еськова Г. (1938). Вожатый Иван Кириллович // Вожатый. 1938. № 12. С. 21–24.
Es'kova, G. (1938). Vozhatyi Ivan Kirillovich [A *vozhaty* named Ivan Kirillovich]. *Vozhatyi*, № 12, 21–24. (In Russian).
19. Жуков И. Н. (1916). Русский скаутизм. Краткие сведения о русской организации юных разведчиков. Пг.: Изд. Т-ва «В. Л. Березовский», 1916. 32 с.
Zhukov, I. N. (1916). *Russkii skautizm. Kratkie svedeniia o russkoi organizatsii iunykh skautov* [Scouting in Russia. A brief overview of the young scouts organization]. Petrograd: V. L. Berezovskii. 32 p. (In Russian).
20. Здзярский А. (1929). О составе вожатых // Вожатый. 1929. № 18. С. 24–25.
Zdziarskii, A. (1929). O sostave vozhatykh [About *vozhaty*'s staff] // *Vozhatyi*, 18. 24–25. (In Russian).
21. Золотухин (1933). За решительное улучшение работы пионеротряда // Вожатый. 1933. № 1. С. 2–16.
Zolotukhin (1933). Za reshitel'noe uluchshenie raboty pionerotriada [For a drastic improvement in functioning of the Young Pioneer groups]. *Vozhatyi*, № 1, 2–16. (In Russian).
22. [Зорин и др. (1924)]. Сборник лекций, читанных на первых Московских губернских курсах работников детских коммунистических групп В. Зориным, М. Стремяковым, М. Смоляровым, и др. М.: Молодая гвардия, 1924. 170 с.
Sbornik leksii, chitannykh na pervykh Moskovskikh gubernskikh kursakh rabotnikov detskikh kommunisticheskikh grupp V. Zorinyam, M. Stremiakovyam, M. Stoliarovym i dr. [A collection of

- lectures of the first Moscow governorate courses read for staff members of children's Communist groups by V. Zorin, M. Stremiakov, M. Smoliarov and others] (1924). Moscow: Molodaia gvardiia. 170 p. (In Russian).
23. Кайдалов В. (1924). О районных советах вожатых звеньев // Вожатый. 1924. № 2. С. 20–21. Kaidalov, V. (1924). O raionnykh sovetakh vozhatykh zven'ev [About the district soviets of *vozhatys'* squads]. *Vozhatyi*, № 2, 20–21. (In Russian).
24. Келли К. (2009). **Товарищ Павлик. Взлет и падение советского мальчика-героя**. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 312 с. Kelly, K. (2009). *Tovarishch Pavlik. Vzlet i padenie sovetskogo mal'chika-geroia*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. 312 p. (In Russian; transl. from: Kelly, C. (2005). *Comrade Pavlik: The rise and fall of the Soviet boy hero*. London: Granta Books).
25. Комкова А. (1938). 12 muchachos (из дневника вожатой) // Вожатый. 1938. № 1. С. 38–40. Komkova, A. (1938). 12 muchachos (iz dnevnika vozhatoi) [12 muchachos (from a *vozhaty's* diary)]. *Vozhatyi*, № 1, 38–40. (In Russian).
26. Королев Ф. (1929). **Нужна система подготовки и повышения квалификации пионерработников** // Вожатый. 1929. № 21. С. 3–8. Korolev, F. (1929). Nuzhna sistema podgotovki i povysheniia kvalifikatsii pionerrabotnikov [A system of advanced training for Pioneer movement staff is necessary]. *Vozhatyi*, № 21, 3–8. (In Russian).
27. Крупская Н. К. (1922). Р.К.С.М. и бойскаутизм. М.: Госиздат, 1922. 62 с. Krupskaya, N. K. (1922). *R.K.S.M. i boiskautizm* [Komsomol and Boy scoutism]. Moscow: Gosizdat. 62 p. (In Russian).
28. Крупская Н. К. (1927). Пути пионерского движения. М.: Молодая гвардия, 1927. 218 с. Krupskaya, N. K. (1927). *Puti pionerskogo dvizheniia* [The ways of the Pioneer movement]. Moscow: Molodaia gvardiia. 218 p. (In Russian).
29. Кудинов В. А., Ярмольчук А. В. (2004). История скаутского движения в России XX века. М.: Нац. ин-т бизнеса, 2004. 170 с. Kudinov, V. A., Iarmol'chuk, A. V. (2004). *Istoriia skautskogo dvizheniia v Rossii XX veka* [History of the scout movement in Russia in the 20th century]. Moscow: Nats. in-t biznesa. 170 p. (In Russian).
30. Кучин В. Л. (2008). **Скауты России. 1909–2007. Документы. Свидетельства. Воспоминания**. М.: Минувшее, 2008. 632 с. Kuchin, V. L. (2008). *Skauty Rossii. 1909–2007. Dokumenty. Svidetel'stva. Vospominaniia* [Russia's scouts. 1909–2007. Documents. Testimonies. Memoirs]. Moscow: Minuvshee. 632 p. (In Russian).
31. М. З. (1924). Кем должен быть руководитель в отряде // Вожатый. 1924. № 3. С. 19–20. M. Z. (1924). Kem dolzhen byt' rukovoditel' v otriade [Who should the leader of a Pioneer group be like?]. *Vozhatyi*, № 3, 19–20. (In Russian).
32. Маг-ич Е. (1929). Тульский смотр. Бумаги и люди // Вожатый. 1929. № 1. С. 18–26. Mag-ich, E. (1929). Tul'skii smotr. Bumagi i liudi [Inspection in Tula. Documents and people]. *Vozhatyi*, № 1, 18–26. (In Russian).
33. Магрил (1929). VI Интернациональной конференции руководителей деткомдвижения // Вожатый. 1929. № 11. С. 22–23. Magril (1929). VI internatsional'noi konferentsii rukovoditelei detkomdvizheniia [To the 6th international conference of the leaders of the Communist movement of children]. *Vozhatyi*, № 11, 22–23. (In Russian).

34. Мечева М. (1929). Роль и форма руководства взрослым скаутским движением в Америке // Вожатый. 1929. № 6. С. 10–16.
Mecheva, M. (1929). Rol' i forma rukovodstva vzroslym skautskim dvizheniem v Amerike [The role and the methods of adult guidance in the American scout movement]. *Vozhatyi*, № 6, 10–16. (In Russian).
35. Марасинова Е. Н. (2008). Власть и личность: очерки русской истории XVIII века. М.: Наука, 2008. 484 с.
Marasinova, E. N. (2008). *Vlast' i lichnost': ocherki russkoi istorii XVIII veka* [The regime and the individual: Essays on Russian history of the 18th century]. Moscow: Nauka. 484 p. (In Russian).
36. О «Вожаке» и вожаках // Вожак. 1928. № 1. С. 3–4.
О “Vozhake” i vozhakah [About the journal “Vozhak” and Pioneer leaders] (1928). *Vozhak*, № 1. 3–4. (In Russian).
37. [Огурцов (2014)]. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А. П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. 342 с.
Ogurtsov, A. P. (ed.). (2014). *Metodologiya nauki i diskurs-analiz* [Methodology of science and discourse analysis]. Moscow: IF RAN. 342 p. (In Russian).
38. Опыт революционной борьбы передаем детям // Вожатый. 1929. № 20. С. 1–3.
Opyt revoliutsionnoi bor'by peredaem detiam [We transfer the experience of the revolutionary struggle to the children] (1929). *Vozhatyi*, № 20, 1–3. (In Russian).
39. От вожатого до завшколой // Вожатый. 1933. № 23/24. С. 72–73.
Ot vozhatogo do zavshkoloj [The way from a *vozhaty* to a head of school] (1933). *Vozhatyi*, № 23/24, 72–73. (In Russian).
40. Педагог помогает // Вожатый. 1933. № 23/24. С. 91.
Pedagog pomogaet [A pedagogue helps] (1933). *Vozhatyi*, № 23/24, 91. (In Russian).
41. Попов В. В., Преображенский В. С. (1917). Бойскауты. Иллюстрированное руководство самовоспитания молодежи по системе «скаутинг» сэра Роберта Баден-Пауэлла применительно к русской жизни и природе. Вып. 1–3. М.: Типография Сытина, 1917. 383 с.
Popov, V. V., Preobrazhenskii, V. S. (1917). *Boiskauty. Illiustrirovannoe rukovodstvo samovospitaniia molodezhi po sisteme “skauting” sera Roberta Baden-Pouella primenitel'no k russkoi zhizni i prirode* [Boy-scouts. An illustrated guide for self-education of the youth according to the “scouting” system of Sir Robert Baden-Powell (adopted to Russia’s social and natural conditions)], issue 1–3. Moscow: Tipografiia Sytina. 383 p. (In Russian).
42. Разговор с вожатой // Пионер. 1939. № 11. С. 72.
Razgovor s vozhatoi [A conversation with a female *vozhaty*] (1939). *Pioner* [Pioneer], № 11, 72. (In Russian).
43. Резник А. В. (2010). Троцкизм и Левая оппозиция РКП(б) в 1923–1924 гг. М.: Свободное марксистское издательство, 2010. 113 с.
Reznik, A. V. (2010). *Trotskizm i Levaia oppozitsiia RKP(b) v 1923–1924* [Trotskyism and the left opposition in the Communist party, 1923–1924]. Moscow: Svobodnoe marksistskoe izdatel'stvo. (In Russian).
44. Рожков А. Ю. (2014). В кругу сверстников: Жизненный мир молодого человека в Советской России 1920-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 640 с.
Rozhkov, A. Iu. (2014). *V krugu sverstnikov. Zhiznennyi mir mladogo cheloveka v Sovetskoj Rossii 1920-kh godov*. [Among the peers: The world of a young person in Soviet Russia of the 1920s.]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. 640 p. (In Russian).

45. Салова Ю. Г. (2001). Политическое воспитание детей в Советской России. 1920-е годы. Ярославль: Ярославский гос. ун-т, 2001. 197 с.
- Salova, Yu. P. (2001). *Politicheskoe vospitanie detei v Sovetskoj Rossii. 1920-e gody*. [The political upbringing of children in Soviet Russia. 1920s]. Yaroslavl: Iaroslavskii gos. un-t. 197 p. (In Russian).
46. Слезин А. А. (1993). Комсомол в советской политической системе в годы НЭПа (по материалам губерний Центрального Черноземья): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 1993. 23 p.
- Slezin, A. A. (1993). *Komsomol v sovetskoj politicheskoi sisteme v gody NEPa (po materialam gubernii Tsentral'nogo Chernozem'ia): Avtoref. dis. ... kand. ist. nauk* [Komsomol in the Soviet political system in the years of NEP (New Economic Policy), Based on the materials of the Central Chernozem Region. An abstract of a thesis ... degree of Candidate of History]. Voronezh, 1993. 23 p.
47. Слезин А. А. (1999). Красные скауты // Вопросы истории. 1998. № 2. С. 139–142.
- Slezin A. A. (1999). Krasnye skauty [The Red scouts]. *Voprosy istorii* [Problems of history], 2, 139–142. (In Russian).
48. Соловейчик М., Магидович Е. (1929). Записи старого пионерработника. 2-е изд. М.; Л.: Молодая гвардия, 1929. 171 с.
- Soloveichik, M., Magidovich, E. (1929). *Zapiski starogo pionerrabotnika* [Notes of an experienced member of the Pioneer organization]. 2nd ed. Moscow; Leningrad: Molodaia gvardiia. 171 p. (In Russian).
49. [СРЯ (1987)]. Словарь русского языка XVIII века / Гл. ред. Ю. С. Сорокин. Вып. 3. (Век — Воздувать). Л.: Наука, 1987. 296 с.
- Sorokin, Yu. S. (ed.). (1987). *Slovar' russkogo iazyka XVIII v.* [Russian dictionary of 18th century], vol. 3. Leningrad: Nauka. 296 p. (In Russian).
50. Сталин З. (1924). Веснушки на лице // Вожатый. 1924. № 7. С. 12–13.
- Stalin, Z. (1924). Vesnushki na litse [Freckles on the face]. *Vozhatyi*, № 7, 12–13. (In Russian).
51. Тарханов О. (1924). Партия и юные пионеры // Вожатый. 1924. № 2. С. 1–5.
- Tarkhanov, O. (1924). Partiia i iunye pionery [The Party and the young pioneers]. *Vozhatyi*, № 2, 1–5. (In Russian).
52. Ханчин В. (1933). Каким должен быть вожатый // Вожатый. 1933. № 3/4. С. 18–20.
- Khanchin, V. (1933). Kakim dolzhen byt' vozhatyi [What should a *vozhaty* be like]. *Vozhatyi*, № 3/4, 18–20. (In Russian).
53. Черных П. Я. (1999). Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1. М.: Русский язык, 1999. 560 с.
- Chernykh, P. Ia. *Istoriko-etimologicheskii slovar' sovremennogo russkogo iazyka* [A historical-etymological dictionary of modern Russian language], vol. 1. Moscow: Russkii iazyk. 560 p. (In Russian).
54. Шамет Н. (1939). Вожак класса // Пионер. 1939. № 11. С. 22–24.
- Shamet, N. (1939). Vozhak klassa [A leader in school class]. *Pioner* [Pioneer], № 11, 22–24. (In Russian).
55. Шпаковская Л. Л. (2009). Советская образовательная политика: социальная инженерия и классовая борьба // Журнал исследований социальной политики. Т. 7. № 1. 2009. С. 39–64.
- Shpakovskaia, L. L. (2009). Sovetskaia obrazovatel'naia politika: sotsial'naia inzheneriia i klassovaia bor'ba [Soviet education policy: Social engineering and class struggle]. *Zhurnal issledovaniï sotsial'noi politiki* [Journal of Social Policy Studies], 7(1), 39–64. (In Russian).

56. Avis, G. (ed.) (1987). *The making of the Soviet citizen: Character formation and civic training in Soviet education*. London: Croom Helm. 167 p.
57. Fitzpatrick, S. (1978). *Cultural revolution in Russia. 1928–1931*. Bloomington: Indiana Univ. Press. 309 p.
58. Fitzpatrick, S. (1979). *Education and social mobility in the Soviet Union, 1921–1934*. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 355 p.
59. Holmes, L. E. (1999). *Stalin's school: Moscow's model school, № 25, 1931–1937*. Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh Press. 232 p.
60. Kelly, C. (2007). *Children's world. Growing up in Russia, 1890–1991*. New Haven; London: Yale Univ. Press. 246 p.
61. Kirschenbaum, L. (2001). *Small comrades: Revolutionizing childhood in Soviet Russia, 1917–1932*. New York: Routledge. 232 p.
62. Riordan, J. (1985). “Be prepared”: Russian boy scouts and Soviet pioneers. *Stadion*, 11(1), 93–106.
63. Riordan, J. (1987). The role of youth organization in the communist upbringing in the Soviet school. In G. Avis (ed.) (1987). *The making of the Soviet citizen: Character formation and civic training in Soviet education*, 136–160. London: Croom Helm.

Сокращения

РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории (Москва).

РКСМ — Российский коммунистический союз молодежи.

“VOZHATYI” IN SOVIET MAGAZINES FOR PIONEERS IN
1920–1930s: IDEOLOGICAL CONCEPT AND FICTIONAL
REPRESENTATION

Kravchenko, Artem V.

MA (Public History), Moscow School of Social and Economic Sciences

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (495) 564-85-82

E-mail: artemioskravchenko@gmail.com

Abstract. The subject of the article is the concept of “vozhaty” (“a guide”). From 1922 “vozhaty” is a position in the Young Pioneer organization of the Soviet Union that, in terms of the scouting system, is close to a Patrol leader and, at the same time, a Scout-master. The key resources of the article are Soviet magazines for Pioneers (first of all, “Vozhatyi” and “Vozhak”). The Pioneer organization arose out of the practice of scouting, but the new Pioneer practice created some absolutely new categories and social roles. “Vozhatyi” is a clear product of this process. “Vozhatyi” is a notion that includes associations with self-government and spontaneous leadership, but, on the other hand, it also implies an idea of a connection with external authorities. This fact was very important in the context of constructing the Pioneer organization that tried to declare itself a representative of children’s self-government, but at the same time tried to be strongly obedient to Komsomol and the Communist Party. Thus, the word “vozhaty” could change its key connotations in different political and social contexts. For example, there is a definite shift in meaning from “vozhaty” as a children’s leader, taking part in Pioneers’ self-governing (in 1920s), to “vozhaty” as someone older who links children to the Communist authorities (in 1930s).

Keywords: vozhaty, Pioneer, youth movement, scout, scouting, scoutmaster, Komsomol, children’s studies, children’s magazines, Soviet ideology, children literature.

KRAVCHENKO, A. I. (2015). “VOZHATYI” IN SOVIET MAGAZINES FOR PIONEERS IN 1920–1930s: IDEOLOGICAL CONCEPT AND FICTIONAL REPRESENTATION. SHAGI / STEPS, 1 (1), 46–73

Харитоновна Наталья Юрьевна

PhD, доцент, Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Россия, Москва, 105066, Старая Басманная ул., д. 21/4

Тел.: +7 (495) 772-95-90

E-mail: nataliakaritonova@hse.ru

СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКИХ ДОМАХ ДЛЯ ИСПАНСКИХ ДЕТЕЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ: К ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕОЛОГЕМ

Аннотация. В статье исследуются педагогические идеологии, которые легли в основу образовательной и воспитательной программы, созданной для испанских детей, эвакуированных в Советский Союз во время гражданской войны в Испании, в 1937–1939 гг. Исходя из теоретических положений истории понятий анализируются некоторые концепты из дискурса испанских идеологов, самих воспитанников детских домов для испанских детей и советских педагогов. Особое внимание уделяется истории испанского понятия «полезный человек» и тем смысловым сдвигам, которые оно испытывает на протяжении нескольких столетий. Для выявления особенностей его употребления в речи испанских детей привлекается советский материал и близкое ему понятие «быть полезным для родины». Исследование позволяет продемонстрировать гибридность педагогических установок, применявшихся в воспитании испанских детей.

Ключевые слова: советская школа, испанские дети, идеологии, история понятий.

Во время гражданской войны в Испании, с 1937 по 1939 г., Советский Союз принял несколько тысяч испанских детей, для которых была создана особая система детских домов специального назначения и средних школ. Обучение испанских детей в СССР стало уникальным образовательным и идеологическим проектом: для большого коллектива несовершеннолетних учащихся, которые не являлись советскими граждана-

ми и не были в своем большинстве детьми эмигрантов, было организовано особое пространство, где школьный учебный и воспитательный процесс шел на их родном языке, а у детей формировалось представление об их специфической общественной миссии.

Пребывание и обучение испанских детей в СССР наделялись дополнительными политическими и идеологическими задачами. События «большой истории» могли вносить коррективы в работу детских домов: поражение республиканцев в гражданской войне в 1939 г., Вторая мировая война, роспуск Коминтерна и «холодная война» привели к некоторым переформулировкам цели школьного воспитания и обучения испанских детей. Но в целом эти дети рассматривались как коллектив будущих кадров для Испании, которому предстояло выполнить определенные задачи: восстановить свою страну после гражданской войны, экспортировать в Испанию социалистический строй, победить франкизм, построить демократическое республиканское общество. Для этого они должны были обладать рядом определенных личных качеств, которые наделялись особым смыслом в системе советского образования.

В силу того что обучение и воспитание испанских детей курировались советским образовательным ведомством совместно с представителями иностранной политической организации в эмиграции, их задачи и цели формулировались в результате сложного взаимодействия установок испанского руководства, концептуального поля испанской культуры, а также интеллектуальной истории и понятий советской идеологии и системы школьного образования. Большой интерес для изучения представляет понятийный аппарат, с помощью которого советские и испанские идеологи и педагоги формулировали задачи воспитательного и образовательного процесса. Эта система понятий и станет предметом рассмотрения в данной статье.

1

В Испании, с июля 1936 г. охваченной гражданской войной, уже в первые месяцы военного конфликта, в августе 1936 г., началась эвакуация мирного населения, и прежде всего детей, из зон военных действий. Из центра Испании и Мадрида несовершеннолетних вывозили на юго-восток страны. Детей также отправляли за границу: во Францию, Швейцарию, Бельгию и Англию и в другие страны — в Мексику и США.

Еще в начале гражданской войны на страницах педагогического журнала «El Magisterio Español» подчеркивалась разница между системами образования, созданными под эгидой правых партий, которые «порабощают дух ребенка», и теми системами, которые созданы левыми. Последние «создают и поддерживают новую школу, кузницу свободных людей» [del Pozo Andrés 2008: 508]. В регионах Испании, находившихся под контролем республиканцев, во время военного конфликта были организованы так называемые детские «колонии», или детские лагеря, «детские республики» [Ibid: 518].

Республиканское Министерство образования и Управление детских лагерей при министерстве возлагали большие надежды на этот педагогический эксперимент. Уже тогда начинает формироваться представление об особом предназначении нового поколения испанцев. Представители республиканских органов образования считали, что детские колонии станут «колыбелью» для «нового, образованного и сильного поколения, которое понадобится нашей освобожденной родине», поколения, «способного поднять на своих плечах растерзанную Испанию, которая достанется им в наследство» [Ibid: 519]. Далее эти идеи получают развитие в установочных высказываниях руководства испанской компартии в СССР.

Первая «детская экспедиция» в СССР датируется весной 1937 г. Всего таких экспедиций было четыре, и исследователи считают, что общее число испанских детей, эвакуированных в Советский Союз, составляет приблизительно три тысячи человек [Alted Vigil et al. 1999: 44]. Как правило, они не были сиротами, в Испании у них оставались семьи. Многие дети уезжали с братьями и сестрами — родными и двоюродными. В основном это были дети из рабочих семей, где политические взгляды большинства родителей были республиканскими.

Говорить об изначальной четкой образовательной программе или вообще о каком-то плане испанского или советского правительства на первых этапах эвакуации не приходится. Во-первых, экспедиции зачастую организовывались в ситуации бомбардировок, и должного контроля над процессом эвакуации обеспечить не удавалось. Первостепенная задача, которую в 1937 г. решали советское и испанское правительство, — отдых и восстановление здоровья детей, для чего их сначала отправляли в пионерские лагеря Крыма. Во-вторых, в то время никто не мог точно предвидеть исхода гражданской войны, и, разумеется, при организации экспедиций никто не мог предположить, что дети останутся в стране на многие годы. На это указывает и то, что изначально испанских детей патронировали Наркомат здравоохранения и военное ведомство.

В разные годы число детских домов для испанских детей было различным, но в целом не превышало шестнадцати. Они были расположены в Московской и Калужской областях, в Ленинграде, Пушкино и Луге, в Евпатории, а также в Киеве, Харькове, Одессе и Херсоне. Во время эвакуации детские дома оказались разбросаны по разным советским республикам и регионам РСФСР (Краснодарский край, Саратовская область, деревни поволжских немцев, к тому моменту депортированных из родных мест, Сталинградская область, Самарканд, Ташкент и Тбилиси). После войны руководство испанской эмиграции предприняло усилия для того, чтобы собрать испанских воспитанников в Москве или в близких к столице областях. Выпускников детских домов направляли учиться в школы фабрично-заводского обучения, техникумы или институты. Последний детский дом для испанских детей был расформирован в августе 1951 г.

Передача испанских детей в ведомство Наркомпроса, создание специальных детских домов и организация в них школьного обучения были ре-

гламентированы осенью 1937 г. серией распоряжений Совета народных комиссаров и других ведомств [Елпатьевский 2002: 61], после того как дети провели лето на черноморском побережье. Следует предположить, что в этих документах были учтены рекомендации представителей испанской коммунистической партии — прежде всего идея размещения испанских детей в отдельных заведениях и обучение их на родном языке с условием преподавания русского как иностранного.

Детские дома постоянно курировали представители испанской компартии. Из отчетов испанских инспекторов следует, что испанцы принимали участие прежде всего в организации воспитательной и культурной работы, в то время как в образовательный процесс они не вмешивались, ограничиваясь сбором информации о результатах обучения, хотя и могли настаивать на улучшении показателей успеваемости или уровня владения русским языком.

В том, что касается собственно школьного процесса, советские учителя и инспекторы Наркомпроса РСФСР руководствовались общими для советской школы требованиями. Занятия в школах поручили вести прибывшим с экспедициями испанским педагогам и советским учителям; функции организации и контроля за обучением на местах выполняли советские педагогические коллективы. При Наркомпросе был создан отдел детских домов для испанских детей. Ситуация в каждом из детдомов при этом была разной и во многом зависела от советского персонала каждого отдельного учреждения.

По мнению советского персонала, основная проблема заключалась в отсутствии педагогических навыков у испанских учителей, поэтому для них специально делали доклады, проводили семинары по советской педагогике, вводили посещение методических кабинетов, уроков советских учителей, организовывали витрины и доски вырезок из «Учительской газеты», переводили для них на испанский язык методические материалы и учебные программы. Об этом свидетельствуют многочисленные отчеты и протоколы совещаний педагогических советов детских домов для испанских детей, например отчет о состоянии работы методического кабинета детского дома № 1 от 14 февраля 1941 г.¹

Учительница киевского детского дома № 13 вспоминала:

Педагогический совет помогал этим товарищам (испанским учителям. — *Н. Х.*) до конца изжить буржуазные методы воспитания учащихся, что потом дало положительные результаты.

Они ходили на уроки к лучшим мастерам, педагогам школ г. Киева и на открытые уроки. Планы их уроков и осуществление их все время совершенствовались. Мы с ними систематически изучали советскую педагогику, тем более, что много планов и программ было издано на испанском языке².

¹ ГАРФ. Ф. А-307. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–6а об.

² ANC1-555-T-205.S.P. Документ не датирован; речь идет о 1967—1968 гг. Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

Из документов Наркомпроса конца 1930-х годов следует, что советский персонал был убежден в том, что испанских детей необходимо воспитывать в духе, соответствующем «задачам нашей советской педагогики», «в интересах коммунистического воспитания» и «интернационального воспитания». Год спустя после прибытия первых групп испанских детей, в 1938 г., Наркомпрос РСФСР разработал «Положение о детских домах для испанских детей»³, где прописано, что задачей детского дома является воспитание «строителей коммунистического общества, беззаветно преданных социалистическому отечеству трудящихся всего мира — Советскому Союзу, борцов против фашизма, борцов за свободную независимую Испанию»⁴. Советские педагоги осознавали работу с испанскими детьми как важную миссию, ответственность за которую они несут перед родителями детей и испанским правительством.

Сотрудники Наркомпроса регулярно посещали детские дома для испанских детей и анализировали ведущуюся там воспитательную работу. Во многом замечания, которые формулировались в результате таких проверок, соответствовали общим советским педагогическим принципам. Так, например, инспектор, побывавший в детском доме № 2 в конце первого полугодия 1938/1939 учебного года, отметил неустойчивость интересов детей и их неспособность доводить дело до конца. Зафиксировав эту поведенческую особенность воспитанников, сотрудник Наркомпроса не просто предлагает усилить требовательность к выполнению задач, но и специально отмечает необходимость большой педагогической работы с соответствующим дефектом, поскольку ему нет места в системе советских и революционных ценностей. При этом автор отчета видит в воспитании настойчивости большую государственную задачу, и не только советскую, но и революционную испанскую:

Нам, Советской стране, а также революционной Испании нужны стойкие, волевые личности, умеющие доводить начатое дело до конца⁵.

В этом высказывании, безусловно, дает о себе знать сверхзадача педагогического проекта воспитания испанских детей в СССР. В детях необходимо было вырабатывать особую «советскую закалку» и другие личные качества, считавшиеся полезными для общества и государства — не только советского, но и испанского. Таким образом, характерные для того времени советские установки применялись к детям-иностранцам, которые рассматривались как своего рода продукт экспорта советской модели личности в другое государство, как адресат проекта по воспитанию и образованию детского коллектива.

³ ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5987. Благодарю А. А. Карасёву (Московский педагогический государственный университет) за указание на этот фонд.

⁴ Там же. Л. 1.

⁵ ГАРФ. Ф. А-307. Оп. 1. Д. 122. Л. 8.

Любопытно, что даже высказывания советских преподавателей-предметников, работавших с испанскими детьми, при обосновании значения своей дисциплины в их системе обучения апеллируют к изначально заданной идеологической сверхзадаче. Учитель русского языка Федосова в работе о преподавании русского языка в испанской школе, датированной 6 октября 1943 г., воспроизводит общие воспитательные установки, применявшиеся к испанским детям:

Преподаватель русского языка должен дать возможность учащимся через познание русского языка шире и полнее познать жизнь социалистической страны и способствовать его коммунистическому воспитанию и выработке будущего строителя социалистического общества в родной стране и борца за коммунизм⁶.

Поэтому, как пишет учительница, даже материал для изучения русского языка этими детьми, приехавшими «из буржуазной страны», должен быть идеологически выдержанным, а «сами уроки должны быть повседневным средством коммунистического воспитания»⁷.

С одной стороны, в этих утверждениях обнаруживается общая советская педагогическая установка на воспитание строителей коммунизма. Однако дает о себе знать и понимание инаковости этих детей и специфики их восприятия незнакомой им советской действительности. Подчеркивается, что строителями социализма они станут у себя на родине, и это последнее утверждение лежит в плоскости взаимодействия испанских и советских идеологов, применявшихся в воспитании испанских детей.

Советские педагоги работали с испанскими детьми в сотрудничестве с испанским руководством, которое принимало определенное участие в воспитательном процессе. Задачи, которые культивировались в воспитании испанских детей с первых лет существования соответствующих школ в СССР, заключались в том, чтобы дети укрепляли здоровье, учились и получали политическое образование для того, чтобы стать подготовленными кадрами для республиканской Испании, которую им предстоит построить.

Инспектор компартии Испании (КПИ) Клара Санча в июле 1939 г. написала несколько отчетов о посещении детских домов для испанских детей. Отметив хорошее знание советской истории и биографий героев русской Гражданской войны у детей ленинградских детских домов, она предлагала руководству КПИ собрать руководителей политического воспитания, работающих в детских домах, «разъяснить им характер нашей борьбы и дать указания о том, каким должно быть воспитание пионеров и молодых коммунистов, с тем чтобы они стали кадрами для Испании»⁸.

⁶ ГАРФ. Ф. А-307. Оп. 1. Д. 143. Л. 2. «Работа и тезисы доклада преподавательницы русского языка и литературы в д/д номер 2 для испанских детей Федосовой».

⁷ Там же.

⁸ ANC1-555-T-205. S.P.

Судя по отчетам советских и испанских инспекторов, воспитание детей оказывалось подчинено масштабным государственным и политическим задачам. Установки именно такого рода дают о себе знать уже «на выходе», в высказываниях самих учеников того времени.

2

Одним из архивных источников по истории детских домов для испанских детей является корпус «ритуальных» поздравительных писем воспитанников, адресатом которых были руководители КПИ и испанской эмиграции в СССР — Хосе Диас и Долорес Ибаррури. Судя по сохранившимся материалам, написание таких писем по случаю дня рождения Хосе Диаса и Долорес Ибаррури практиковалось до начала Великой Отечественной войны. Это было организованное мероприятие, которому предшествовали беседы и лекции о руководителях испанского коммунистического движения. Детям рассказывали о судьбе вождей, об их политическом становлении и о том, как они живут сейчас. Заключительной частью мероприятия было написание писем на испанском языке, которые могли быть индивидуальными или коллективными.

Ученики четвертого класса обнинского детдома № 5 рапортовали о своих успехах в апреле 1941 г.:

Все это время мы готовимся, учимся и работаем, для того чтобы стать полезными нашему отечеству людьми (*ser útiles a nuestra patria*) и суметь разрушить любой эксплуататорский режим, покончить с франкизмом и построить социалистическое государство, где человек не эксплуатировал бы человека, а массы жили бы мирно и свободно⁹.

Вместе с установкой на борьбу с франкизмом и на строительство социализма в Испании в высказываниях воспитанников детских домов употребляются устойчивые сочетания «полезный человек» (*hombre útil*) и «дельный человек» (*hombre de provecho*), как правило, в отношении ожидаемого результата их школьного обучения. Обратимся к некоторым примерам.

Ученица первого класса школы при детском доме № 1 в Тишкове Роса Карраско в письме от 26 апреля 1940 г. пишет:

Дорогой товарищ Хосе Диас! В ваш день рождения, когда вы получите это письмо, я желаю вам хорошего самочувствия. Когда мы уедем в Испанию, мы будем много учиться, чтобы стать полезными людьми (*para ser hombres útiles*)¹⁰.

⁹ ANC1-555-T-204. S.P.

¹⁰ ANC1-555-T-204. S.P.

Использование этого выражения ребенком младшего школьного возраста наводит на мысль о том, что перед нами ретрансляция «чужого слова», попавшего в письмо из установочного выступления педагогического персонала детского дома.

Исключение составляет письмо старшеклассницы из киевского детского дома от 24 марта 1940 г. Говоря о полученных ею в СССР знаниях, она использует синонимическое выражение «дельный человек»:

Мы много думаем о возвращении в Испанию. Наша любимая родина нас зовет, и мы думаем вернуться, чтобы возглавить массы. <...> Всем, чему я научилась в Советском Союзе, я буду делиться в Испании с молодежью, <...> и всегда буду говорить всем, чтобы они хранили добрую память о стране, которая сумела сделать нас дельными людьми (*hombres de provecho*) [*Colomina Limonero 2010: 35–36*].

Данное словоупотребление позволяет говорить о том, что, с одной стороны, оба выражения могли восприниматься как синонимы, с другой стороны — установочные высказывания в разных детских домах для испанских детей могли формулироваться немного по-разному, хотя общий смысл сохранялся единым.

Речь идет о понятиях, глубоко укорененных в испанской традиции. В испанском языке есть устойчивое сочетание «быть дельным, толковым человеком» (*ser hombre de provecho*)¹¹. Существительное *provecho* имеет разные значения, в первую очередь ‘польза’, но также ‘выгода’, ‘прок’ [Нарумов 1988]. Характерно, что чаще всего это слово используется как педагогический императив, маркирующий результат воспитания или обучения. Оно появляется еще в средневековых испанских текстах — в контекстах, связанных с формированием личности и характера. Например, в «Книге примеров графа Луканора и Патронио» (1335) описывается следующая ситуация. Когда граф желает выяснить, кто из юношей, воспитывающихся¹² при его дворе, является наиболее подходящим кандидатом для ведения государственных дел, советник графа предлагает некий способ выявить склонности молодых людей, сопровождая свои слова комментарием:

Вы, господин граф Луканор, если хотите узнать, кто из юношей станет человеком наиболее дельным (*hombre de más provecho*), обратите на это внимание [*Juan Manuel 1994: 88*].

В таком смысле идиоматическое выражение устойчиво использовалось на протяжении многих столетий. Например, в историческом романе Бени-

¹¹ Во избежание путаницы далее я буду переводить на русский язык это словосочетание как «дельный человек», однако подчеркну, что возможен и правомерен перевод «полезный человек».

¹² Граф говорит, что юноши *se crían*, т. е. растут, воспитываются, развиваются.

то Переса Гальдоса «Двор Карлоса IV» (1873): «...мне собираются дать образование и сделать из меня дельного человека (*hombre de provecho*)» [Pérez Galdós 1995: 303]. В XX в. у Камило Хосе Селы читаем: «...сыном, которому я тогда мечтал дать образование и сделать из него дельного человека (*hombre de provecho*)» [Cela 1995: 77]).

Целые поколения испанских родителей именно этими словами наставляли своих детей. Ср. запись испанского блогера (2008):

Учись, сынок, чтобы стать дельным человеком. Тем из вас, кто родился, как я, в сороковые или около того, эта фраза, конечно, знакома¹³.

Далее блогер проясняет: такое наставление подразумевало, что ребенок, закончив обучение и став взрослым, будет достойно зарабатывать себе на жизнь и приносить пользу семье, общине, родине.

Выражение *hombre útil* ‘полезный человек’ встречается значительно реже и появляется в испаноязычных текстах гораздо позже. Поиск в авторитетной базе Королевской испанской академии КОРДЕ (Диакронный корпус испанского языка)¹⁴, где собраны данные сотни тысяч испаноязычных текстов разных эпох, дает статистику, показывающую, что оно получает наибольшее распространение в испанском языке в XIX в. Шире всего оно использовалось собственно в Испании, чаще в литературных текстах, хотя также употребительно в исторических, научных, дидактических сочинениях, а также в трудах общественной и религиозной тематики.

Одним из немногих исследований, посвященных истории идей в испаноязычном мире, является работа мексиканского исследователя Хосе Энрике Коваррубаса, в которой представлен сравнительный анализ понятия «полезный человек» (*hombre útil*) в европейском и мексиканском утилитаристском неомеркантилизме XIX в. [Covarrubias 2005]. В связи с этим понятием на материале трудов Монтескье, Дэвида Юма, Лодовико Антонио Муратори, Фердинандо Галиани и Кристиана Вольфа автор подробно анализирует европейскую историю понятий «пользы» и «общественной пользы», восходящих к понятию «общей пользы» Цицерона. Обращаясь к испанскому материалу, Коваррубас, в частности, рассматривает идею пользы в педагогической системе представителя испанского Просвещения Гаспара Мельчора де Ховельяноса (1744–1811).

Интересно, что Ховельянос, прекрасный знаток европейской философской традиции, в своих трактатах, например в «Письме об общем образовании», оперирует испанским понятием *provecho* ‘польза’. То же слово встречается в рассуждениях об «общей пользе» в сочинении «Уроки политического права» (1843–1844) Антонио Алькала Галиано, испанского

¹³ <http://eldesvandelabuelito.blogspot.ru/2008/06/un-dibujante-catlico.html>.

¹⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <<http://www.rae.es>>.

либерального политика. Статистика банка данных КОРДЕ фиксирует пик употребимости именно этого лексического варианта в значении ‘общая польза’ на испанском языке в 1843 г.

Таким образом, использование понятия «полезного человека» в двух вариантах (*hombre de provecho / hombre útil*) в XIX в. вписывается в традицию испанской либеральной мысли. Можно предположить, что первый, более ранний вариант подвергся переобозначению у мыслителей испанского Просвещения, наполнившись новым смыслом благодаря тесному взаимодействию с ключевым для философии европейского Просвещения понятием «общей», или «общественной пользы».

Примеров употребления идиомы «полезный человек» (*hombre útil*) в испанских текстах XX в. немного. Мы можем, в частности, обнаружить его в программе испанской Синдикалистской партии 1934 г.:

Синдикалистская партия будет считать всех испанцев равными и будет требовать, таким образом, чтобы каждый полезный человек выполнял свою функцию, выполнял бы какую-то практическую и нужную работу (Programa del Partido Sindicalista. Párrafo 6. Цит. по: [Artola 1974]).

В данном случае устойчивое словосочетание *hombre útil* используется в значении ‘трудоспособный человек’¹⁵.

Любопытен и более поздний пример словоупотребления, зафиксированного в религиозном трактате священника Луиса Рибера «Требник “Регина” для молодежи» (1964; «Регина» — по названию издательства, опубликовавшего книгу). Адресатами этого дидактического сочинения были молодые люди, стремящиеся стать участниками движения «Католическое действие». Рассказывая об облагораживающей силе труда, автор трактата объясняет своему юному читателю, зачем ему нужно хорошо работать:

Если ты постоянен в своем труде, ты станешь полезным человеком для общества [Ribera 1964: 690].

Как можно видеть, общей для текстов разного содержания и, скажем, идеологически противоположных — партийной программы синдикалистов и религиозного сочинения — является идея пользы, которую человек, овладевший некоторыми знаниями или обладающий определенными качествами, приносит стране и обществу своим трудом: именно труд и работа являются условием и залогом его социальной, общественной полезности.

¹⁵ Антонимом словосочетанию *hombre útil* в данном употреблении является субстантивированное прилагательное *inútil* ‘инвалид’, дословно «бесполезный». Как указывает Мария Гальмарини, автор неопубликованного диссертационного исследования «The “right to be helped”: Welfare policies and notions of rights at the margins of Soviet society, 1917–1950» [Galmarini 2012], понятие «польза» часто фигурирует в подобном контексте в советских текстах о социальном обеспечении инвалидов и их нетрудоспособности или ограниченной трудоспособности.

Логично искать источник понятия «полезный человек», которое используют испанские дети, росшие в Советском Союзе, в политико-воспитательной работе, которая велась в детских домах испанским педагогическим персоналом. Часть испанских учителей прибыла из Испании вместе с экспедициями детей, остальные были приняты на работу после 1939 г., после поражения республиканцев в гражданской войне, когда в СССР оказались сотни испанских политических эмигрантов, в большинстве своем республиканцев. Уместно вспомнить, что в годы республики в Испании была предпринята масштабная реформа школьного образования, и одним из основных источников идей для этого педагогического эксперимента стал Свободный институт образования, основанный в 1876 г. и просуществовавший до 1936 г.

Свободный институт образования был основан последователями немецкого философа Карла Кристиана Фридриха Краузе, жившего на рубеже XVIII–XIX вв. Идеи Краузе, создателя концепции панентеизма, оказали мощное влияние на испаноязычный мир. В XIX в. в Испании и Латинской Америке, прежде всего в Аргентине, возникло такое общественное течение, как крауизм, ставшее в то время идейным ядром либерального обновления общества, и в частности сферы образования. Крауизм отстаивал свободу преподавания и терпимость, которые противопоставлялись догматизму традиционного католического образования.

Представляется существенным, что Франсиско Хинер де лос Риос — один из основателей Свободного института образования, из стен которого вышла целая плеяда республиканских ученых и деятелей культуры, поэтов, художников, — определял цели нового учреждения следующим образом:

Институт не намеревается ограничиться образовательным процессом, он будет способствовать формированию полезных людей, которые будут служить человечеству и родине (*cooperar a que se formen hombres útiles al servicio de la humanidad y de la patria*) (Цит по: [Díaz-Plaja 1983: 375–376]).

Характерно, что контексты употребления понятия «полезный человек» у Хинера и в письмах испанских воспитанников детских домов в СССР практически совпадают.

Интересно, что и сам Краузе, идеи которого усвоили испанские либеральные педагоги, также оперировал понятием «общественной пользы» как цели воспитательного процесса. В автобиографической заметке, написанной для Массонской энциклопедии Леннинга, он вспоминал о полученном в отеческом доме воспитании:

...Отец воспитал меня как человека благочестивого (...) и образованного, но не просто знающего. Он искренне старался воспитать своего единственного сына так, чтобы тот стал полезным человеческому обществу согражданином (*un conciudadano útil de la sociedad humana*) [Ureña 1991: 22].

Идеологема «полезный человек» также являлась частью идеологического дискурса руководителей республиканской эмиграции в СССР. Долорес Ибаррури использует ее в своих выступлениях перед испанскими детьми. Например, в 1940 г. она говорит, обращаясь к воспитанникам харьковского детского дома:

Вы должны много заниматься и учиться у советских товарищей, чтобы в будущем стать полезными демократической Испании (*ser útiles a una España democrática*) [Colomina Limonero 2010: 35].

Судя по всему, того же рода установка легла в основу воспитания испанских детей, которые своим будущим трудом должны были ответить на заботу испанской компартии, вместе с Советским Союзом давшей им возможность получить образование и профессию, чтобы стать полезными своему отечеству гражданами, трудиться на благо новой социалистической или демократической Испании. О том, что именно такое представление о своей будущей миссии испанские дети усваивали на занятиях и беседах, свидетельствует коллективное письмо детского совета детдома № 1 (1939):

Окруженные отеческой сталинской заботой, в счастливой советской стране, мы, свободные от тревог, учимся, растем, крепнем и закаляемся. Наша вторая родина нам все дает, а мы будем стараться ответить на эту щедрость: встанем в первых рядах грядущей борьбы с фашистской шайкой и установим социализм на нашей родине¹⁶.

14 октября 1941 г., находясь в эвакуации в деревне Базель Саратовской области, воспитанница детского дома № 5 Лули Сиснерос от имени своих товарищей пишет письмо Долорес Ибаррури. Обращаясь к Пассионарии с жалобой на отсутствие учителей в эвакуации, девочка выражает общую обеспокоенность по поводу того, что школьные занятия не начинаются. При этом вся ее аргументация ложится в канву усвоенных педагогических идеологем и выстраивается вокруг понятия «пользы»:

Мы хотим (раз уж мы не можем учиться) помогать войне (т. е. фронту. — *Н. Х.*) любым способом, некоторые могут пойти на фабрики, другие — рыть траншеи в окрестностях Москвы. В общем, мы не хотим жить бесполезно (*inútilmente*). Я думаю, что сейчас мы, испанцы, не желаем терять ни одной минуты учебы, для того чтобы, вернувшись в нашу Испанию, суметь изгнать классового врага, а затем восстановить родину¹⁷.

¹⁶ ANC1-555-T-204. S.P.

¹⁷ ANC1-555-T-204. P. 31.

Это высказывание представляет особый интерес, так как обнаруживает идеологическую гибридность. Стремление приносить пользу и работать для фронта употребляется в связи с началом Великой Отечественной войны и отражает уже установки советского школьного воспитания военного периода. Советский педагогический и идеологический контекст предвоенного и военного времени представляет немалый интерес в связи с анализируемым нами понятием и нуждается в более детальной реконструкции.

3

В современном русском языке, в отличие от испанского, отсутствует устойчивое сочетание, соответствующее утилитаристскому европейскому концепту «полезный человек», где дополнение, уточняющее его смысл, не требуется¹⁸. Русское словосочетание «полезный человек» представляет собой свободную атрибутивную конструкцию, смысл которой зависит от контекста. В XX в. на смену ему приходят устойчивые сочетания «быть полезным» или «приносить пользу» (государству, стране, родине). Выше было отмечено, что понятие «общей пользы» — европейское по своему происхождению, актуализировавшееся в философских трудах эпохи Просвещения. Оно едино и для испанской, и для русской (советской) традиции. Тем не менее в русскоязычной культуре понятие «быть полезным» (стране/родине) не только имеет специфику, отличную от испанской, но и демонстрирует конкретные сдвиги значения в разные периоды.

Если обратиться к текстам XX в., в дореволюционной России идеологема «польза родине» использовалась, в частности, для обозначения моральной сверхзадачи индивидуума, которая была стимулом для честного и сознательного выполнения своих гражданских или профессиональных обязанностей и могла конкретизироваться в военной или государственной службе. Ср., например, обращение Николая II к юнкерам 1911 г.:

Служите изо всех сил, с полным сознанием, что, если каждый из вас честно и сознательно будет исполнять свое дело, какую бы маленькую должность ни занимал, он этим принесет большую пользу родине и своей части [Николай II 1917].

В подобном смысле идеологема будет использоваться и далее в советской культуре.

В области советского школьного воспитания «польза» как педагогическая идеологема приобретает конкретное наполнение к началу Великой

¹⁸ В текстах XVIII–XIX вв. идиома «полезный человек» в смысле, близком к испанскому, как можно установить с помощью Национального корпуса русского языка, была употребительна, очевидно, под европейским влиянием, прежде всего трудов французских просветителей. Однако в современном русском языке она означает человека, обладающего нужными связями и могущего оказать протекцию или какую-то услугу. В советской педагогической литературе интересующего нас периода это устойчивое сочетание не зафиксировано.

Отечественной войны. Интересно, что среди основных установок советского школьного образования в 1938–1940 гг. и в первой половине 1941 г. «польза» как понятие, задающее результат процесса образования, не встречается, хотя часто используется другое — «необходимость/нужность для страны». В январе 1940 г. в «Учительской газете» читаем:

Советскому государству нужны хорошо подготовленные школьники [За работу 1940].

«Пионерская правда», которую, в частности, должны были читать испанские дети, вела специально оформленную рубрику «Прочти. Подумай. Сохрани», в которой появляется немало обращений к школьникам, принадлежащих известным писателям или членам правительства. Высказывание И. В. Сталина, напечатанное в марте 1940 г., гласило:

Надеюсь, что вы станете энергичными, знающими работниками, какие необходимы нашей стране [Сталин 1940: 3].

Интересно, что понятие «приносить пользу» в советском словоупотреблении также было связано со сферой общественного как общезначимого, иногда противопоставляющейся сфере интимного и личного. Так, Вальтраут Шелике, дочь немецкого политического эмигранта, которая жила в Москве и училась в советской школе, в дневнике на русском языке передает свой разговор со школьной подругой:

Главное в жизни — это работа, принести пользу родине, а уже потом идут личные дела — любовь [Schällike 1940].

В 1941 г. понятие «пользы» начинает все чаще появляться в газетных публикациях. В апреле 1941 г. «Пионерская правда» печатает письма, присланные в ответ на вопрос Нины Копленко «Как нужно жить, чтобы быть полезным для родины». Школьник Вадим Власов завершает свое письмо призывом:

Нужно каждому стараться, чтобы эти силы и энергия были направлены на что-нибудь полезное, чтобы они не пропали даром. Мы очень много пользы можем принести родине, если захотим [Как нужно жить 1941].

Речь тут идет прежде всего о трудовой и практической деятельности — причем еще в школьные годы.

Опубликованный тут же ответ школьников из Бийска представляет несколько точек зрения на эту проблему:

Этот вопрос занял всех наших ребят. Начались споры, стали вспоминать: что же мы сами делаем для родины?

Сперва в письме упоминаются сугубо прикладные занятия — сбор металлолома или обустройство палисадника, но все же, наконец, дети вспомнили и о хорошей учебе — «самом главном» своем деле.

После начала Великой Отечественной войны, когда объявляется всеобщая трудовая мобилизация, идеологема «польза для родины» начинает использоваться в педагогической и детской периодике все чаще. Если до войны под «пользой для родины» может подразумеваться самый широкий спектр дел и занятий, то после начала войны за этим устойчивым сочетанием закрепляется значение «участие в труде». 28 июня 1941 г. в «Пионерской правде» было напечатано письмо старшеклассниц московских школ, которые пишут:

Считаем себя мобилизованными для замены ушедших и просим послать нас на любую работу, где мы сможем приносить пользу [Мы работаем на фабрике 1941: 3].

В этом примере понятие «пользы» появляется в контексте трудовой деятельности, и такое словоупотребление можно признать наиболее распространенным. Однако есть и другие варианты, также обусловленные военным временем. В частности, «пользу» (очевидно, в будущем) может приносить военная подготовка школьника:

...Чтобы каждый из вас мог еще больше быть полезным родине, ежедневно уделять час-два овладению военными навыками [Все знания и силы 1941].

Новым воспитательным лозунгом в это время становится «помощь родине» или «помощь фронту», которую школьники могут оказывать своим трудом в сельских хозяйствах и на фабриках или какими-либо практическими делами, например, сбором осколков от снарядов и металлического лома, сбором ягод шиповника, вязанием рукавиц для бойцов или правильной подготовкой посадочного материала.

Как уже было сказано выше, любая деятельность школьников теперь должна была приносить пользу. В 1942 г. ЦК ВЛКСМ принимает ряд постановлений о пионерской организации, о которых пишет «Пионерская правда»:

Пионеры — большая сила. Они первые помощники и правлению колхоза, и семье бойца, и детдому, и инвалиду отечественной войны. Быть пионером — значит принимать участие в улучшении окружающей жизни. Всюду можно найти применение своим юным рукам, приносить пользу родине [О твоём отряде 1942].

Наконец, понятие «пользы» находит официальное закрепление в Правилах для учащихся 1943 г. К. А. Маслинский, посвятивший специальное

исследование истории Правил для учащихся в советской школе, отмечает, что особенностью этого нормативного документа является прямое обращение государства к школьнику [Маслинский 2015]¹⁹, что существенно для понимания зафиксированных в его тексте воспитательных установок. Идеологема «польза для родины» фигурирует как одна из самых важных обязанностей учащихся уже в самом первом пункте правил:

Упорно и настойчиво овладевать знаниями для того, чтобы стать образцовым и культурным гражданином и принести как можно больше пользы Советской Родине [Правила 1943].

Очевидно, что эта образовательная идеологема перекликается с установкой на формирование «знающего работника, нужного стране», но акценты оказываются расставлены иначе: теперь место достаточно пассивного работника, в котором страна «нуждалась» (как в высказывании И. В. Сталина), занял гораздо более активный «знающий и культурный гражданин» — человек, приносящий много «пользы» родине. Из контекста употребления понятия «польза» в детской и педагогической прессе 1941–1943 гг. становится ясно, что под «пользой» в «Правилах» подразумевается труд или любая другая практическая деятельность. По сути, здесь вновь актуализируется традиционное в европейской культуре понятие «общественной пользы», с тем идеологическим уточнением, что пользу теперь требуется приносить не просто обществу, а «Советской Родине». И это не случайно: в годы войны всеобщая трудовая мобилизация распространялась и на детей, так как страна нуждалась в дополнительных трудовых ресурсах, и необходимо было найти определенную формулу, предназначенную для оправдания использования детского труда в условиях войны. Таким понятием, которое вместило необходимое содержание, продиктованное военным временем, и стала «польза родине», подразумевавшая участие в сельскохозяйственных работах, в социальной и культурной работе, в труде на производстве, в строительстве оборонительных сооружений или в работе по самообслуживанию воспитательных учреждений.

В этом смысле характерно цитировавшееся выше письмо испанской ученицы Лули Сиснерос. Оно демонстрирует трансформировавшееся с началом войны советское понимание «пользы»: девочка формулирует желание своих соучеников копать траншеи на подступах к Москве или работать на фабрике, чтобы приносить пользу, однако сохраняет уже знакомые нам по довоенным испанским письмам императивы возвращения в Испанию и будущего преображения своей страны.

Более поздние высказывания испанских идеологов и советских педагогов свидетельствуют о том, что детям и далее давали все те же моральные

¹⁹ Благодарю К. А. Маслинского за возможность ознакомиться с его работой в рукописи.

и дидактические установки, хотя из наставлений испанским школьникам на некоторое время уходит тезис о строительстве социализма в Испании — он заменяется более насущной задачей освобождения испанского народа.

В 1943 г., уже став председателем испанской компартии, Долорес Ибаррури сформулировала конкретную — и утилитаристскую — задачу обучения испанских детей и подростков в СССР. Пожалуй, в ее словах содержится откорректированная временем и политическими обстоятельствами идеологическая константа программы образования испанцев, которая и далее будет определять развитие этого проекта:

Ваши родители, братья, друзья, весь наш народ ждет, что вы станете прекрасными студентами, специализированными рабочими, верными детьми рабочего класса, достаточно подготовленными для борьбы и победы над врагом на всех направлениях: в технической сфере, политической борьбе, вооруженном противостоянии за освобождение нашего народа [Alted Vigil et al 1999: 315].

Документы показывают, что идеологема «полезный человек» закрепились в воспитательной системе детских домов для испанских детей на долгие годы. В марте 1950 г. педагог Г. А. Катрухина, выступившая с обращением к воспитаннику детского дома № 1 Мануэлю на совместном педагогическом совете детского дома для испанских детей и сталинской средней школы № 1, весьма органично воспроизводит на русском языке представление о высокой общественной миссии, к которой должны готовиться испанские дети. Из ее речи очевидно, что это представление исходит от политического руководства испанской эмиграции в СССР:

...Представители испанской компартии в Москве очень заинтересованы в том, чтобы как можно больше испанской молодежи получили высшее образование, ибо для будущей Испании нужны хорошие специалисты. <...> ...Надо учиться не для себя, а для своей родины, которая находится сейчас под пятой фашизма, надо получить высшее образование, чтобы быть полезным для своей родины²⁰.

Таким образом, идеологема «полезный человек», которая как таковая отсутствует в системе понятий советского образования, актуализируется в свете советской установки на принесение «пользы» родине и становится результатом взаимодействия двух концептуальных полей, испанского и советского. Сравнительный опыт изучения системы понятий воспитательно-образовательного процесса, объектом которого стали испанские дети, эвакуированные в Советский Союз во время и после гражданской войны в Испании, позволяет выявить ее специфический, гибридный характер.

²⁰ ГАРФ. Ф. А-307. Оп. 1. Д. 101. Л. 18.

Литература / References

1. Все знания и силы — на защиту родины! // Пионерская правда. 1941. № 89 (2601). 29 июля. С. 1.
Vse znaniia i sily — na zashchitu rodiny! (1941) [All Knowledge and Forces to Protect the Homeland]. *Pionerskaia pravda* [Pioneer's truth], no. 89(2601), 1. (In Russian).
2. Елпатьевский А. В. (2002). Испанская эмиграция в СССР. М.; Тверь: ГЕРС, 2002. 290 с.
Elpat'evskii, A. V. (2002). *Ispanskaia emigratsiia v SSSR* [Spanish emigration in the USSR]. Moscow: GERS. 290 p. (In Russian).
3. За работу, товарищи учителя! // Учительская газета. 1940. № 7 (2664). 13 янв. С. 1.
Za rabotu, tovarishchi uchitel'ia! (1940). [Do work, comrade teachers!]. *Uchitel'skaia gazeta* [Teacher's newspaper], no. 7(2664), 1. (In Russian).
4. Как нужно жить, чтобы быть полезным для родины // Пионерская правда. 1941. № 48 (2560). 22 апр. С. 3.
Kak nuzhno zhit', chtoby byt' poleznym dlia rodiny (1941) [How to live to be useful for the Motherland]. *Pionerskaia pravda* [Pioneer's truth], no. 48(2560), 3. (In Russian).
5. Маслинский К. А. (2015). Правила поведения в советской школе // Вестник православного Свято-Тихоновского университета. Сер. «Педагогика». 2015 (в печати).
Maslinskii, K. A. (2015). *Pravila povedeniia v sovetskoii shkole* [Rules of Behavior in Soviet school]. *Vestnik pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo universiteta. Ser. "Pedagogika"* [Bulletin of the Orthodox St. Tikhon's University, ser. "Pedagogy"], forthcoming. (In Russian).
6. Мы работаем на фабрике // Пионерская правда. 1941. № 76 (2588). 28 июня. С. 3.
My rabotaem na fabrike (1941). [We work in the factory]. *Pionerskaia pravda* [Pioneer's truth], no. 76(2588), 3. (In Russian).
7. [Нарумов 1988]. Испанско-русский словарь / Под ред. Б. П. Нарумова. М.: Русский язык, 1988. 830 с.
Narumov, B. P. (ed.) (1988). *Ispansko-russkii slovar'* [Spanish-Russian dictionary]. Moscow: Russkii iazyk. 830 p. (In Russian).
8. Николай II. (1911). Всемилюющее обращение Его Величества Государя Императора к юнкерам // Новое время. 1911. № 12717. 8/21 авг. С. 1.
Nikolai II. (1911). *Vsemilostivoe obrashchenie Ego Velichestva Gosudaria Imperatora k iunkeram* [The Gracious address of His Majesty the Emperor to the cadets]. *Novoe vremia* [New Times], no. 12717, 1. (In Russian).
9. Правила для учащихся // Пионерская правда. 1943. № 36 (2757). 7 сент. С. 3.
Pravila dlya uchashchikhsia [Rules for pupils]. *Pionerskaia pravda* [Pioneer's truth], no. 36(2757), 3. (In Russian).
10. О твоём отряде, о твоей дружине // Пионерская правда. 1942. № 54 (2708). 30 сент. С. 2.
O tvoem otriade, o tvoei družhine (1942). [About your group, about your team]. *Pionerskaia pravda* [Pioneer's truth], no. 54(2708), 2. (In Russian).
11. Сталин И. В. (1940). «Надеюсь, что вы станете энергичными, знающими работниками, какие необходимы нашей стране» // Пионерская правда. 1940. № 34 (2381). 10 марта. С. 3.
Stalin, I. V. (1940). «Nadeius', chto vy stanete energichnymi, znaiushchimi rabotnikami, kakie neobkhodimy nashei strane» [I hope you will become vigorous, educated workers, which are needed for our country]. *Pionerskaia pravda* [Pioneer's truth], no. 34(2381), 3. (In Russian).

12. Alted Vigil, A., Nicolás Marín, E., González Martell, R. (1999). *Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De la evacuación al retorno (1937–1999)* [The children of the Spanish War in the Soviet Union. From evacuation to return (1937–1999)]. Madrid: Fundación Largo Caballero. 362 p. (In Spanish).
13. Artola, M. (1974). *Partidos y programas políticos 1808–1936*, 2 [Parties and political programs, 1808–1936, 2]. Madrid: Aguilar. 531 p. (In Spanish).
14. Cela, C. J. (1995). *La familia de Pascual Duarte* [The family of Pascual Duarte]. Barcelona: RBA. 169 p. (In Spanish).
15. Colomina Limonero, I. (2010). *Dos patrias, tres mil destinos* [Two homelands, three thousand destinies]. Madrid: Ediciones Cinca. 280 p. (In Spanish).
16. Covarrubias, J. E. (2005). *En busca del hombre útil. Un estudio comparativo del utilitarismo neomercantilista en México y Europa, 1748–1833* [In search of the ‘Useful Person’. A comparative study of neomercantilistic utilitarianism in Mexico and Europe, 1748–1833]. México D.F.: Univ. Nacional Autónoma de México. 472 p. (In Spanish).
17. Díaz-Plaja, F. (1983). *Historia de España en sus documentos. Siglo XIX* [Spanish history through its documents. 19th Century]. Madrid: Cátedra. 495 p. (In Spanish).
18. Galmarini, M. (2012). *The “right to be helped”: Welfare policies and notions of rights at the margins of Soviet society, 1917–1950*. Dissertation. Urbana: Univ. of Illinois (manuscript).
19. Juan Manuel (1994). *El Conde Lucanor o libro de Patronio* [Tales of Count Lucanor]. Barcelona: Edicomunicación. 150 p. (In Spanish).
20. Pérez Galdós, B. (1995). *Trafalgar: La Corte de Carlos IV* [Trafalgar. The Court of Carlos IV]. Barcelona: Crítica. 559 p. (In Spanish).
21. del Pozo Andrés, M. (2008). La infancia en peligro: las colonias escolares en Valencia (1936—1939) [Childhood in danger: School colonies in Valencia (1936–1939)]. In *València, capital cultural de la República (1936—1937)* [Valencia, cultural capital of the Republic (1936–1937)], 507–541. (In Spanish).
22. Ribera, L. (1964). *Misalito Regina, para jóvenes* [Brief Missal Regina for Young Persons]. Barcelona: Regina. 766 p. (In Spanish).
23. Schälike, W. (1940). Шестой класс (Отрочество. 1940): [Электрон. ресурс:] http://www.eurodiva.de/wschaelike/ru/nv2_6klass0.html.
24. Schälike, W. (1940). *Шестой класс. (Отрочество. 1940)* [The Sixth Class. (Adolescence, 1940)], http://www.eurodiva.de/wschaelike/ru/nv2_6klass0.html. (In Russian).
24. Ureña, E. M. (1991). *Krause, educador de la humanidad. Una biografía* [Krause, educator of humanity. A biography]. Madrid: Unión Editorial. 506 p. (In Spanish).

Сокращения

ANC — Arxiu Nacional de Catalunya (Национальный архив Каталонии), Sant Cugat del Vallès.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва.

*THE EDUCATION SYSTEM IN BOARDING SCHOOLS FOR
SPANISH CHILDREN IN THE SOVIET UNION.
TOWARDS A HISTORY OF PEDAGOGICAL IDEOLOGEMES*

Kharitonova, Natalia Yu.

*PhD, Senior Lecturer, National Research University "Higher School of Economics"
Russia, Moscow, 105066, 21/4 Staraya Basmannaya str.*

Tel.: +7 (495) 772-95-90

E-mail: nataliakaritonova@hse.ru

Abstract. This article examines some pedagogical ideologemes that defined the education and training of Spanish children evacuated to the Soviet Union during the Spanish civil war (1937—1939), through the use of conceptual history. My main intention is to analyze some concepts from discourse of Spanish ideologists, Spanish children themselves and their Soviet educators. The initial section details the semantics of the Spanish concept of ‘useful person’ (*hombre de provecho / hombre útil*) which is frequently used by the Spanish alumni. It cannot be properly understood without some knowledge of the Soviet ideological context, so the second half of the article focuses on the Soviet idea of ‘being useful to the Motherland’. The study reveals **hybrid** nature of ‘moral’ and ideological education of Spanish children in the Soviet Union.

Keywords: Soviet school, Spanish children, concepts, conceptual history.

KHARITONOVA, N. YU. (2015). THE EDUCATION SYSTEM IN BOARDING SCHOOLS FOR SPANISH CHILDREN IN THE SOVIET UNION. TOWARDS A HISTORY OF PEDAGOGICAL IDEOLOGEMES. SHAGI / STEPS, 1, 74–93

Когнитивная наука (или когнитивистика, когнитивные исследования) — широчайшая область эмпирических исследований и прикладных разработок, которая с момента своего возникновения в 1950-е годы превратилась из локальной дисциплины в доминирующее научное направление, в значительной степени заменившее собой целый ряд других отраслей и школ психологии, лингвистики, нейронаук. Вобрав в себя самые разные исследовательские проблемы (и программы) изучения человеческого познания, когнитивистика привнесла в их анализ строгие экспериментальные методы и проверяемые теоретические модели, а кроме того — правдоподобные компьютерные имитации человеческого восприятия, памяти, мышления, поведения и т. д. Это сделало ее одной из самых динамично развивающихся сфер мировой науки.

В этом разделе журнала «Шаги/Steps» публикуются исследования когнитивной тематики — теоретические и эмпирические работы, посвященные прояснению тех или иных сторон человеческого познания и направленные на изучение того, как разные формы знания применяются для решения самых разных (перцептивных, мыслительных, языковых и т. п.) задач. Термин «знание» применяется в области когнитивных исследований в самом широком смысле этого слова: от информации о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а «е» — наиболее часто встречающаяся буква английского алфавита, до знания о том, как ходят шахматные фигуры или как грамотно составлять деловые письма; от того, как правильно чистить картошку или кататься на велосипеде, до того, как прокладывать маршрут по карте или строить фразы на родном языке, и т. д. При этом исследователей интересует не только применение (в узком смысле слова) знаний, но и их приобретение в ходе стихийного или специально построенного обучения, хранение в памяти, преобразование в случае необходимости и многое другое. Отдельным предметом интереса выступают ошибки, которые совершают люди в ходе применения знаний.

В. Ф. Спиридонов

Кравченко Юнна Евгеньевна

канд. психол. наук, доцент,

Институт психологии им. Л. С. Выготского,

Российский государственный гуманитарный университет

Россия, Москва, ГСП-3, 125993, Миусская пл., д. 6

Тел.: +7 (499) 251-64-16

E-mail: asunaro@mail.ru

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИЧИНАХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация. В статье рассматриваются этапы становления представлений ребенка о причинах эмоций других людей, приведены результаты экспериментов, фиксирующих специфику и ошибки детей при объяснении эмоционального поведения окружающих. В итоге описаны четыре последовательных этапа, на каждом из которых дети специфическим образом объясняют появление эмоций у окружающих.

Ключевые слова: понимание эмоций, метакогнитивный опыт, задача на выявление ложных убеждений, модели психического.

Развитие способности ребенка понимать эмоции других людей начинается с самых первых дней его жизни. Ее самой первой формой выступает эмоциональное заражение, в результате которого эмоция передается от одного человека другому (от матери младенцу) в неизменном виде: что чувствует мать, то переживает и ребенок. Существует несколько психологических моделей, по-разному объясняющих механизм эмоционального заражения, однако ни одна из них не включает осознанного понимания причин переживания, несмотря на то что эмоциональное заражение возможно не только в младенчестве, но и в старших возрастах. В этом смысле эмоциональное заражение нельзя назвать пониманием эмоций в обычном смысле слова, предполагающем осознание переживаемого. Скорее, здесь понимание выражается в том, что заражаемый повторяет и прочувствует на себе эмоциональное состояние источника эмоции.

На смену эмоциональному заражению приходит эмпатическое понимание. Как подчеркивает Д. Бишоф-Кёлер [Bischof-Koehler 2012], эмпатия отличается от эмоционального заражения тем, что в ней часть переживания направлена на того человека, которому сочувствуют. Например, при заражении весельем мы испытываем только веселье, а при эмпатическом переживании мы не только сами веселимся, но еще и испытываем радость из-за того, что другому человеку хорошо и весело.

Эмпатическое понимание эмоций уже опирается на определенные имплицитные знания ребенка об источниках эмоционального переживания. На первом этапе развития эмпатии такое знание сводится к убеждению, что определенные ситуации автоматически вызывают определенные эмоции, а сама эмоция является функцией ситуации, прямым следствием ее воздействия на человека [Wellman 1995]. Так, день рождения всегда и у всех вызывает радость, большие собаки — страх, коробочка с сюрпризом — удивление, точно так же как удар по голове всегда и всем причиняет боль. Эмоциональные реакции для ребенка в этот период как бы объективны. Люди радуются, потому что у них день рождения, а не потому что они любят дни рождения. Коробочка с сюрпризом всегда вызывает удивление, потому что это коробочка с сюрпризом, а не потому что человек не ждет, что ему в лицо выпрыгнет клоун. В таком представлении о причинах эмоций дети не учитывают личные склонности, пристрастия и цели, которые заставляют разных людей переживать различные эмоции в ответ на одни и те же ситуации и которые ответственны за широкую палитру наших эмоций в адрес одних и тех же ситуаций и объектов.

Продолжительность этого этапа у детей индивидуальна, но примерно к середине второго года у некоторых из них уже появляются первые предпосылки к эмоциональной децентрации¹. Так, некоторые дети в 2,5 года демонстрируют понимание того, что другой человек считает вкусным то, что самому ребенку не так уж и нравится [Repacholi, Gopnik 1997], или что другим людям интересно не то, что интересно самому ребенку [Tomasello, Haberl 2003]. Иными словами, дети начинают понимать, что эмоции вызывает не ситуация, а ее соотношение с особенностями человека. Однако речь идет лишь о возможности децентрации, о ее начальных этапах, проявляющихся в понимании ребенком того, что эмоциональные реакции других людей могут отличаться от его собственных. По мнению исследователей, много экспериментирующих с задачами на выявление ложных убеждений, понимание того, как именно представление о ситуации у другого человека отличается от его собственного, и умение учитывать эту разницу при объяснении его поведения появляется у ребенка после четырех лет [Wimmer, Weichbold 1994; Gopnik 1993].

¹ Эгоцентрический ребенок уверен, что все люди в аналогичной ситуации испытывают такие же эмоции, как и он сам. При децентрации ребенок начинает понимать, что другие люди в той же самой ситуации могут переживать эмоции, отличающиеся от его собственных.

Вследствие упрощенного представления о связи между ситуацией и эмоцией для ребенка в возрасте двух-трех лет простая идентификация эмоций другого человека представляет отдельную и сложную задачу. Об этом свидетельствуют данные следующего эксперимента. Исследователи наблюдали дошкольников в детском саду во время свободной игры. Если кто-то из детей в какой-то момент демонстрировал некоторую эмоцию, то исследователь подходил к одному из детей, наблюдавших эту ситуацию, но не самому переживающему, и расспрашивал о том, что случилось. В этих расспросах исследователя интересовали ответы на два вопроса: 1) мнение ребенка о том, что чувствует его сверстник, выразивший эмоцию, и 2) чем, по мнению ребенка-наблюдателя, это вызвано. Дети в возрасте трех лет давали по этим двум параметрам оценки происходящего. В $\frac{2}{3}$ случаев оценки детей соответствовали оценкам взрослых. Пятилетние дети давали оценки поведения другого ребенка, которые соответствовали наблюдениям взрослого в $\frac{3}{4}$ случаев [Fabes at al. 1991].

Причина относительно невысоких результатов трехлеток в том, что понимание эмоций не сводится к умению распознать эмоцию другого человека по внешним признакам или к знанию того, к каким эмоциям располагает ситуация. Понимание эмоций подразумевает знание о том, как ситуация соотносится с личными особенностями переживающего — о сложившихся у него приоритетах, о его целях и ценностях, о его общем отношении к таким ситуациям, о том, как этот человек обычно реагирует эмоционально, к каким действиям он побуждает окружающих, выражая определенную эмоцию, и т. п. Обо всех этих представлениях переживающий прямо не сообщает, они скрыты за его эмоциональным поведением. И если ребенок не умеет на основании особенностей ситуации и эмоциональных реакций переживающего восстанавливать эту внутреннюю картину, служащую источником переживания, то не может и в полной мере понять эмоции другого человека.

В два-три года у детей уже есть некоторое представление о ситуациях как об источниках эмоций и о том, что один и тот же источник может вызывать разные эмоции. Вместе с тем у детей второй половины второго года жизни также можно обнаружить простейшие представления о «внутриличностных» причинах, объясняющих, почему другой человек или анимированный персонаж (игрушка, персонаж мультфильма, домашнее животное) испытывает ту эмоцию, которую приписывает ему ребенок. Г. Веллман и его коллеги [Wellman, Woolley 1990; Wellman, Banerjee 1991] показали экспериментально, что дети в конце второго года жизни (от двух лет и семи месяцев до трех лет и одного месяца) при объяснении эмоционального поведения в специальном тесте и при спонтанном описании эмоций чаще апеллируют к желаниям переживающего (другого ребенка или анимированного персонажа).

В возрасте трех-четырёх лет происходит изменение. Ближе к четырем годам при объяснении причин эмоционального поведения и предсказании

эмоциональных реакций других на ситуацию дети чаще апеллируют не к желаниям, а к ожиданиям и планам [Wellman Woolley 1990; Wellman, Banerjee 1991; Bartsch, Wellman 1995].

В экспериментах, выявивших эти различия в объяснении причин переживаний, детям предлагали небольшие истории, в которых персонаж желал нечто получить, мог объяснить, зачем это ему нужно, и знал, как и где это получить. Пример истории: «Это Сэм. Он хочет найти своего кролика. Кролик может быть сейчас в сарае или в парке. Итак, он ищет своего кролика. Смотри, он ищет кролика в парке...» [Wellman, Woolley 1990: 254]. Конец истории может быть разным. Каждая история имела три варианта:

1) персонаж делает то, что нужно, чтобы получить желаемое, и получает то, что хотел (Сэм нашел кролика в парке);

2) персонаж делает то, что нужно, чтобы получить желаемое, но ничего не получает (Сэм не нашел кролика в парке);

3) персонаж делает то, что нужно, чтобы получить желаемое, но получает не то, что хотел, а некоторый вполне подходящий аналог (в парке Сэм нашел собаку).

Все истории строились по одному сюжету, но обстоятельства и персонажи в разных историях были разными. Каждому ребенку предъявлялись шесть историй в течение трех дней. После предъявления истории детей в одном случае спрашивали, как поведет себя персонаж: продолжит поиски в другом месте или прекратит поиски. Если в третьем варианте ситуации (когда герой истории находит не сам искомый объект, а его подходящий аналог) ребенок говорил, что персонаж продолжит поиски, то исследователи делали вывод, что ребенок рассматривает действия персонажа как основанные на желании обладать именно конкретным объектом (если персонаж хочет найти кролика, то собака его не устроит). Если в той же ситуации ребенок говорил, что персонаж закончит поиски, то исследователи приходили к выводу, что ребенок рассматривает действия персонажа утилитарно, исходя из некоторых ожиданий или планов по поводу объекта поисков. Например, если в планы ребенка входит желание поиграть с питомцем вместе с друзьями, и он ищет кролика ради этого, то собака подойдет не хуже, чем кролик, и поиски можно прекратить.

Кроме того, ребенка спрашивали, как он думает, расстроился герой истории или обрадовался (например, найдя собаку). Дети могли ответить, что герой обрадовался или огорчился, потому что хотел получить желаемое и получил (либо не получил) его, например, искал кролика и нашел его (либо не нашел). Так, если, по мнению ребенка, герой хотел найти кролика, потому что именно кролика ему действительно хотелось, собака ему не подойдет, он расстроится, что не нашел кролика. Или же дети могли ответить, что человек обрадовался или огорчился, потому что этот предмет отвечает каким-то его замыслам (хотел поиграть с питомцем, и теперь может (или не может) это сделать). Младшие дети чаще говорили, что персонаж хотел обладать конкретным предметом, тогда как старшие — что

персонаж собирался использовать предмет для чего-то и теперь может или не может это сделать. Например, если дети рассуждали о том, что кролик нужен, чтобы поиграть с питомцем вместе с друзьями, то собака для этого подходит не хуже, чем кролик [Wellman, Woolley 1990].

Сравнивая ответы детей в этом и в других экспериментах, Г. Веллман и его коллеги пришли к заключению, что дети раньше начинают объяснять эмоции других людей, апеллируя к их желаниям, и только позже, между тремя и пятью годами, переходят к объяснению через ожидания. Это не зависит от культуры или сложности языковых конструкций, выражающих желание или ожидание, по крайней мере, согласно выводам исследователей, это касается в равной мере и американской, и китайской культур.

Когда дети в конце второго года жизни связывают в своих суждениях возникновение приятных эмоций с удовлетворением желания, а негативных — с неудовлетворением, они демонстрируют определенную логику, в соответствии с которой по их не вполне осознанным убеждениям функционируют эмоции. Эту же логику демонстрируют дети в возрасте трех-пяти лет, когда от объяснения эмоциональных реакций через удовлетворение желаний они переходят к объяснению через реализацию намерения. Тем самым они демонстрируют определенные знания о причинах эмоций.

Такие знания формулирует для себя каждый, кто хоть однажды задумывался над тем, почему он что-то забыл или, наоборот, помнит долгие годы, почему ему сложно сосредоточиться или почему он переживает из-за одних вещей и равнодушен к другим. Как правило, ответы на эти вопросы возникают не откуда-нибудь, а строятся на основе личного опыта. Например, свой личный опыт позитивных переживаний при исполнении желания и негативных при его неисполнении дети используют для объяснения причин возникновения этих эмоций. Такой опыт называется метакогнитивным; это осознанный когнитивный или аффективный опыт, который возникает в процессе осуществления разнообразных действий и касается некоторых их аспектов (чаще всего связанных с тем, как эти действия производятся) [Flavell 1979].

Можно сказать, что в своих исследованиях Г. Веллман продемонстрировал опору детей разного возраста на разные по содержанию виды метакогнитивного опыта, а также устойчивую закономерность, состоящую в том, что по мере взросления ребенок переориентируется с одних форм опыта на другие. По-видимому, это происходит потому, что в процессе общения ребенок начинает понимать, что его знания и представления о ситуации скрыты от окружающих, что чувства другого человека могут отличаться от его собственных и быть связаны с потребностями, которые отличаются от его собственных. Так дети приобретают метакогнитивный опыт — знание о том, что исполнение желаний приводит к позитивным переживаниям, а неисполнение — к негативным.

Предположительно (эта гипотеза еще нуждается в эмпирической проверке) такое понимание возникает в результате осмысления ошибок в

понимании эмоций, построенном на использовании предыдущего метакогнитивного опыта. Осознание и переработка таких ошибок приводит к тому, что дети понимают: не ситуация сама по себе, а ее связь с желаниями и потребностями людей способствует появлению разных эмоций. Ребенок открывает для себя, что одна и та же ситуация может вызывать разные эмоции, потому что различаются желания и потребности людей.

Ближе к четырем годам большинство детей вновь меняет способ объяснения возникновения эмоций. Этому вновь способствует осмысление ошибок при объяснении эмоций на основе раннего метакогнитивного опыта. Ребенок начинает понимать, что не исполненное желание не приводит к огорчению, если, несмотря на то что желание не исполнилось, цель все-таки достигнута. Кроме того, возникает понимание, что исполнение желания не приносит радости, если оно не привело к достижению цели, ради которой ребенок стремился к желаемому. Например, если ребенок искал кролика ради того, чтобы показать его друзьям и поиграть с ними, но к тому моменту, когда он нашел кролика, друзья уже разошлись ужинать, то исполнение желания (найти кролика) не принесет радости, потому что не была достигнута цель (поиграть с кроликом вместе с друзьями). В таком опыте обобщается понимание того, как намерения связаны с эмоциональным переживанием [Bartsch, Wellman 1995]. Метакогнитивный опыт ребенка пополняется еще одним представлением о причинах эмоций, которое позволяет еще больше скорректировать успешность в понимании эмоций других людей и в прогнозировании их эмоционального поведения.

Между тем можно заметить, что более поздние формы метакогнитивных объяснений причин эмоций в некоторых случаях не отменяют более ранние. Так, в ряде случаев негативные переживания действительно вызваны неудовлетворением желания, а не целей. Например, если человек влюблен, то отсутствие объекта любви его огорчит, а замена на какой-либо другой объект ради целей продолжения рода не вызовет радости. Таким образом, хотя смена представлений о причинах эмоций помогает точнее понимать эмоции других, одни формы метакогнитивного опыта не отменяют и не заменяют другие.

Такое положение дел свидетельствует о том, что одного только метакогнитивного опыта недостаточно для того, чтобы понимать эмоции других людей. Гораздо важнее научиться этот опыт эффективно применять. Ошибки в понимании эмоций и прогнозировании эмоционального поведения у детей объясняются не столько отсутствием или несостоятельностью метакогнитивного опыта, сколько неумелым его использованием. Подобно тому как пациенты, страдающие фобиями змей, зачастую знают гораздо больше фактов, свидетельствующих о том, что змеи им не угрожают, по сравнению с людьми, не имеющими подобных фобий, но продолжают бояться, так же и дети до определенного возраста довольно хорошо по-

нимают эмоции других и знают многое о причинах эмоций, но все равно ошибаются в конкретных ситуациях, требующих использования этих знаний для достижения своих целей. Такие ошибки вскрывает следующий эксперимент.

Э. Манстед провел исследование на детях в возрасте от четырех до десяти лет, в котором они должны были ответить на вопрос, что чувствуют и какие эмоции выражают персонажи предложенных им историй. В историях с персонажем (мальчиком или девочкой) происходит нечто плохое или нечто хорошее, но у персонажа есть причина скрыть свою реальную эмоцию и продемонстрировать другую. Например, мальчик, у которого болит живот, хочет пойти гулять с друзьями. Но он знает, что если мама узнает про боль, то не отпустит его гулять. Он пытается скрыть свое состояние во время разговора с мамой. Дети в возрасте шести-десяти лет в большинстве своем на вопрос, что чувствует персонаж, отвечали, что персонаж чувствует огорчение из-за боли в животе, но выражает на лице радость, чтобы мама отпустила его гулять (для других историй — что персонаж доволен, но изображает огорчение). В то же время младшие дети хорошо определяли, что чувствует персонаж, но затруднялись сказать, что он должен выражать эмоцию, отличную от той, которую он испытывает [Manstead 1995]. Аналогичные результаты были получены в более ранних исследованиях [Harris et al. 1989: 134], они свидетельствуют о том, что в возрасте четырех-пяти лет дети не различают в описании эмоций то, что чувствуют, и то, что выражают в качестве экспрессии.

Эксперимент имел продолжение, но уже из приведенных данных видно, что все дети понимали эмоции успешно, при этом, в отличие от старших, младшие отвечают так, будто не допускают возможности того, что персонаж будет выражать не ту эмоцию, которую он переживает. Если рассмотреть задачу детей в этом исследовании, то она состоит из нескольких этапов: 1) понять, какую эмоцию испытывает персонаж (это ребенок может сделать на основе ситуации и собственного опыта: у персонажа болит живот, метакогнитивный опыт состоит в знании ребенка о том, что когда болит живот, эмоции негативны); 2) понять, что выражение этой эмоции приведет к провалу цели (если мама узнает, то не отпустит гулять с друзьями); 3) скрыть эмоцию, вызванную болью в животе, и продемонстрировать радость от ожидаемой прогулки. С первым этапом справились все дети, участвовавшие в исследовании, тогда как с третьим — только дети старше шести лет.

Почему младшие дети не могут сказать, что персонаж испытывает одну эмоцию, а выражает при этом другую? Возможно, они не видят необходимости выражать эмоцию, которую персонаж не испытывает. Но опрос показал, что 4–5-летние дети понимают, для чего эмоцию необходимо скрыть, и в состоянии это объяснить. Значит, и второй этап решения задачи исследования они успешно прошли. Сложность для них представляет третий этап — дать понять маме, что они испытывают не ту эмоцию,

которую испытывают на самом деле. Может быть, дети в этом возрасте не могут изобразить такую эмоцию? Выяснилось, что могут.

Один из ответов на вопрос, почему они не делают то, что могут и считают осмысленным, состоит в следующем. Каждый ребенок использует свои знания о ситуации и личный опыт для того, чтобы понять, что чувствует другой. Но ребенок младшего возраста еще не может учитывать тот факт, что мама не знает, что у персонажа болит живот, и вынуждена ориентироваться на его внешнюю экспрессию, чтобы понимать, хорошо он себя чувствует или плохо. Ребенок старшего возраста способен удерживать в голове две ситуации и разницу между ними (первая ситуация: персонаж, у которого болит живот, но он хочет пойти гулять; вторая ситуация: мама, которая не знает, что у персонажа болит живот, но точно не отпустит его гулять, если об этом узнает). Старшие дети (в возрасте шести-десяти лет) смекали, что если сам персонаж не будет демонстрировать огорчение из-за больного живота, то мама не узнает об этом и отпустит его гулять. А младшие дети не могут использовать в своих целях разницу между тем, что знает персонаж, и тем, что знает его мама. Поэтому даже зная, что негативную эмоцию персонажу целесообразно скрыть, и умея это делать, они отвечали, что персонаж будет выражать ее.

Таким образом, на третьем этапе задача исследования превращается в задачу на выявление ложных убеждений (*false belief task*). Первая такая задача была предложена в 1983 г. Х. Виммером и Дж. Пернером [Wimmer, Perner 1983; см. также: Дубяга, Мещеряков 2010] для установления того, могут ли дети при выполнении задания учитывать знания и точку зрения другого человека. Ребенок наблюдал, как в присутствии одного персонажа другой прячет нечто в одну из двух коробочек. После этого один персонаж уходил, а второй перепрятывал предмет во вторую коробочку. Потом ушедший персонаж возвращался, и ребенка спрашивали, где этот персонаж будет искать спрятанную вещь. Если ребенок учитывал в своем ответе, что персонаж задачи знает меньше, чем он сам (т. е. не знает, что вещь переложили), то исследователи делали вывод о том, что он способен рассуждать с учетом представлений другого человека, исходя из знания различий между собой и другими. Эта задача была чисто познавательной, не связанной с эмоциями.

Впоследствии такие задачи составлялись и для понимания эмоций. В них ребенку предъявлялась ситуация, в которой персонаж того же пола, что и испытуемый, огорчен тем, что уронил монету в водосточную решетку. После этого он встречает друга, который зовет его поиграть в мяч, и отказывается от этой забавы. Друг огорчен отказом. В такой ситуации участвуют два персонажа, один из которых (друг) знает только часть информации о ситуации (он знает, что с ним отказались играть в мяч, но не знает про потерянную монету). Испытуемому же информация известна полностью. Далее испытуемого просят объяснить переживания второго персонажа, т. е. друга, с которым отказались играть в мяч. Если испытуемый ориентируется на свое

знание о ситуации, он скажет, что второй персонаж тоже переживает из-за потери монеты. Если испытуемый учитывает, что персонаж-друг не знает о потере монеты, то он скажет, что друг обижен или расстроен из-за того, что с ним отказались играть [Chandler, Greenspan, 1972].

Умение решать задачи на выявление ложных убеждений возникает как раз между шестью и десятью годами и свидетельствует о появлении у ребенка способности понимать разницу между представлениями о ситуации ее разных участников и объяснять поведение людей с учетом этой разницы. В основе таких возможностей лежит способность строить модели психического. Модели психического (theory of mind) позволяют удерживать в сознании несколько точек зрения на ситуацию, не только осознавать различия представлений и точек зрения, но и действовать с учетом этих различий, используя их для достижения своих целей.

Таким образом, метакогнитивный опыт содержит знания об эмоциях, их протекании, выражении, поведении, к которому они сподвигают, а способность к моделированию психического позволяет эффективно использовать этот опыт в общении. При этом модели психического позволяют учитывать не только то, что знает другой человек, но и то, чего он не знает, не замечает, не может понять. Можно сказать, что, формируя модель психического у собеседника, переживающего эмоцию, человек понимает, какой метакогнитивный опыт наилучшим образом подходит для объяснения его состояния.

Хотелось бы оговорить, что термин «модель психического» не является устоявшимся или особенно удачным переводом на русский язык соответствующего английского термина и употребляется наряду с такими обозначениями, как «представление о психике другого», «индивидуальная теория психики», «теория души», «понимание чужого сознания», «внутренняя модель сознания другого», «теория распознавания психических состояний», «теория намерений», «теория сознания», «теория разума» (см. [Дубяга, Мещеряков 2010]). Мы используем именно этот вариант перевода термина theory of mind («модели психического»), имея в виду процесс, в результате которого ребенок воссоздает психическое состояние другого человека, приведшее к тому или иному поведению. Под моделями психического понимается способность человека объяснять и предсказывать поведение других людей в терминах ментальных состояний [Wimmer, Perner 1983]. В исследовательской литературе, посвященной детскому развитию, о моделировании психического чаще всего говорят при описании развития социальных взаимодействий у детей и при исследовании ложных представлений (false beliefs) у дошкольников. Однако не все исследователи согласны с тем, что решение данных задач опирается на модели психического (см. об этом: [Bloom, German 2000]). Модели психического, апеллирующие для объяснения поведения к эмоциональному опыту, изучены меньше, чем модели, основанные на представлениях ребенка о социальных отношениях и о представлениях других людей.

Для того чтобы построить модель психического, объясняющую определенное поведение другого человека, ребенок должен предположить, какое именно психологическое состояние подвигло того действовать. В отношении эмоций такое предположение построить гораздо проще, чем в отношении других психологических процессов, в частности знаний и представлений, так как эмоции имеют гораздо больше экспрессивных средств по сравнению с другими психическими состояниями. В соответствии с этой логикой модели психического, объясняющие поведение людей эмоциональными состояниями, должны предшествовать появлению всех прочих моделей психического, а более успешное развитие способности к пониманию эмоций будет приводить к более активному формированию и эффективному использованию моделей психического ребенком. Однако возможны и другие соотношения; например, возможно, что модели психического формируются в результате развития познавательных процессов, таких как мышление, память, научение правилам социального взаимодействия, и потом уже распространяются на сферу эмоций. Также не исключено, что формирование моделей психического по крайней мере до определенного времени идет двумя параллельными путями — в области эмоций и в области познавательных процессов.

Лонгитюдное исследование, проведенное М. О'Брайен и ее коллегами [O'Brien et al. 2011], показало, что более успешное понимание эмоций в детском возрасте (три-четыре года) предшествует более эффективному выполнению заданий, требующих от ребенка реконструировать представления другого человека, но не наоборот. Дж. Данн [Dunn 2000] свидетельствует, что дети раньше понимают эмоции другого человека и только позже способны догадаться о его ментальных состояниях (понять, что он задумался, растерялся, колеблется и т. д.). Таким образом, эти исследователи считают доказанным, что понимание переживаний и лежащих за ними желаний, потребностей, пристрастий другого человека является первым шагом на пути ребенка к когнитивной децентрации, т. е. к пониманию того, что другие люди иначе воспринимают, оценивают и концептуализируют события и ситуации, а также того, как именно это делается.

Если кратко подытожить, то в развитии представлений ребенка о причинах эмоций других людей можно выделить несколько этапов. Самое раннее представление прямо связывает эмоции с воздействием ситуации: весело, потому что праздник; страшно, потому что в ситуации присутствует опасный объект, и т. д. Это представление довольно легко разрушается, потому что дети быстро замечают, что люди далеко не всегда демонстрируют те эмоции, которые предписывает им ситуация.

На смену объяснению причин эмоций воздействием ситуации приходит объяснение через желания, точнее, через соотношение ситуации с желаниями человека: человек радуется, когда получает желаемое, огорчается, когда не получает, пугается, когда получение желаемого под угрозой, и т. д. С пониманием того, что объект желания желанен не сам по себе, а

потому что он приводит к реализации неких целей или намерений, а также того, что цели и намерения могут быть достигнуты с помощью самых разных объектов, ребенок переходит к объяснению причин эмоций через возможности достижения целей и реализации намерений, предоставляемые ситуацией.

Накопление знаний о причинах эмоций приводит к необходимости организовывать эти знания, а также формулировать условия, в которых нужно опираться на одни знания и отставить в сторону другие. Возможность оперировать метакогнитивным опытом и организовывать его обеспечивается моделями психического. Реконструируя представление другого человека о ситуации, его интересы и цели и возможность их достижения в данной ситуации, мы можем более обоснованно, а значит, более эффективно использовать одни объяснения возникновения его эмоций и отказываться от других.

Как показывают современные исследования, именно модели психического, направленные на понимание эмоций, лежат в основе формирования моделей, обеспечивающих понимание других психических процессов, потому что, в отличие от прочих психических процессов, эмоции имеют обширный арсенал средств внешнего выражения, позволяющих детям с определенного возраста проверять правильность своих моделей эмоционального психического.

Литература / References

1. Дубяга Е. В., Мещеряков Б. Г. (2010). ИмPLICITная теория разума: краткий обзор // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». № 1: [Электрон. ресурс:] <http://www.psyanima.ru/journal/2010/1/2010n1a4/2010n1a4.pdf>.
2. Dubiaga, E. V., Meshcheriakov, B. G. (2010). Implitsitnaia teoriia razuma: kratkii obzor [The implicit theory of mind: a brief review]. *Psikhologicheskii zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshchestva i cheloveka «Dubna», 1* [Dubna Psychological Journal]. <http://www.psyanima.ru/journal/2010/1/2010n1a4/2010n1a4.pdf>. (In Russian).
3. Bartsch, K., Wellman, H. M. (1995). Children talk about the mind. New York: Oxford Univ. Press. 234 p.
4. Bischof-Köhler, D. (2012). Empathy and self-recognition in phylogenetic and ontogenetic perspective. *Emotion Review, 4*(1), 40–48.
5. Bloom, P., German, T. (2000). Two reasons to abandon the false belief task as a test of theory of mind. *Cognition, 77*(1), B25–B31.
6. Dunn, J. (2000). Mind-reading, emotion understanding, and relationships. *International Journal of Behavioral Development, 24*(2), 142–144.
7. Fabes, R. A., Eisenberg, N., Nyman, M., Michaelieu, Q. (1991). Young children's appraisals of others' spontaneous emotional reactions. *Developmental Psychology, 27*(5), 858–866.
8. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist, 34*(10), 906–911.

8. Gopnik, A. (1993). How we know our own minds: the illusion of first person knowledge of intentionality. *Behavioral and Brain Sciences*, 16(1), 1–14.
9. Chandler, M. J., Greenspan, S. (1972). Ersatz egocentrism: A reply to H. Borke. *Developmental Psychology* 7(2), 104–106.
10. Harris, P. L., Johnson, C. N., Hutton, D., Andrews, G., Cooke, T. (1989). Young children's theory of mind and emotion. *Cognition and Emotion*, 3(4), 379–400.
11. Manstead, A. S. R. (1995). Children's understanding of emotion. In J. A. Russell, J.-M. Fernández-Dols, A. S. R. Manstead, J. C. Wellenkamp (eds.) *Everyday conceptions of emotion: An introduction to the psychology, anthropology and linguistics of emotion*, 315–331. New York: Kluwer Academic.
12. O'Brien, M., Weaver, J. M., Nelson, J. A., Calkins, S. D., Leerkes, E. M., Marcovitch, S. (2011). Children's understanding of emotions and theory of mind. *Cognition and Emotion*, 25(6), 1074–1086.
13. Repacholi, B. M., Gopnik, A. (1997). Early reasoning about desires: Evidence from 14- and 18-month-olds. *Developmental Psychology*, 33(1), 12–21.
14. Tomasello, M., Haberl, K. (2003). Understanding attention: 12- and 18-month-olds know what is new for other persons. *Developmental Psychology*, 39(5), 906–912.
15. Wellman, H. M., Woolley, J. D. (1990). From simple desires to ordinary beliefs: The early development of everyday psychology. *Cognition*, 35(3), 245–275.
16. Wellman, H. M., Banerjee, M. (1991). Mind and emotion: children's understanding of the emotional consequences of beliefs and desires. *British Journal of Developmental Psychology*, 9(2), 191–214.
17. Wellman, H. M. (1995). Young children's conception of mind and emotion: evidence from English speakers. In J. A. Russell, J.-M. Fernández-Dols, A. S. R. Manstead, J. C. Wellenkamp (eds.) *Everyday conceptions of emotion: An introduction to the psychology, anthropology and linguistics of emotion*, 289–313. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers.
18. Wimmer, H., Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children's understanding of deception. *Cognition*, 13(1), 103–128.
19. Wimmer, H., Weichbold, V. (1994). Children's theory of mind: Fodor's heuristics examined. *Cognition*, 53(1), 45–57.

*DEVELOPMENT OF CHILDREN'S UNDERSTANDING
OF EMOTIONS OF OTHER PEOPLE*

Kravchenko, Yunna E.

*PhD in Psychology (Candidate of Science in Psychology), Associate Professor,
Subdepartment of Personality, L. S. Vygotsky Institute for Psychology, Russian
State University for the Humanities*

Russia, Moscow, GSP-3, 125993, Miusskaya sq., 6

Tel.: +7 (499) 251-64-16

E-mail: asunaro@mail.ru

Abstract. The article is a review of development of children's knowledge of causes and consequences of other people's emotions, of how children explain emotional reactions of other people, and how such explanations modify in different childhood stages. As a result, we describe 4 different childhood stages characterized by types of explanations of emotional reactions. Children explain emotions in a specific manner and make typical mistakes in such explanations. In the first stage (about 2 years old), emotional reactions are viewed as objective in the sense that situations affect everyone's emotions similarly (e.g., birthdays make you happy, a burial makes you sad). At the end of the second year, this explanation changes to another one, in which emotions depend on the actor's explicit desires. From 3 to 5 years old, most children rely on beliefs instead of desires to explain emotional reactions in the same situations. At last, from 6 years old, children are capable of taking into account differences between people's points of view in the same situations, which explains differences in their emotional reactions.

Keywords: emotional understanding, metacognitive experience, theory of mind, false beliefs test.

KRAVCHENKO, YU. E. (2015). DEVELOPMENT OF CHILDREN'S UNDERSTANDING OF EMOTIONS OF OTHER PEOPLE. SHAGI / STEPS, 1 (1), 95–107

РАЗВИТИЕ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА¹

Аннотация. В статье рассматривается понятие просоциального поведения (поведения, ориентированного на других) в раннем возрасте. Проанализированы существующие исследования по трем основным типам помощи, проявляющимся уже в раннем детстве: инструментальной (помощь другому в достижении его предметной цели), альтруистической (способность делиться с другими) и эмпатической. Способность к оказанию инструментальной помощи впервые возникает в начале второго года жизни и стремительно развивается в течение последующего полугодия. Альтруистическая форма просоциального поведения начинает проявляться между 18 и 24 месяцами жизни, требуя, однако, определенной поддержки в ситуации, в частности четкой артикуляции другим своего желания. Наконец, последним в онтогенезе появляется эмпатическое поведение. При этом проявление эмпатической помощи детьми до трех лет наблюдается лишь в условиях очевидной для ребенка причины эмоционально-негативного состояния другого. Приведенные в статье данные позволяют сделать вывод, что в просоциальном аспекте развития у детей раннего возраста значительно преобладает инструментальная форма помогающего поведения в сравнении с эмпатической и альтруистической, в то время как способность к проявлению эмпатического и альтруистического поведения у детей до трех лет ограничена и зависит от множества дополнительных факторов.

Ключевые слова: просоциальное поведение, эмпатия, альтруизм, инструментальная помощь, ранний возраст.

¹ Статья подготовлена при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда, проект №15-36-01366.

Тенденция к просоциальному поведению у людей, т. е. поведению, ориентированному на других, уже долгое время является интригующей загадкой для исследователей. Действительно, исходя из дарвиновской теории выживания сильнейшего, жертвенное поведение на благо другого невыгодно и потому не может существовать в природе [Dawkins 1989]. Тем не менее поведенческие акты, направленные на благо других, все-таки существуют, и до настоящего времени среди ученых ведется активный спор о характере происхождения этой особенности социального развития человека [Callaghan et al. 2011; Henrich et al. 2005; Silk, House, 2011; Tomasello 2008; Warneken, Tomasello 2009; Zaki, Mitchell 2013].

Данная статья посвящена развитию просоциального поведения детей в период от года до трех лет. К настоящему моменту исследования в этой области показали, что дети начинают проявлять просоциальное поведение очень рано. Так, рядом исследователей выявлено, что уже в 12–14 месяцев дети могут оказывать помощь по дому, помогать в поиске, указать или принести предмет, потерянный или уроненный взрослым [Liszkowski et al. 2006; Warneken, Tomasello 2006; 2007; Rheingold 1982; Zahn-Waxler et al. 1992a].

Просоциальные поведенческие акты, столь рано проявляющиеся в онтогенезе, вызвали интерес и у социальных психологов, и у психологов развития как возможные предшественники характерных для человека черт: заботы о ближнем, сотрудничества и, возможно, альтруизма [Fehr, Rockenbach 2004; Piliavin, Charng 1990; Stevens, Hauser 2004; Warneken, Tomasello 2006; 2007].

Современные теории и последние исследования в этой области содержат разнообразные и даже противоречивые взгляды на факторы, влияющие на проявление просоциального поведения в раннем возрасте. Некоторые исследователи предполагают, что корни просоциальности лежат в базовом стремлении детей к другим людям и представляют собой комбинацию из тенденций к аффилиации и имитации [Grusec 2006; Hay, Cook 2007; Rheingold 1982]. Другие утверждают, что основным источником раннего проявления просоциальности служит способность к пониманию внутренних состояний других людей, в том числе их эмоций [Bischof-Kohler 1991; Mascolo, Fischer 2007; Moore 2007; Zahn-Waxler, Radke-Yarrow 1990]. В то же время ряд ученых придерживается мнения о биологической врожденности способности к альтруизму и эмпатии [Hoffman 1975; Tomasello 2008; Zahn-Waxler et al. 1992b]. **Исследователями обнаружен и ряд индивидуальных факторов, которые влияют на продуцирование просоциального поведения [Eisenberg et al. 2006].**

Перечисленные теоретические направления ставят разные акценты на социально-когнитивном и мотивационном компонентах, участвующих в развитии просоциального поведения. Исследователи не пришли и к единому мнению о том, что движет ребенком раннего возраста, помогающим маме, например, в уборке квартиры или в мытье собаки, другими словами,

когда он ориентирован в своем поведении на нужды родителей, — заинтересованность в самой деятельности, в социальном взаимодействии или, быть может, в последующем вознаграждении. До конца неясно, какие выводы делает ребенок этого возраста относительно желаний, чувств и потребностей родителей, помогая им. Способны ли дети раннего периода развития к альтруистическому поведению, добровольно и осознанно отдавая другому что-то ценное для себя? Эти вопросы составляют основной интерес данной области для исследователей, делают ее увлекательной и ценной для изучения человека. Наряду с этим тот факт, что в течение второго года жизни уровень понимания социальной ситуации возрастает и становится более «ментальным» [Flavell 1999], а многие аспекты социального поведения трансформируются [Brownell, Kopp 2007], делает ранний период развития особенно подходящим для исследования вопросов, касающихся развития просоциальности.

Перед тем как подробнее анализировать литературу, посвященную экспериментальному изучению особенностей развития просоциального поведения в раннем периоде детства, стоит кратко остановиться на описании форм рассматриваемого нами поведения. Исследователи выделяют три вида затруднительных ситуаций, в которых может понадобиться акт просоциального поведения, т. е. помощь: 1) потребность в простой инструментальной помощи со стороны, когда человек испытывает затруднения в завершении целенаправленного поведения; 2) неудовлетворенное материальное желание, когда человек не имеет прямого доступа к конкретному желаемому ресурсу или предмету; 3) негативно окрашенное эмоциональное состояние или дистресс, когда человек нуждается в утешении и разного рода поддержке [Zahn-Waxler et al. 1992b; Hay et al. 1991; Dunn 2008; Liszkowski et al. 2006; Rheingold 1982; Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Каждой из перечисленных ситуаций соответствуют следующие формы актов просоциального поведения: инструментальная помощь (например, помочь в достижении конечной цели действия [Warneken, Tomasello 2006]), альтруистическое поведение (например, отдать другому вожаемый предмет [Hay 1979; Brownell et al. 2009]) и эмпатия (например, оказать вербальную или физическую поддержку [Svetlova et al. 2010]).

Ребенок начинает оказывать **инструментальную помощь** ориентировочно в возрасте 12–14 месяцев [Liszkowski et al. 2006; Warneken, Tomasello 2006; 2007; 2009], что выражается в помощи взрослому по дому, в поиске потерянного предмета или в поднятии предмета, выпавшего из рук взрослого. Способность к подобным поведенческим актам, предположительно, имеет предпосылки в понимании целей и намерений в поведении другого человека. Для того чтобы обнаружить, что другой человек нуждается в инструментальной помощи, т. е. репрезентировать его инструментальную потребность, ребенку необходимо уметь атрибутировать цель совершаемому другим человеком действию, распознавать чужое намерение, несмотря

на незавершенность действия. На сегодняшний день в ряде исследований показано, что уже в течение первого года жизни ребенок способен атрибутировать цели простым действиям [Woodward 1988; Carpenter et al. 1998].

Так, в эксперименте А. Вудворд пятимесячные испытуемые демонстрировали больший интерес к изменению цели, к которой тянулась рука, а не направления, в котором она тянулась [Woodward 1988]. По данным эксперимента М. Карпентер и коллег, **младенцы в возрасте 14 месяцев** отличаются намеренное поведение от случайного и подражают именно ему, даже если случайное поведение дает такой же привлекательный результат [Carpenter et al. 1998].

Таким образом, можно ожидать, что дети, понимающие намерения и цели действий, ко второму году жизни смогут осуществлять инструментальную помощь, что и было выявлено в целом ряде работ. В качестве наиболее яркого и полного примера исследования этой способности приведем один из любопытных экспериментов Ф. Уорнекена и М. Томаселло.

В данном эксперименте принимали участие дети в возрасте 18 месяцев. Ученые смоделировали несколько проблемных ситуаций, где экспериментатору требовалась инструментальная помощь. Экспериментальные ситуации были разделены на четыре категории. Например, в одной из ситуаций категории «физическая преграда» экспериментатор, держа обеими руками большую стопку журналов, демонстрировал затруднение при попытке открыть шкаф (очевидно, для того чтобы убрать туда эти журналы). В другой ситуации категории «неверный результат» экспериментатор безуспешно пытался положить на самый верх стопки книг еще одну книгу, которая каждый раз безнадежно сползала, падая на пол. В категории «предмет вне зоны доступа» проверялась возможность ребенка оказать помощь в поднятии выпавшего из рук экспериментатора предмета (маркера) в ряде ситуаций. И, наконец, в категории заданий «неправильный способ» экспериментатор ронял ложку в коробку и безуспешно пытался вытащить ее сквозь маленькое отверстие, вместо того чтобы сделать это обычным и, очевидно, более удобным способом.

Результаты описанного эксперимента показали, что 22 из 24 испытуемых оказали помощь как минимум в одной из ситуаций экспериментальной процедуры. Интересно отметить также, что дети чаще помогали в экспериментальных, чем в контрольных ситуациях, где экспериментатор не демонстрировал ребенку потребность в помощи [Warneken, Tomasello 2006].

Один из авторов настоящей статьи провел собственное исследование особенностей оказания инструментальной помощи детьми 14–16 месяцев с надежным и ненадежным типами эмоциональной привязанности к близ-

кому взрослому² [Юдина 2014]. В рамках экспериментальной процедуры было смоделировано три вида ситуаций с разным социальным контекстом, в каждой из которых экспериментатору требовалась помощь ребенка: 1) самостоятельная игра ребенка; 2) совместная игра ребенка и экспериментатора и 3) отсутствие игры или ситуация прощания.

В каждой из ситуаций экспериментатор «случайно» ронял ручку и испытывал затруднения с тем, чтобы дотянуться и поднять ее. В случае неокказания помощи ребенком в течение определенного времени экспериментатор наглядно и последовательно демонстрировал ему свою потребность в помощи сначала мимикой, затем подключал жесты и, если ребенок и после описанных подсказок не проявлял просоциального поведения, то экспериментатор выражал свое затруднение вербально.

Результаты этого эксперимента показали, что дети с надежной привязанностью значимо чаще оказывают помощь по сравнению с ненадежно привязанными. При этом дети из обеих групп продемонстрировали одинаковый уровень понимания затруднительного положения экспериментатора, к примеру, переводили взор с упавшего предмета на экспериментатора и обратно. Из результатов также видно, что дети из группы надежной привязанности чаще оказывают помощь без подсказок, в отличие от детей с ненадежным типом привязанности, которым чаще требовались наглядные сигналы о помощи.

Такие данные позволяют сделать вывод, что одним из элементов механизма просоциального поведения является ранняя эмоциональная привязанность младенца к близкому взрослому, которая, как известно, является предиктором уровня эмоционального и социального развития ребенка в целом.

Наряду с социальными механизмами раннего просоциального поведения в описываемый период жизни интерес у исследователей вызывают и его мотивационные механизмы. Так, в исследовании Х. Рейнгольда 18-месячные испытуемые участвовали в совместных с родителем заданиях, успешно помогая им, например, поставить столик, собрать мелкие кусочки бумаги, положить карточки в коробку и др. При этом во время исследования наблюдалось, что дети часто либо сами инициировали то или иное действие (до того как взрослый выражал потребность в помощи), либо участвовали в совместной деятельности со взрослым, испытывая удовольствие от такой деятельности самой по себе, либо искали одобрения взрослого, либо в процессе оказания помощи скорее сами забавлялись интересным делом, нежели были ориентированы на другого или выражали заботу о родителе. Таким образом, можно предположить, что мотивация, лежащая в основе помогающего поведения в раннем возрасте, необязательно находится в рамках ориентации на других [Rheingold 1982].

² Под привязанностью в данном случае понимаются характер взаимоотношений, установившихся между ребенком и близким ухаживающим взрослым к концу младенчества, степень уверенности ребенка в способности взрослого его защитить и утешить. Надежность привязанности определялась по тесту «Незнакомая ситуация» М. Эйнсворт [Ainsworth et al. 1987].

Просоциальное поведение даже у детей более старших возрастов и у взрослых может быть мотивировано скорее заботой о себе, в частности желанием социального одобрения, конкретных наград или реципрокной просоциальной ответной реакции окружающих [Eisenberg 2005]. Тогда возможно, что раннее проявление инструментальной помощи может быть обусловлено рудиментарными формами эгоистических мотивов, содержащих в себе заинтересованность в объекте или определенных действиях другого человека и лишь принимающих видимость сочувствующей заботы о других.

В связи с этим логично перейти к следующему виду просоциального поведения — **эмпатической помощи**. Во второй половине второго года жизни проявляется способность откликаться на эмоциональное неблагополучие другого, выражающаяся в актах заботы и утешения, например в случаях, когда другому больно [Zahn-Waxler et al. 1992a]. Вероятно, это связано с развитием у детей самосознания и функции соответствующего понимания других как физиологических агентов, имеющих определенные внутренние состояния, которые могут отличаться от их собственных [Hoffman 2007; Mascolo, Fischer 2007; Moore 2006; 2007; Zahn-Waxler et al. 1992a].

Проявление эмпатии, по всей видимости, требует наличия репрезентации эмоционального состояния другого. Известно, что дети уже на первом году жизни способны различать эмоции других [Grossmann 2010; Walker-Andrews, Dickson 1997]. В частности, в исследовании Янг-Браун и соавторов [Young-Browne et al. 1977] при помощи метода хабитуации (предпочтения новизны) было показано, что уже в трехмесячном возрасте дети умеют отличать выражение радости от удивления, а используя метод визуального предпочтения, исследователи продемонстрировали их способность к различению радостного и гневного выражения лица [Maurer, Barrera 1981].

Однако практически до наступления четырехлетнего возраста способность детей к объяснению ряда эмоциональных состояний ограничена. З. Денхам и И. Кушу провели эксперимент, в котором детям в возрасте двух-четырёх лет предлагалось определить по картинке эмоцию либо назвав, либо выбрав из ряда схематично предложенных изображений эмоций (страх, радость, печаль или гнев), а также проинтерпретировать эмоциональную ситуацию с участием кукольного персонажа. Результаты продемонстрировали, что дети до трех лет хуже справлялись с задачей по называнию эмоций и с интерпретацией эмоционального состояния кукольного персонажа в сравнении с четырехлетками, в то время как в подборе схематичных изображений эмоций их результаты значимо не различались [Denham, Couchoud 1990].

Способность ребенка репрезентировать потребность другого в помощи по наглядным признакам и понимать необходимость вмешательства в ситуацию была продемонстрирована в эксперименте К. Данфилд и коллег. В этом эксперименте детям в возрасте 18 и 24 месяцев предоставлялась

возможность проявить акт просоциального поведения в форме инструментальной, альтруистической или эмпатической помощи в условиях явного или неявного выражения негативно окрашенного эмоционального состояния.

В экспериментальном («явном») условии выражение лица экспериментатора демонстрировало, например, отчаяние в ситуации необходимости инструментальной помощи, боль — в ситуации необходимости оказания эмпатической помощи и печаль — в ситуации необходимости проявить альтруистическое поведение. В контрольном («неявном») условии выражение лица экспериментатора было нейтральным во всех трех ситуациях необходимости оказания помощи. Как в экспериментальном, так и в контрольном условии экспериментатор использовал контакт глаз, жесты и вербальные сигналы как признаки потребности в помощи.

Результаты показали, что дети обеих возрастных групп проявляли просоциальное поведение в ситуации необходимости эмпатической помощи лишь в экспериментальном условии (когда экспериментатор демонстрировал ребенку эмоцию, отражающую ситуацию), в то время как инструментальную и альтруистическую помощь дети оказывали в обоих условиях, т. е. вне зависимости от эмоционального наполнения. Таким образом, в ситуации демонстрации взрослым потребности в утешении без эмоционального сопровождения дети не выразили акта просоциального поведения [Dunfield et al. 2011].

Проявление эмпатической помощи в раннем возрасте сравнивалось с другими формами помощи также в эксперименте М. Светловой и коллег. Созданная учеными экспериментальная процедура включала набор одинаковых заданий, предоставляемых испытуемым в трех условиях. Условия различались тем, что в каждом задании экспериментатор демонстрировал особый набор наглядных подсказок, мотивирующих ребенка на продуцирование инструментальной, эмпатической или альтруистической помощи.

Например, в «инструментальном» условии экспериментатор пытался закрепить одежду с помощью заколки-зажима, которая «случайно» падала, и только ребенок мог достать ее, в «эмпатическом» — выражал эмоцию, отражающую недовольство своими распущенными волосами, тогда как ребенок видел заколку-зажим в комнате, и, наконец, в «альтруистическом» условии взрослый показывал, что хочет поиграть с заколкой-зажимом, которая была в руках у ребенка. Результаты исследования показали, что и 18-месячные, и 30-месячные дети проявляли просоциальное поведение в ситуациях, требующих эмпатической помощи взрослому, значительно реже в сравнении с инструментальной формой помощи, а альтруистическую помощь — наиболее редко [Svetlova et al. 2010].

Полученные данные позволяют сделать вывод, что, несмотря на функционирование эмоционально-репрезентационных механизмов в ранний период детства, способность к эмпатическому поведению в раннем возрасте все же сильно ограничена.

Теперь рассмотрим способность детей раннего периода жизни к **альтруистической** форме просоциального поведения. Психологи, используя термин «альтруизм», придерживаются разных взглядов на его значение, хотя все определения и находятся в пределах степени требуемого самопожертвования. Дж. Грусек с соавторами характеризуют альтруистическое поведение как намеренную помощь другому за счет ресурсов «донора» [Grusec et al. 2002]. Дж. Пилявин и Х. Чарнг считают, что альтруистическим можно называть поведение, за которым не следует внешней награды [Piliavin, Charng 1990]. В целом альтруистическим называют акт, в котором один отдает или жертвует что-либо для блага другого [Batson et al. 2008; Foster et al. 2006], при этом такое поведение является самоценным, а не промежуточным средством для достижения какой-то конкретной конечной цели «донора» [Kitcher 1998].

Напомним, что в рамках настоящего обзора мы рассматриваем альтруистическую помощь как одну из форм просоциального поведения, состоящую в способности делиться с другим. Известно, что дети до трех лет с трудом делятся своими предметами, несмотря на то что, по имеющимся данным, уже в 15-месячном возрасте дети обладают способностью к репрезентации неудовлетворенного желания другого человека [Fehr et al. 2008; Sloane et al. 2012]. И все же в течение второго года жизни, по мере активно протекающего развития понимания себя и других, их способность делиться, помогать и сотрудничать возрастает [Brownell et al. 2013; Nay, Cook 2007; Smiley 2001]. В исследовании К. Браунелл и коллег была выявлена способность детей 18 и 24 месяцев поделиться едой или игрушками со взрослым в ситуации, когда у взрослого не было доступа ни к тому, ни к другому. Результаты исследования показали, что 18-месячные были готовы делиться, однако лишь в том случае, если взрослый явно демонстрировал свою потребность, т. е. на его заинтересованность в объекте указывали не только выражение лица и направление взгляда, но и протянутая за объектом рука и прямая просьба: «Можно мне взять это?». В то же время 24-месячные дети могли проявлять большую самостоятельность и спонтанность в принятии решения поделиться со взрослым, и делились, как правило, до того, как взрослый протягивал руку и выражал свою просьбу вербально [Brownell et al. 2013].

Отметим, что способность делиться требует также наличия представлений о справедливом и равном распределении ресурсов. Многочисленные исследования по этой теме показывают, что на втором году жизни дети начинают различать равное и неравное распределение ресурсов [Sloane et al. 2012; Geraci, Surian 2011; Schmidt, Sommerville, 2011; Sommerville et al. 2013]. При этом дети раннего возраста далеко не всегда распределяют ресурсы равно и справедливо. Так, исследование М. Смита и коллег показало, что трехлетние дети, отвечая на вопрос экспериментатора о необходимости делиться с другими, заявляли, что должны справедливо распределять предметы и от других ожидают того же, однако в реальной ситуации распределения ресурсов отдавали предпочтение себе [Smith et al. 2013].

Описанные выше исследования по инструментальной и эмпатической помощи подтверждают, что дети раннего возраста способны помочь другому удовлетворить его желание. Стоит отметить, что исследований, которые напрямую касались бы проверки готовности детей к помощи в ущерб себе, было немного, и они показывают, что дети раннего возраста способны и отдать возжеланный предмет другому [Vaish et al. 2009], и прекратить интересную игру в случае необходимости помочь взрослому, попавшему в затруднительное положение [Warneken, Tomasello 2008].

В то же время многие исследования указывают на важную роль определенных ситуативных факторов в проявлении альтруистического поведения в раннем возрасте. Например, в ряде работ выявлено, что дети делятся активнее, когда это не требует больших жертв [Thompson, Newton 2013; Moore 2006], или когда получатель является хорошо знакомым ребенку человеком [Rheingold et al. 1976; Hay 1979; Hay, Murray 1982]. Результаты описанного выше эксперимента М. Светловой и коллег дополняют картину: дети в возрасте как 18, так и 30 месяцев значимо реже проявляли альтруистическое поведение, чем акты инструментальной и эмпатической помощи, при этом группе 18-месячных детей значительно чаще требовались наглядные подсказки со стороны взрослого, демонстрирующие характер его потребности [Svetlova et al. 2010].

Возможно, способность к бескорыстной помощи в раннем возрасте, в особенности когда она подразумевает необходимость делиться своим, осложняется и специфическим для детей третьего года жизни пониманием природы своего и собственности, что в этом возрасте требует больших усилий в ситуации необходимости отдать свое [Fasig 2000; Hay et al. 1991; Imbens-Bailey, Pan 1998; Fehr et al. 2008; Sloane et al. 2012].

Итак, мы рассмотрели понятие просоциального поведения, которое отражает поведение человека, ориентированное на других. Нами были проанализированы исследования по трем основным типам помощи: инструментальной, альтруистической и эмпатической. Способность к оказанию инструментальной помощи, т. е. помощи другому в достижении его предметной цели, впервые возникает в начале второго года жизни и стремительно развивается в течение последующего полугодия [Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Альтруистическая форма просоциального поведения, или способность делиться с другими, начинает проявляться позднее, между 18 и 24 месяцами жизни [Brownell et al. 2013], **требуя, однако, сопровождения рядом ситуативных факторов, например четкой артикуляции желания другим [Brownell et al., 2009; 2013].** Наконец, последним в онтогенезе появляется эмпатическое поведение как просоциальный акт [Dunfield, Kuhlmeier 2013]. При этом проявление способности к оказанию эмпатической помощи детьми до трех лет наблюдается лишь в условиях очевидной для ребенка причины эмоционально-негативного состояния другого [Svetlova et al. 2010; Dunfield et al. 2011].

В целом приведенные в настоящей статье данные позволяют сделать вывод, что в просоциальном аспекте развития у детей раннего возраста значительно преобладает инструментальная форма помогающего поведения в сравнении с эмпатической и альтруистической, в то время как способность к проявлению эмпатического и альтруистического поведения у детей до трех лет сильно ограничена и зависит от множества дополнительных факторов.

Литература / References

1. Юдина Т. О. (2014). Особенности взаимодействия со взрослыми детей раннего возраста с разными типами привязанности: Дипломная работа. М.: РГГУ, 2014. 69 с.
Yudina, T. O. (2014). *Osobennosti vzaimodeistviia so vzroslymi detei rannego vozrasta s raznymi tipami priviazannosti* [The specific of child-adult interaction among toddlers with different attachment types]. Unpublished diploma thesis. Moscow, RGGU, 2014. 69 p.
2. Ainsworth, M. D., Blehar, M., Warers, E., Wall, E. (1987). *Patterns of attachment. A psychological study of the strange situation*. Hillsdale, NY: Erlbaum Associates. 416 p.
3. Batson, C. D., Ahmad, N., Powell, A. A., Stocks, E. L. (2008). Prosocial motivation. In J. Y. Shah, W. L. Gardner (eds.). *Handbook of motivation science*, 135–149. New York: Guilford Press.
4. Bischof-Kohler, D. (1991). The development of empathy in infants. In M. E. Lamb, H. Keller (eds.). *Infant development: Perspectives from German-speaking countries*, 245–273. Hillsdale, NJ, England: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
5. Brownell, C. A., Iesue, S. S., Nichols, S. R., Svetlova, M. (2013). Mine or yours? Development of sharing in toddlers in relation to ownership understanding. *Child Development*, 84, 906–920.
6. Brownell, C. E., Kopp, C. B. (eds.) (2007). *Socioemotional development in the toddler years: Transitions and transformations*. New York: Guilford Press. 497 p.
7. Brownell, C. A., Svetlova, M., Nichols, S. (2009). To share or not to share: When do toddlers respond to another's needs? *Infancy*, 14(1), 117–130.
8. Callaghan, T., Moll, H., Rakoczy, H., Warneken, F., Liszkowski, U., Behne, T. (2011). Early social cognition in three cultural contexts. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 76, 1–142.
9. Carpenter, M., Akhtar, N., Tomasello, M. (1998). Fourteen through 18-month-old infants differentially imitate intentional and accidental actions. *Infant Behavior and Development*, 21, 315–330.
10. Dawkins, R. (1989). *The selfish gene*. 2nd ed. New York: Oxford Univ. Press. 368 p.
11. Denham, S. A., Couchoud, E. A. (1990). Young preschooler's understanding of emotions. *Child Study Journal*, 20, 171–192.
12. Dunfield, K. A., Kuhlmeier, V. A. (2013). Classifying prosocial behavior: helping, sharing, and comforting subtypes. *Child Development*, 84, 1766–1776.
13. Dunfield, K. A., Kuhlmeier, V. A., O'Connell, L. J., Kelley, E. A. (2011). Examining the diversity of prosocial behavior: helping, sharing, and comforting in infancy. *Infancy*, 16, 227–247.

14. Dunn, J. (2008). Relationships and children's discovery of the mind. In U. Muller, N. Budwig, J. Carpendale, and B. Sokol (eds.). *Social life and social knowledge: Toward a process account of development*, 171–182. New York: Erlbaum.
15. Eisenberg, N. (2005). The development of empathy-related responding. *Nebraska Symposium of Motivation*, 51, 73–117.
16. Eisenberg, N., Fabes, R. A., Spinrad, T. (2006). Prosocial development. In N. Eisenberg (ed.). *Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development*, 6th ed., 3, 646–718. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
17. Fasig, L. G. (2000). Toddlers' understanding of ownership: Implications for self-concept development. *Social Development*, 9(3), 370–382.
18. Fehr, E., Rockenbach, B. (2004). Human altruism: Economic, neural, and evolutionary perspectives. *Current Opinion in Neurobiology*, 14(6), 784–790.
19. Fehr, E., Bernhard, H., Rockenbach, B. (2008). Egalitarianism in young children. *Nature*, 454, 1079–1083.
20. Flavell, J. H. (1999). Cognitive development: Children's knowledge about the mind. *Annual Review of Psychology*, 50, 21–45.
21. Foster, K. R., Wenseleers, T., Ratnieks, F. (2006). Kin selection is the key to altruism. *TRENDS in Ecology and Evolution*, 21(2), 57–60.
22. Geraci, A., Surian, L. (2011). The developmental roots of fairness: infant's reactions to equal and unequal distributions of resources. *Developmental Science*, 14, 1012–1020.
23. Grossmann, T. (2010). The development of emotion perception in face and voice during infancy. *Restorative Neurology and Neuroscience*, 28, 219–236.
24. Grusec, J. E. (2006). The development of moral behavior and conscience from a socialization perspective. In M. Killen, J. G. Smetana (eds.). *Handbook of moral development*, 243–265. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publ.
25. Grusec, J. E., Davidov, M., Lundell, L. (2002). Prosocial and helping behavior. In P. K. Smith, C. H. Hart (eds.). *Blackwell Handbook of Childhood Social Development*, 457–474. Malden, MA: Blackwell Publ.
26. Hay, D. (1979). Cooperative interactions and sharing between very young children and their parents. *Developmental Psychology*, 6, 647–658.
27. Hay, D. F., Cook, K. V. (2007). The transformation of prosocial behavior from infancy to childhood. In C. E. Brownelland, C. B. Kopp (eds.). *Socioemotional development in the toddler years: Transitions and transformations*, 100–131. New York: Guilford Press.
28. Hay, D. F., Murray, P. (1982). Giving and requesting: social facilitation of infant's offers to adults. *Infancy Behavioral Development*, 5, 301–310.
29. Hay, D.F., Caplan, M., Castle, J., Stimson, C. A. (1991). Does sharing become increasingly "rational" in the second year of life? *Developmental Psychology*, 27(6), 987–993.
30. Henrich, J., Boyd, R., Bowles, S., Gintis, H., Fehr, E., Camerer, C., et al. (2005). 'Economic Man' in cross-cultural perspective: ethnography and experiments from 15 small-scale societies. *Behavioral & Brain Science*, 28, 795–855.
31. Hoffman, M. L. (1975). Developmental synthesis of affect and cognition and its implications for altruistic motivation. *Developmental Psychology*, 11(5), 607–622.
32. Hoffman, M. L. (2007). The origins of empathic morality in toddlerhood. In C. E. Brownelland, C. B. Kopp (eds.). *Socioemotional development in the toddler years: Transitions and transformations*, 132–145. New York: Guilford Press.

33. Imbens-Bailey, A., Pan, B. A. (1998). The pragmatics of self- and other-reference in young children. *Social Development*, 7(2), 219–233.
34. Kitcher, P. (1998). Psychological altruism, evolutionary origins, and moral rules. *Philosophical Studies*, 89, 283–316.
35. Liszkowski, U., Carpenter, M., Striano, T., Tomasello, M. (2006). 12- and 18-month-olds point to provide information for others. *Journal of Cognition and Development*, 7(2), 173–187.
36. Mascolo, M.E., Fischer, K. W. (2007). The codevelopment of self and sociomoral emotions during the toddler years. In C. E. Brownelland, C. B. Kopp (eds.). *Socioemotional development in the toddler years: Transitions and transformations*, 66–99. New York: Guilford Press.
37. Maurer, D., Barrera, M. (1981). Infants' perception of natural and distorted arrangements of a schematic face. *Child Development*, 52, 196–202.
38. Moore C. (2007). Understanding self and others in the second year. In C. E. Brownelland, C. B. Kopp (eds.). *Socioemotional development in the toddler years: Transitions and transformations*, 43–65. New York: Guilford Press.
39. Moore, C. (2006). *The development of commonsense psychology*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publ. 248 p.
40. Piliavin, J. A., Charng, H. W. (1990). Altruism: A review of recent theory and research. *Annual Review of Sociology*, 16, 27–65.
41. Rheingold, H. L., Hay, D. F., West, M. (1976). Sharing in the second year of life. *Child Development*, 47, 1148–1159.
42. Rheingold, H. L. (1982). Little children's participation in the work of adults, a nascent prosocial behavior. *Child Development*, 53(1), 114–125.
43. Schmidt, M. F., Sommerville, J. A. (2011). Fairness expectations and altruistic sharing in 15-month-old human infants. *PLoS ONE*, 6(10). DOI: 10.1371/journal.pone.0023223.
44. Silk, J. B., House, B. R. (2011). Evolutionary foundations of human prosocial sentiments. *Proceedings of the National Academy of Science. U.S.A*, 108 (Suppl. 2), 10910–10917.
45. Sloane, S., Baillargeon, R., Premack, D. (2012). Do infants have a sense of fairness? *Psychological Science*, 23, 196–204.
46. Smiley, P. A. (2001). Intention understanding and partner-sensitive behaviors in young children's peer interactions. *Social Development*, 10(3), 330–354.
47. Smith, C. E., Blake, P. R., Harris, P. L. (2013). I should but I won't: Why young children endorse norms of fair sharing but do not follow them. *PLoS ONE*, 8(8). DOI: 10.1371/journal.pone.0059510.
48. Sommeville, J. A., Schmidt, M. F., Yun, J. E., Burns, M. (2013) The development of fairness expectations and prosocial behavior in the second year of life. *Infancy*, 18, 40–66.
49. Stevens, J. R., Hauser, M. D. (2004). Why be nice? Psychological constraints on the evolution of cooperation. *Trends in Cognitive Sciences*, 8 (2), 60–65.
50. Svetlova, M., Nichols, S. R., Brownell, C. A. (2010). Toddler's prosocial behavior: From instrumental to empathic and altruistic helping. *Child Development*, 81, 1814–1827.
51. Thompson, R. A., Newton, E. K. (2013). Baby altruists? Examining the complexity of prosocial motivation in young children. *Infancy*, 18, 120–133.
52. Tomasello, M. (2008). *Origins of human communication*. Cambridge, MA: MIT Press. 408 p.

53. Vaish, A., Carpenter, M., Tomasello, M. (2009). Sympathy through affective perspective taking and its relation to prosocial behavior in toddlers. *Developmental Psychology*, 45(2), 534–543.
54. Walker-Andrews, A. S., Dickson, L. R. (1997). Infant's understanding of affect. In S. Hala (ed.) *The development of social cognition*, 161–186. Hove: Psychology Press.
55. Warneken, F., Tomasello, M. (2006). Altruistic helping in human infants and young chimpanzees. *Science*, 311, 1301–1303.
56. Warneken, F., Tomasello, M. (2007). Helping and cooperation at 14 months of age. *Infancy*, 11(3), 271–294.
57. Warneken, F., Tomasello, M. (2008). Extrinsic rewards undermine altruistic tendencies in 20-month-olds. *Developmental Psychology*, 44(6), 1785–1788.
58. Warneken, F., Tomasello, M. (2009). Varieties of altruism in children and chimpanzees. *Trends of Cognitive Science (Regul. Ed.)*, 13, 397–402.
59. Woodward, A. L. (1988). Infants selectively encode the goal object of an actor's reach. *Cognition*, 69(1), 1–34.
60. Young-Browne, G., Rosenfeld, H. M., Horowitz, F. D. (1977). Infant discrimination of facial expressions. *Child Development*, 48, 555–562.
61. Zahn-Waxler, C., Radke-Yarrow, M. (1990). The origins of empathic concern. *Motivation and Emotion*, 14(2), 107–130.
62. Zahn-Waxler, C., Radke-Yarrow, M., Wagner, E., Chapman, M. (1992a). Development of concern for others. *Developmental Psychology*, 28(1), 126–136.
63. Zahn-Waxler, C., Robinson, J. L., Emde, R. N. (1992b). The development of empathy in twins. *Developmental Psychology*, 28(6), 1038–1047.
64. Zaki, J., Mitchell, J. P. (2013). Intuitive prosociality. *Current Directions of Psychological Science*, 22, 466–470.

PROSOCIAL DEVELOPMENT IN TODDLERHOOD

Yudina, Tatiana O.

Postgraduate

Kotova, Tatyana N.

PhD (Candidate of Science in Psychology), Senior Researcher

E-mail: tkotova@gmail.com

*Cognitive Research Lab, School of Advanced Studies in the Humanities,
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-96-47*

Abstract. The paper presents an overview of current research on the specific prosocial development within the toddlerhood period. We have analyzed three studied types of possible helping behavior in the early period of life: instrumental helping, sharing and empathy. The ability to help others in reaching and bringing objects, i.e., instrumental helping, appears at the beginning of the second year of life and develops rapidly through its second half [Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Sharing or altruistic behavior emerges later on in the range of 18-24 months [Brownell et al. 2013], however, often in limited forms, for example, after another's clear articulation of wants [Brownell et al. 2009; 2013]. At last, empathetic behavior as a prosocial act appears in the ontogenesis [Dunfield, Kuhlmeier 2013]. At the same time, the child is able to produce empathetic help only in situation of an evident reason for the other's negative-emotional state [Svetlova et al. 2010; Dunfield et al. 2011]. As a whole, current research data in this field show us that the ability for instrumental helping prevails within prosocial development in early childhood, while sharing and empathetic acts are rather limited in this age and often depend on a number of special factors.

Keywords: Prosocial behavior, empathy, instrumental helping, sharing, altruism, toddlerhood.

YUDINA, T. O., KOTOVA, T. N. (2015) PROSOCIAL DEVELOPMENT IN TODDLERHOOD. SHAGI / STEPS, 1 (1), 108–121

В. М. АЛЛАХВЕРДОВ, М. В. АЛЛАХВЕРДОВ

Аллахвердов Виктор Михайлович
доктор психол. наук, профессор,
заведующий кафедрой общей психологии
E-mail: vimiall@gmail.com

Аллахвердов Михаил Викторович
канд. психол. наук, ассистент
E-mail: m.allakhverdov@smolny.org

Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, Санкт-Петербург, 199036, Университетская наб., 7/9
Тел.: +7 (812) 328-94-13

О ЧЕМ ПРОЩЕ НЕ ДУМАТЬ? (О ПРИРОДЕ СТРУП-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ)¹

Аннотация. В работе предлагается обзор классических исследований струп-интерференции, связанных с семантической нагруженностью игнорируемого слова. Рассматриваются стандартные интерпретации и обсуждается, почему эти интерпретации не выдерживают эмпирической проверки. По мнению авторов, интерференция возникает как результат работы сознания в процессе проверки правильности выполнения задания игнорировать автоматически совершаемые операции. Сформулировано несколько следствий такого подхода. В частности, усложнение игнорируемого задания должно приводить к увеличению интерференции. Поэтому чем сильнее семантически нагружен предъявляемый текст, который требуется игнорировать, тем больше будет величина интерференции при назывании цвета, которым этот текст написан.

Ключевые слова: логика познания, семантическая нагруженность, интерференция, струп-феномен.

¹ Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, № 13-06-00535а.

Введение

В 1935 г. Дж. Р. Струп в процессе работы над своей диссертацией обнаружил неожиданный эффект. Он опубликовал о нем две статьи в 1935 и 1938 гг., но затем перестал заниматься психологией [Jensen 1981]. Долгие годы он был профессором Библии в Липскомбском колледже (г. Нэшвилл, Теннесси), не подозревая, что его тест широко используется, а его работы по описанию феномена стали одними из самых цитируемых произведений по психологии. Когда Струп об этом узнал, он был краток: «Рад, что тест нашли полезным». Дж. Струп умер 1 сентября 1973 г. в возрасте 76 лет.

На сегодняшний день, согласно базам данных WoS, количество цитирований статьи Струпа 1935 г. превышает 6500. Об открытом им феномене регулярно публикуются обширные обзорные статьи [Jensen, Rowher 1966; Dyer 1973; MacLeod 1991; и др.]. Тест Струпа получил широкое применение как методика для диагностики гибкости когнитивного контроля и способности к переключению внимания [Allport et al. 1994; Kiesel et al. 2010; Dreisbach, Fischer 2012; и др.], нейропсихологической диагностики [Silton et al. 2010; Yanagisawa et al. 2010; и др.], диагностики различных психических расстройств и психопатологий (обзор последних исследований представлен в: [Yiend 2010; Сысоева 2014]). Нам известно, что в России, например, он используется даже для отбора диспетчеров железнодорожного транспорта. Говорят, что в период маккартизма американские спецслужбы с помощью теста Струпа пытались выявлять русских шпионов. Разработано море модификаций. А сам обнаруженный феномен подтверждался — редчайший случай в психологии — во всех проводимых исследованиях.

Тем не менее до сих пор нет ясной теоретической интерпретации природы интерференции вообще и струп-интерференции в частности. Теоретические описания обычно выглядят так, будто несколько информационных потоков конкурируют друг с другом за захват ограниченного пространства или ограниченных ресурсов, а в результате происходит наложение этих потоков друг на друга (интерференция), ведущее к замедлению в осознании части поступающей информации и к появлению ошибок перепутывания. Такое представление, однако, выглядит странным. Ведь практически во всех случаях, когда регистрируются явления интерференции, испытуемому дается основное задание, в котором указывается, что он должен делать, а добавляется лишь весьма специфическое задание, содержащее единственное требование — нечто игнорировать. Интерференционные феномены демонстрируют тем самым оригинальный факт: человек в некоторых ситуациях не способен безошибочно справиться с заданием, которое заключается в том, что его выполнять не надо.

В данной статье мы сделаем обзор классических исследований, выполненных в струп-парадигме, и покажем, что увеличение семантической насыщенности текста, который не надо читать, ведет к увеличению

струп-интерференции. А затем рассмотрим такую интерпретацию природы этой интерференции, логическим следствием которой и будет этот результат.

Классический струп-тест: история создания и интерпретация

Все началось за полвека до исследований Струпа. Дж. Кэттелл [Cattell 1886], работавший в лаборатории В. Вундта, обнаружил, что испытуемым (их у него было всего 9) требуется в два раза больше времени, чтобы назвать объект или цвет, чем прочесть слово, его обозначающее (0,5 с против 0,25 с). А на распознавание объекта или цвета испытуемому, наоборот, требуется меньше времени, чем на чтение. Исследования Кэттела вызвали волну последующих экспериментов (см. обзор: [MacLeod 1991]), но объяснения обнаруженного феномена, которое бы удовлетворило всех ученых, получить не удалось. Э. Йенш [Jaensch 1929] в Марбурге первым создал перцептивный конфликт, придумав ситуацию, когда предъявляемый испытуемому стимульный материал требовал от него прямо противоположного ответа.

Струп тоже решил создать перцептивный конфликт, используя слова и цвета; слова, обозначающие цвет, были написаны другим, не конгруэнтным цветом (например, слово *синий* было написано красными чернилами). Все подобные стимулы позднее стали называться струп-стимулами. Струп использовал пять цветов: красный, зеленый, синий, коричневый и фиолетовый. Сто слов, обозначающих эти цвета, были написаны черным цветом и предъявлялись на карте (далее — **W-карта**). На другой карте предъявлялось сто струп-стимулов (**CW-карта**).

В первом эксперименте 70 испытуемым предлагалось выполнить два теста. В одном тесте задача была читать названия цветов на **W-карте**, а в другом — на **CW-карте**. Испытуемые должны были выполнить задание как можно быстрее. Экспериментатор регистрировал время, затраченное на прочтение слов, и количество ошибок. Полученные результаты показали, что, несмотря на то что чтение **CW-карты** в среднем занимает на 2,5 секунды больше, чем чтение **W-карты** (43,30 с и 41,00 с соответственно), это различие не было статистически значимым. Количество ошибок было минимальным (24 на всех испытуемых, т. е. на 14 тыс. проб), поэтому в данном случае сам Струп позволил себе этим пренебречь [Stroop 1935: 648]. Позднее многие авторы получали аналогичный результат. Например, результаты, приводимые МакЛеодом [MacLeod 1991], очень схожи с описанными Струпом в 1935 г. На чтение **CW-карты** у 50 испытуемых в среднем уходило 41,58 с, а на чтение **W-карты** — 41,16 с.

Однако наибольшую известность получил второй эксперимент, в котором испытуемым предъявлялась **CW-карта** и ставилась задача не читать слов, называть цвет, которым слово написано. В качестве контроля использовалась **C-карта**, где все сто символов были цветными квадратами. Задача — как можно быстрее назвать цвет каждого квадрата. В эксперименте приняло участие 88 человек. Испытуемые выполняли задание на **CW-карте**

в среднем за 110,3 с, а на **С-карте** — всего за 63,3 с. Другими словами, испытуемому требовалось в среднем на 74% больше времени, чтобы назвать цвет чернил, которым написано слово, обозначающее другой цвет, чем просто назвать цвет небольшого квадрата. Увеличение во времени показали 99% всех испытуемых [Stroop 1935]. Этот эффект и получил название перцептивной, или струп-интерференции.

Струп объяснял полученный эффект так: чтение является для человека более привычной и автоматизированной активностью, чем называние цвета, поэтому для того чтобы не читать напечатанные слова, а называть цвет шрифта, человек должен совершать волевое усилие — это и приводит к интерференционной задержке. Для проверки этого предположения он провел еще один эксперимент, о существовании которого, как утверждает МакЛеод [MacLeod 1991], мало кто вспоминает.

Эксперимент длился две недели. В первые три дня испытуемые выполняли только контрольные задания: в первый день читали слова на W-картах, во второй — на CW-картах и в третий называли цвета на С-картах. С 4-го по 11-й день испытуемые называли цвета на CW-картах. На 12-й день они снова называли цвета на С-картах для оценки изменения величины интерференции (разность времени называния цвета на CW-карте и на С-карте²). Результаты показали, что у участников в процессе тренировки время называния цветов на CW-карте последовательно уменьшается с 49,6 до 32,8 с (в этом эксперименте вычислялось среднее по 50 стимулам). И, наконец, на 13-й и 14-й дни Струп предусмотрительно снова давал испытуемым задание чтения **CW-карты**. Обнаружилось, что при выполнении этого задания на 13-й день результаты испытуемых, наоборот, ухудшились (с 19,4 с во второй день до 34,8 с в 13-й день). Впоследствии этот феномен получил название «обратный эффект Струпа». Правда, испытуемые быстро возвращались к стандартным показателям, так, на чтение CW-карты на 14-й день им снова требовалось 22 с.

Таким образом, Струп, казалось бы, подтвердил свою интерпретацию. Если тренировать испытуемого называть цвет на CW-карте, то возрастает навык называния цвета — и интерференция падает. Правда, одновременно интерференция возрастает, когда надо читать эту карту. Но неужели от того, что в течение восьми дней надо было не читать по 200 слов, уменьшается навык чтения? Что-то тут не так!

Трагедия интерпретации

Интерпретация Струпа не прошла экспериментальную проверку. Величина интерференции у маленьких детей, едва научившихся читать, оказалась существенно больше, чем у взрослых испытуемых, хотя сила привыч-

² Величину интерференции вычисляют по-разному — чаще всего (но не только) как разность (иногда результат деления) времени называния цвета на CW-карте и на С-карте (см.: [Jensen, Rowher 1966]). В данной статье, если не указано иное, интерференция будет рассчитываться именно так.

ки к чтению у детей, очевидно, меньше. Также оказалось, что школьная успеваемость, уровень образования взрослых отрицательно коррелируют с величиной интерференции. И у детей с дислексией эффект интерференции выражен гораздо сильнее по сравнению с их сверстниками, не страдающими этим недугом. А. Протопапас, А. Арконтис и Х. Скалумбакас подвели итог многочисленным исследованиям в статье под характерным названием «Навык к чтению отрицательно связан со струп-интерференцией» [Protopoulos et al. 2006].

Возникла модель «лошадиных гонок» (см. обзор: [Dunbar, MacLeod 1984]) — пусть существует много каналов поступающей информации и только один канал для выхода информации. (Отметим, что выход осознается человеком, следовательно, существенную роль должна играть работа сознания, но о нем авторы модели не говорят ничего, лишь иногда стыдливо упоминая внимание без каких-либо указаний на то, что именно оно делает.) Тогда на выход подается прежде всего информация с того входного канала, в котором она быстрее обрабатывается. (Если на эту информацию не надо обращать внимания, то зачем она обрабатывается? Если всегда обрабатывается любая информация — что, кстати, соответствует нашему мнению, — то надо признать, что человек одновременно обрабатывает огромное количество разнообразной информации. Тогда с какой стати именно отвергнутая информация, а не какая-нибудь иная, быстрее передается на выход?) Далее утверждается: поскольку человек быстрее читает слова, чем называет соответствующие цвета, на выход быстрее приходит результат чтения, а потому, когда надо называть цвет, а не читать, и наблюдается сильная интерференция. (В этом утверждении нет логики. Во-первых, неведомо, почему выделены канал чтения слов и канал называния цвета, а не какие-либо другие каналы, например, канал чтения буквы «а» или канал называния цвета, предъявленный в левую половину зрительного поля? Но главное, если уж быстрее обрабатывается информация по каналу чтения, то она и должна быть на выходе. Но тогда нет никакой интерференции! Если же на выход передается все же и то и другое, то все равно надо объяснить, почему более отработанный навык, который заведомо не надо осуществлять, может мешать другому процессу?)

Неудивительно, что при такой логической невнятности модель «лошадиных гонок» не соответствует экспериментальным данным. Будем предъявлять струп-стимулы асинхронно: сначала цветное пятно, и только потом написанное этим цветом слово, обозначающее неконгруэнтный цвет. В этом случае обработка цветового сигнала получает явное преимущество по скорости. Но интерференция сохраняется. При определенном временном интервале должен был бы даже обнаруживаться обратный эффект, когда называние цвета мешает прочтению слова, однако такой результат ни в одном эксперименте получить не удалось [MacLeod 1991].

Современные коннекционистские модели интерференции выглядят более сложными: рассматриваются длинные цепочки параллельных путей,

активация многих элементов, нелинейные зависимости и т. п. [Cohen et al. 1990; Roelofs 2003; Melara, Algom 2003]. По своей идеологии, тем не менее, даваемые объяснения мало чем отличаются от предшествующих попыток. Интерференция в этих моделях возникает, потому что два одновременно активных пути пересекаются в одном элементе и продуцируют два конфликтующих ответа, во всех моделях возникает борьба этих двух ответов за выход в некий узкий канал. Как только получаются новые экспериментальные данные, они тут же показывают ограниченность построенных моделей. По утверждению Л. Алгома и коллег [Algom et al. 2010], такие модели, возможно, хорошо описывают классическую струп-парадигму, но совершенно бесполезны при описании «медленного» эффекта при эмоциональном струпе-тесте (подробнее об этом далее).

Вот что не поддается объяснению: казалось бы, чем сложнее основная задача, тем сильнее должна расти интерференция. Ведь тогда еще слабее привычка к ее выполнению (объяснение по Струпу), тем меньше скорость ее решения (объяснение по модели «лошадиных гонок»), тем реже прокладываются пути ее решения (коннекционистские модели). Однако все происходит наоборот — интерференция уменьшается (см. обзор исследований в: [Аллахвердов, Аллахвердов 2014]). Приведем пример. Различение оттенков одного цвета — более трудная и более редкая задача, чем различение цветов, обычно применяемых в тесте Струпа. Ф. Дайер [Dyer 1973] использовал в качестве стимулов оттенки серого и получил снижение интерференции. С. И. Крушинская [Крушинская 2001] использовала оттенки желтого — и тоже получила уменьшение интерференции.

Еще один удар по стандартным интерпретациям — влияние семантической сложности и значимости игнорируемого текста на величину интерференции. Казалось бы, чем сложнее игнорируемая задача, тем проще ее не делать. Уважаемый читатель, продолжая читать этот текст, пожалуйста, не возводите число 745 в куб. Согласитесь, что эту просьбу достаточно легко выполнить. А если мы попросим вас ни в коем случае не складывать 2 и 3, то вряд ли кому-нибудь удастся не получить ответ 5. Однако в струпе-парадигме оказывается, что все это совсем не так.

Модификации струпа-элементов: использование нецветовой семантики в игнорируемом задании

Одно из первых направлений, которое получило развитие после Струпа, связано с попыткой получить интерференционный эффект при использовании других слов. Пионерской работой в этом направлении стали эксперименты Дж. Клейна [Klein 1964]. Испытуемым стандартно предлагалось называть цвет, которым написано слово, не читая самих слов. Использовались шесть вариантов стимулов, написанных разными цветами: А — бессмысленные комбинации букв (hjh, evgjc, bhdr, gsxrq), В — редкие слова английского языка (sol, helot, eft, abjur), С — частые слова английского языка (put, heart, take, friend), D — слова, которые не являются названиями-

ми цветов, но ассоциативно с ними связаны (lemon, grass, fire, sky), E — слова, обозначающие цвета, которые не использовались для написания слов (tan, purple, grey, black), F — **обычные струп-стимулы**. Для контроля использовалась С-карта, по которой испытуемому нужно было называть цвет наборов значков-астерисков. На всех картах предъявлялось по 80 стимулов.

Данные, полученные Клейном на 90 испытуемых, показали, что наибольшая разность обнаруживается в случае классических струп-стимулов (37,43 с). При условии E разница была уже 18,14 с, при условии D — 15,49 с, при условии C — 11,79 с, при условии B — 7,58 с. Бессмысленные сочетания букв вызвали наименьшую интерференцию — всего 5,30 с. Похоже, что на величину интерференции влияет как сходство игнорируемого текста с результатом выполнения основного задания, так и большая осмысленность и значимость игнорируемых слов.

Работа Клейна повлекла за собой множество исследований. Более того, величина интерференции даже начинает использоваться как психометрическая оценка ассоциативных связей слова или активации его значений. Так, Р. Уоррен [Warren 1972] в своей диссертации в качестве операционализации наличия активации ассоциативных связей у слова прямо использовал время называния цвета, которым написано это слово. Уоррен утверждал: чем больше это время, тем выше активация у этого слова.

Каждая проба в его эксперименте состояла из трех стадий. На первой стадии 12 испытуемым предлагалось перед выполнением основного задания или экспериментальное условие — прослушать список из трех слов из одной категории (например, *кошка, собака, лошадь*), или контрольное условие, при котором испытуемому сообщалось: «В этом задании нет списка слов». На второй стадии испытуемому предъявлялись разные струп-стимулы: релевантное слово (предъявленное в списке на первой стадии перед данной пробой, например, *лошадь*), или название релевантной категории для слов первой стадии (например, *животные*), нерелевантное слово (относящееся к одному из списков, которые предъявлялись в других пробах, например, *доктор*), или название нерелевантной категории (например, *профессия*), нейтральное слово (не встречающееся ни в одном списке), или набор знаков «XXXXXX». На третьей стадии для контроля испытуемые воспроизводили как можно больше слов, предъявленных на первой стадии (всего 1,5% ошибок на всех испытуемых). После этого через 0,15 с начиналась новая проба.

Экспериментальные данные подтвердили ожидания Уоррена. Наибольшая интерференция возникала при назывании цвета релевантного слова, как при сравнении с контрольным условием для этого слова (разность — 113 мс), так и при сравнении с нейтральным словом для экспериментального условия (разность — 93 мс) и набором знаков «XXXXXX» (разность — 154 мс). Повидимому, чем больше для испытуемого семантически нагружены слова, тем больше уровень интерференции.

К. Конрад [Conrad 1974] в своих исследованиях использовала предложения, которые содержали многозначные слова или слова-омонимы (например, *nickel*³ или *pot*⁴). Испытуемым предлагалось прослушать предложение, в котором задавался контекст для однозначного понимания омонима. Само многозначное слово находилось или в начале предложения, или в конце предложения, или вообще отсутствовало. После чего испытуемым тут же предъявлялся струп-стимул с этим многозначным словом. Интерференция была больше в том случае, когда многозначное слово стояло в конце предложения, т. е. когда при предъявлении этого слова уже был определен контекст, задающий его однозначное понимание. Предъявление в качестве струп-стимула одного из значений омонима (например, для *никеля* — слова *деньги* или *металл*) давало значимо большую интерференцию в сравнении с использованием струп-стимула с другим значением.

Но, пожалуй, самые изящные результаты влияния семантической сложности и значимости информации на величину интерференции получил Л. Е. Осипов [Аллахвердов, Осипов 1983; Осипов 1992]. В его эксперименте на модифицированной **СW-карте** были написаны не слова, а **четырёхзначные** числа. Была зарегистрирована небольшая интерференция (по сравнению со стандартной **С-картой**). Но если числа на **СW-карте** были семантически насыщены для испытуемых (значимые даты для русских испытуемых: 1812, 1941 и т. д.), величина интерференции увеличивалась вдвое. В другом эксперименте предъявлялись строки из известных поэтических произведений («Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и т. п.), написанные на струп-элементах, где в каждой клетке таблицы Струпа стояли идущие подряд слова или фрагменты длинных слов, которые были написаны разными цветами. В этом случае Осипов получил максимальное значение величины интерференции из всех известных нам семантических модификаций — 86% от величины интерференции в стандартной методике Струпа.

Использование нецветовых струп-стимулов в основном задании

Другой подход к изучению влияния семантической нагрузки на величину интерференции был получен в работах Р. Росински. Испытуемым предъявлялись слова, размещенные внутри рисунка, схематично изображающего тот или иной объект. Это мог быть конгруэнтный стимул (например, слово *курица* внутри изображения курицы) или неконгруэнтный струп-стимул (например, слово *замок* внутри изображения шапки). Такая вариация теста Струпа, по мнению Росински, позволяет проверить гипотезы об автоматической семантической обработке информации как причины возникновения интерференции.

³ Слово *nickel* в английском языке имеет два значения, одно связано с деньгами (монета 5 центов), другое — с металлом (собственно никель). Важно отметить, что американцы, на которых проводилось исследование, чаще используют слово для обозначения монеты.

⁴ *Pot* является словом-омонимом. Первое значение — ‘горшок’, второе — ‘марихуана’. Американцы гораздо чаще используют слово в первом значении.

Для исследования этого предположения Росински с коллегами [Rosinski et al. 1975] провели исследование на 24 второклассниках со средним и выше среднего навыком чтения, 24 шестиклассниках и 24 студентах университета. Каждая возрастная группа была разбита пополам. Одной половине давалась карта «картинка-слово» с заданием читать слова, не обращая внимания на изображения (в разминочной пробе предъявлялась карта только со словами), а второй половине — с заданием называть изображенный объект, не читая слов (в разминочной пробе предъявлялась карта только с изображениями). Каждый испытуемый затем выполнял основное задание в трех разных экспериментальных условиях: 1) когда все предъявленные стимулы были конгруэнтными, 2) когда половина стимулов была конгруэнтной и 3) когда все стимулы были неконгруэнтными. Полученные данные показали статистически значимые различия по всем переменным. Так, время выполнения задания отличалось в зависимости от возраста испытуемых, типа задания и предъявляемой карты. Наибольшая интерференция была обнаружена у второклассников в задаче называть изображения, игнорируя слово при условии наличия неконгруэнтных стимулов (условия 2 и 3). С увеличением возраста интерференционные эффекты хоть и уменьшались, но все равно были обнаружены. В дальнейшем Росински с коллегами [Rosinski 1977] провел еще одно исследование, в котором показал, что если неконгруэнтный стимул содержит слово, которое принадлежит к той же категории, что и целевая картинка (например, слово *лев* на изображении свиньи), то величина интерференции оказывается больше, по сравнению со случаем, когда слово принадлежит к другой категории (например, слово *чашка* на изображении свиньи). Так, для взрослого испытуемого разница во времени выполнения двух карт составляет около 5 с.

С. Люпкер уверяет, что природа интерференции в тесте Росински и в классическом тесте Струпа одинакова, она связана с конкуренцией ответов, а потому оба эти теста являются «двумя сторонами одной монеты» [Lupker 1979: 494]. В своих исследованиях с использованием теста «картинка-слово» во всех случаях наблюдался эффект интерференции по сравнению с выполнением теста, в котором предъявлялись изображения без слов или изображения с несуществующими словами.

Продолжением исследований влияния семантической нагруженности игнорируемого слова в модификации «картинка-слово» стали эксперименты К. Райнера и К. Спрингер [Rayner, Springer 1986]. Они использовали одно контрольное условие, в котором предъявлялось только изображение, и девять экспериментальных условий, отражающих различные сочетания семантических и графических характеристик слов. В согласии с результатами Росински и Люпкера, большая задержка обнаруживалась при предъявлении слов, относящихся к той же категории, что и предъявленное изображение. Наибольший эффект при сохранении семантической категории обнаруживается, когда слово ни формой, ни первой буквой не похоже на название изображения.

Эмоциональный струп-тест

Эмпирические факты о влиянии семантической нагруженности предъявляемых стимулов на величину интерференции повлекло за собой развитие струп-парадигмы в диагностическом ключе. К. Рэй [Ray 1979] продемонстрировала, что студенты при подготовке к экзаменам затрачивали больше времени на выполнение теста Струпа, если им нужно было игнорировать слова, связанные с экзаменами, по сравнению с нейтрально окрашенными словами. Более того, интерференция была тем больше, чем сильнее студент волновался и переживал из-за предстоящего экзамена. За этой публикацией последовало огромное количество исследований различных психических состояний и расстройств (подробный обзор можно найти в [Williams et al. 1996]). В итоге эта модификация классического теста получила название «Эмоциональный струп-тест» (ЭСТ). Вообще говоря, эмоциональная насыщенность слова является частным случаем семантической насыщенности. Тогда понятно, почему люди, склонные к самоубийству, дольше игнорируют слова, связанные с темой самоубийства (ср. [Зотов 2011]).

Однако исследования с помощью ЭСТ позволили задуматься о природе струп-интерференции вообще, поскольку была обнаружена разница в так называемых «быстром» и «медленном» эффектах интерференции. Считается, что «быстрый» (его еще называют online) эффект означает, что интерференция происходит непосредственно на той пробе, в которой используется струп-стимул, в то время как «медленный» эффект предполагает, что интерференция от предъявленного струп-стимула обнаруживается во времени реакции на последующих пробах. Исследования Ф. МакКенны и Д. Шармы [McKenna, Sharma 2004] демонстрируют этот «медленный» эффект. Они предъявляли испытуемым набор слов в псевдослучайной последовательности таким образом, чтобы за целевым словом следовало шесть нейтральных слов. Само целевое слово могло относиться к одной из трех групп: позитивные слова (например, *успех, чудо, удача*), негативные слова (например, *грусть, неудача, самоубийство*) и названия транспортных средств (например, *самолет, паром, автобус*). Последняя группа была включена в качестве контрольного нейтрального условия. В начале эксперимента испытуемым сообщалось, что они будут проходить тест на восприятие цвета. Им давалась стандартная инструкция струп-парадигмы: не читая слов, нажимать клавишу на клавиатуре, соответствующую цвету чернил, которыми написано слово. Перед началом работы участникам также сообщалось, что им будут предъявляться реальные слова, однако не давалось никакой информации об их эмоциональной окраске. В ходе анализа полученных данных МакКенна и Шарма обнаружили, что наибольшая интерференция возникает на следующем слове после предъявления негативного слова, а после предъявления целевых слов из других групп интерференции не было. Более того, авторы не обнаружили явных доказательств в поддержку «быстрого» эффекта: время реакции на негативные,

позитивные или контрольные слова статистически значимо не различаются, однако скорость ответа минимальна в случае негативных слов и максимальна при предъявлении позитивных слов.

В результате часть ученых начинает предполагать, что ЭСТ и классический струп-тест различны по своей природе [Algom et al. 2010] и что разница между ними обнаруживается как раз в проявлении этих двух эффектов. Мол, классический феномен Струпа принято относить к феноменам внимания [MacLeod 1991], в то время как эмоциональная интерференция возникает в результате подавления негативного, угрожающего сигнала. Логика, конечно, странновата. Ведь для подавления негативного стимула его все равно надо вначале прочесть, а читать-то как раз и не нужно. В этом вообще вся проблема! Впрочем, для Алгома с коллегами этой проблемы не существует. Интерференция для них — это разница во времени между реакцией на конгруэнтный и неконгруэнтный стимулы. А потому они, прежде всего, смело превращают теоретическую проблему в методическую: поскольку в эмоциональном тесте конгруэнтный стимул по факту невозможен, то там и должны работать другие процессы. Для подтверждения своих предположений авторы в шести экспериментах показывают, что выполнение любого из двух заданий (называние цвета и чтение слов) при различных условиях будет медленнее при предъявлении негативно окрашенных слов. В свою очередь Р. Фаф [Phaf, Kan 2007] получил данные, что в классическом струп-феномене присутствуют оба эффекта, в то время как в ЭСТ наблюдается только «медленный» эффект.

Обсуждение

Очевидно, что выполнение двух задач обычно сложнее, чем одной. Человек совершает гораздо больше ошибок и гораздо медленнее реагирует, если во время управления автомобилем он говорит по телефону. Но интерференция возникает в совсем другой ситуации, когда одну из двух задач выполнять не надо. Почему же она возникает?

Мы склоняемся к такому объяснению [Аллахвердов, Осипов 1983; Аллахвердов 1993; Аллахвердов, Аллахвердов 2014]. Все задачи автоматически обрабатываются мозгом, и никакой интерференции в принципе не возникает и не может возникнуть. Некоторые из этих задач ставятся (или принимаются, как в случае выполнения заданной экспериментатором инструкции) сознанием. Само сознание не имеет сенсорных каналов, не владеет языком моторных команд, а потому самостоятельно выполнить ни одну из поставленных задач не может. Но именно оно руководит работой нижележащих отделов организма, определяет, что именно они должны делать, и проверяет, выполняется ли то задание, которое оно поставило.

Что же произойдет, если сознание получит команду не делать какое-то задание? Если требуется не совершать действий, которые мозг, тем не менее, совершает автоматически, без всякого контроля сознания,

то мозг эти действия все равно совершит, он просто не будет доводить их результат до осознания. Но лишь только сознание начинает проверять правильность выполнения задачи неделания того, что мозг делает автоматически, как результат неизбежно попадет в сознание. (Как известно, выполнить инструкцию «не думайте об обезьяне» никому не удастся.) Человек в тесте Струпа получает задание «называть цвет, не читая слов», т. е. не осуществлять процесс чтения. Как только сознание начнет проверять, а читаю ли я, сразу же произойдет сбой. Интерференция — не наложение друг на друга каких-то неведомых процессов, осуществляемое непонятно зачем. Интерференция — это следствие сличения результатов автоматически осуществляемых операций с осознанным требованием эти операции не осуществлять. Отсюда следует (подробнее см.: [Аллахвердов, Аллахвердов 2014]) ряд экспериментально проверенных положений.

1) Ослабление сознательного контроля над выполнением задачи игнорирования снижает интерференцию. Действительно, медитация, гипнотическое внушение и т. п. ведут к сильному уменьшению интерференции. Наконец, чем дольше испытуемый осознанно выполняет какое-либо простое задание, тем скорее сознание перестает контролировать этот процесс. В задаче Струпа это относится к выполнению как основной, так и игнорируемой задачи. Даже при небольшой тренировке интерференция почти полностью исчезает. Стандартные же интерпретации должны предполагать, например, невероятное уменьшение навыка чтения после просмотра всего нескольких сотен струп-стимулов.

2) Чем ближе по смыслу физические и семантические характеристики струп-элементов, тем более строгие критерии необходимы для того, чтобы отличать одно от другого. А чем строже критерии, тем сложнее осуществлять контроль. Поэтому повышение сходства используемых в основной задаче элементов с элементами игнорируемой задачи усложняет процесс контроля над невыполнением последней.

3) Если усложнить основную задачу, то сознание больше времени будет уделять контролю над правильностью ее выполнения и будет реже переключаться на контроль над задачей игнорирования. Следовательно, величина интерференции должна падать. Эта идея, по сути, противостоит всем известным объяснительным концепциям струп-интерференции.

4) Чем сложнее текст, тем дольше протекает процесс контроля над задачей его игнорирования (ведь осознание более сложного текста занимает больше времени). Описанные в статье результаты исследований показывают, что, действительно, чем выше семантическая нагруженность игнорируемого текста, тем больше величина интерференции.

5) Эмоционально насыщенный негативный текст — один из самых сложных и значимых для испытуемых, он дольше всего обрабатывается, поэтому заметнее «медленный» эффект. Никакой особой специ-

фики ЭСТ по сравнению со струп-тестом не следует ожидать. «Медленный» эффект наблюдается и в других струп-парадигмах. Для подтверждения напомним данные Л. Е. Осипова о высокой интерференции при предъявлении связного текста — обнаруженные трудности в игнорировании связного текста, расположенного сразу на нескольких идущих подряд струп-стимулах, возможны только при наличии «медленного» эффекта.

Литература / References

1. Аллахвердов В. М. (1993). Опыт теоретической психологии (в жанре научной революции). СПб.: Печатный двор, 1993. 325 с.
Allakhverdov, V. M. (1993). *Opyt teoreticheskoi psikhologii (v zhanre nauchnoi revoliutsii)* [Experience of theoretical psychology (in the genre of scientific revolution)]. St. Petersburg: Pechatnyi dvor. 325 p. (In Russian).
2. Аллахвердов В. М., Аллахвердов М. В. (2014). Феномен Струпа: интерференция как логический парадокс // Вестник С.-Петербург. ун-та. Сер. 16. 2014. Вып. 4. С. 90–102.
Allakhverdov, V. M., Allakhverdov, M. V. (2014). Fenomen Strupa: interferentsiia kak logicheskii paradoks [Stroop phenomenon: Interference as a logical paradox]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta* [Bulletin of St. Petersburg University], ser. 16, 4, 90–102. (In Russian).
3. Аллахвердов В. М., Осипов Л. Е. (1983). Струп-феномен: новый взгляд на природу перцептивной интерференции // Категории, принципы и методы психологии. Психические процессы. Ч. I. Тезисы научных сообщений к VI Всесоюзному съезду Общества психологов СССР. М.: МГУ, 1983. С. 72–73.
Allakhverdov, V. M., Osipov, L. E. (1983). Strup-fenomen: novyi vzgliad na prirodu pertseptivnoi interferentsii [Stroop phenomenon: A new look on the nature of perceptive interference]. In *Kategorii, printsipy i metody psikhologii. Psikhicheskie protsessy* [Categories, principles, and methods in psychology. Psychological processes]. Part 1. Abstracts of scientific communications at VI All-Union Congress of Association of Psychologists of the USSR, 72–73. Moscow: MGU (In Russian).
4. Зотов М. В. (2011). Механизмы регуляции познавательной деятельности в условиях эмоционального стресса. СПб.: Речь, 2011. 397 с.
Zotov, M. V. (2011). *Mekhanizmy reguliatsii poznavatel'noi deiatel'nosti v usloviakh emotsional'nogo stressa* [Regulatory mechanisms of cognitive activity under emotional stress]. St. Petersburg: Rech'. 397 p. (In Russian).
5. Крушинская С. И. (2001). Зависимость величины Струп-интерференции от сложности основной задачи // Психология XXI века: Тезисы Междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов «Психология XXI века» / Под ред. А. А. Крылова. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2001. С. 6–8.
Krushinskaia, S. I. (2001). Zavisimost' velichiny Strup-interferentsii ot slozhnosti osnovnoi zadachi [Dependence of Stroop interference on the difficulty of the main task]. In A. A. Krylov (ed.). *Psikhologiya XXI veka: Tezisy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii studentov i aspirantov "Psikhologiya XXI veka"* [Psychology of the XXIth century: Abstracts for international conference for students and PhD-students "Psychology of the XXIth century"], 6–8. St. Petersburg: SPSU Publishers. (In Russian).

6. Осипов Л. Е. (1992). **Переработка противоречивой информации в операторской деятельности**: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. СПб., 1992. 18 с.
Osipov, L. E. (1992). *Pererabotka protivorechivoi informatsii v deiatel'nosti* [Processing of contradictory information in operator performance]. *Author's abstract of PhD thesis*. St. Petersburg. 18 p. (In Russian).
7. Сысоева Т. А. (2014). Теоретический анализ механизмов возникновения эмоционального эффекта Струпа // Психология. Журнал Высшей школы экономики. Т. 11. № 1. 2014. С. 49–65.
Sysoeva, T. A. (2014). *Teoreticheskii analiz mekhanizmov vozniknoveniia emotsional'nogo effekta Strupa* [Theoretical analysis of emotional Stroop effect mechanisms]. *Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki* [Psychology. Journal of the Higher School of Economics], 11(1), 49–65. (In Russian).
8. Algom, D., Chajut, E., Lev, S. (2010) A rational look at the emotional Stroop phenomenon: a generic slowdown, not a stroop effect. *Journal of Experimental Psychology: General*, 133(3), 323–338.
9. Allport, D. A., Style, E. A., Hsieh, S. (1994). Shifting intentional set: Exploring the dynamic control of tasks. *Attention and Performance*, 15, 421–452.
10. Cattell, J. M. (1886). The time it takes to see and name objects. *Mind*, 11, 63–65.
11. Cohen, J. D., Dunbar, K., McClelland, J. L. (1990). On the control of automatic processes: A parallel distributed processing account of the Stroop effect. *Psychological Review*, 97(3), 332–361
12. Conrad, C. (1974). Context effects in sentence comprehension: A study of the subjective lexicon. *Memory & Cognition*, 2(1), 130–138.
13. Dreisbach, G., Fischer, R. (2012). Conflicts as aversive signals. *Brain and Cognition*, 78(2), 94–98.
14. Dunbar, K., MacLeod, C. M. (1984). A horse race of a different color: Stroop interference patterns with transformed words. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 10(5), 622–639.
15. Dyer, F. N. (1973). The Stroop phenomenon and its use in the study of perceptual, cognitive, and response processes. *Memory & Cognition*, 1(2), 106–120.
16. Jaensch, E. R. (1929). *Grundformen menschlichen Seins* [Basic forms of human existence]. Berlin: Otto Eisner. 524 p. (In German).
17. Jensen, A. R. (1981). The Stroop color-word test: A review. *Citation Classic Commentaries*, № 39. September 28, 3.
18. Jensen, A. R., Rohwer, W. D. (1966). The Stroop color-word test: A review. *Acta Psychologica*, 25, 36–93.
19. Kiesel, A. et al. (2010). Control and interference in task switching: A review. *Psychological Bulletin*, 136(5), 849–874.
20. Klein, G. S. (1964). Semantic power measured through the interference of words with color-naming. *The American Journal of Psychology*, 77, 576–588.
21. Lupker, S. J. (1979). The semantic nature of response competition in the picture-word interference task. *Memory & Cognition*, 7(6), 485–495.
22. MacLeod, C. M. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. *Psychological Bulletin*, 109(2), 163–203.

23. McKenna, F. P., Sharma, D. (2004). Reversing the emotional Stroop effect reveals that it is not what it seems: the role of fast and slow components. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 30(2), 382–392.
24. Melara, R. D., Algom, D. (2003). Driven by information: A tectonic theory of Stroop effects. *Psychological Review*, 110(3), 422–471.
25. Phaf, R. H., Kan, K. J. (2007). The automaticity of emotional Stroop: A meta-analysis. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 38(2), 184–199.
26. Protopapas, A., Archonti, A., Skaloumbakas, C. (2006). Reading ability is negatively related to Stroop interference. *Cognitive Psychology*, 54(3), 251–282.
27. Ray, C. (1979). Examination stress and performance on a color-word interference test. *Perceptual and Motor Skills*, 49(2), 400–402.
28. Rayner, K., Springer, C. J. (1986). Graphemic and semantic similarity effects in the picture-word interference task. *British Journal of Psychology*, 77(2), 207–222.
29. Roelofs, A. (2003). Goal-referenced selection of verbal action: modeling attentional control in the Stroop task. *Psychological Review*, 110(1), 88–125.
30. Rosinski, R. R. (1977). Picture-word interference is semantically based. *Child Development*, 48, 643–647.
31. Rosinski, R. R., Golinkoff, R. M., Kukish, K. S. (1975). Automatic semantic processing in a picture-word interference task. *Child Development*, 46, 247–253.
32. Siltan, R. L. et al. (2010). The time course of activity in dorsolateral prefrontal cortex and anterior cingulate cortex during top-down attentional control. *Neuroimage*, 50(3), 1292–1302.
33. Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 18(6), 643–662.
34. Warren, R. E. (1972). Stimulus encoding and memory. *Journal of Experimental Psychology*, 94(1), 90–100.
35. Williams, J. M. G., Mathews, A., MacLeod, C. (1996). The emotional Stroop task and psychopathology. *Psychological Bulletin*, 120(1), 3–23.
36. Yanagisawa, H. et al. (2010). Acute moderate exercise elicits increased dorsolateral prefrontal activation and improves cognitive performance with Stroop test. *Neuroimage*, 50(4), 1702–1710.
37. Yiend, J. (2010). The effects of emotion on attention: A review of attentional processing of emotional information. *Cognition and Emotion*, 24(1), 3–47.

*WHAT'S EASIER NOT TO THINK ABOUT?
(ON THE NATURE OF STROOP INTERFERENCE)*

Allakhverdov, Viktor M.

Doctor of Psychology, Professor, Head of Department of General Psychology

E-mail: vimiall@gmail.com

Allakhverdov, Mikhail V.

PhD (Candidate of Psychology), Teaching and Research Assistant

E-mail: m.allakhverdov@smolny.org

Saint-Petersburg State University

Russia, Saint-Petersburg, Universitetskaya emb., 7/9

Tel.: +7 (812) 328-94-13

Abstract. In this article the authors review classic experiments testing the impact of semantic loading of words to be ignored on Stroop interference. Common interpretations of this phenomenon are described. Empirical evidence showing that these interpretations are incorrect is discussed. In the authors' opinion interference appears as a result of a work by the consciousness when it is verifying the correctness of ignoring automatically performed operations. Several consequences from the interpretation are provided. In particular, complicating the task to be ignored should lead to increase in interference. Hence, in the Stroop test, the more semantically loaded is text to be ignored, the longer it takes to name the color of this text.

Keywords: logic of cognition, semantic loadings, interference, Stroop effect.

ALLAKHVERDOV, V. M., ALLAKHVERDOV, M. V. (2015). WHAT'S EASIER NOT TO THINK ABOUT? (ON THE NATURE OF STROOP INTERFERENCE). SHAGI / STEPS, 1 (1), 122–137

Е. С. ГОРБУНОВА

Горбунова Елена Сергеевна
*преподаватель, Департамент психологии
НИУ ВШЭ, кафедра общей и
экспериментальной психологии
Россия, Москва 105066, Старая Басманная ул., 21/4
Тел. +7 (495) 772-95-90*
*научный сотрудник, Лаборатория
когнитивных исследований, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел. +7 (499) 956-96-47
E-mail: gorbunovaes@gmail.com*

ИССЛЕДОВАНИЯ «ПРОПУСКОВ ПРИ ПРОДОЛЖЕНИИ ПОИСКА» В РЕНТГЕНОЛОГИИ И КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. Статья представляет собой аналитический обзор литературы, посвященной исследованиям эффекта «пропусков при продолжении поиска» (ПППП). ПППП наблюдаются в задаче зрительного поиска, когда необходимо найти два целевых стимула — как правило, один хорошо, а другой плохо заметный, и представляет собой пропуск второго целевого стимула после успешного нахождения первого. Существует ряд факторов, оказывающих влияние на возникновение ПППП: время предъявления стимулов, вероятность появления двух стимулов, загрузка рабочей памяти, и др. В данной работе проведен анализ экспериментальных исследований ПППП, а также теоретических моделей, в которых делаются попытки объяснить данный феномен.

Ключевые слова: зрительное внимание, зрительный поиск, эффект «пропусков при продолжении поиска», эффект «мигания внимания».

Исходно феномен «пропусков при продолжении поиска» (subsequent search misses) был открыт в рентгенологии (см., например: [Verbaum et al. 1990]). **Было обнаружено, что врач при просмотре рентгеновского снимка, на котором присутствуют две каких-либо аномалии (одна хорошо, другая плохо заметная), прекращает поиск после нахождения хорошо заметной аномалии, тем самым упуская из вида вторую.** Было высказано предположение о том, что после нахождения первой аномалии врач довольствуется полученным результатом поиска и прекращает искать другие потенциальные проблемы, в связи с чем феномен получил название «насыщения поиска» (satisfaction of search). Тем не менее результаты более поздних исследований как в области рентгенологии [Samuel et al. 1995], так и при использовании более абстрактных задач зрительного поиска [Fleck et al. 2010] говорят о том, что преждевременное прекращение поиска не является первопричиной пропуска второго целевого стимула. Поэтому было предложено новое название для данного феномена — «пропуски при продолжении поиска» (ПППП) (например, [Cain et al. 2013]).

Несмотря на долгую историю изучения ПППП в рентгенологии, какого-либо общего мнения о его исходной причине сформировано не было. Помимо объяснения пропусков второго целевого стимула насыщением поиска после нахождения первого целевого стимула, были сделаны попытки связать ПППП с перцептивной установкой или с истощением ресурсов внимания. Согласно гипотезе перцептивной установки, после нахождения первого целевого стимула более вероятным будет нахождение других стимулов в случае, когда они имеют перцептивное сходство с первым, и менее вероятным — нахождение не сходных по перцептивным характеристикам стимулов [Verbaum et al. 1990; 1991]. К примеру, если врач сначала обнаружил сломанную кость, то другая сломанная кость с высокой вероятностью будет найдена, в то время как опухоль, скорее всего, будет упущена из виду. Пропуск второго целевого стимула также может быть связан с тем, что уже найденный первый целевой стимул истощает ресурсы рабочей памяти и тем самым мешает продолжению поиска [Adamo et al. 2013]. Тем не менее ни одна из этих теорий не объясняет всего спектра данных, полученных в исследованиях ПППП, что может говорить о том, что данный феномен имеет сложную комплексную природу.

Новые перспективы для изучения ПППП открылись в связи с экспериментами М. Флека, Э. Самея и С. Митроффа, в которых данный эффект был воспроизведен на более привычном для когнитивной психологии материале [Fleck et al. 2010]. **Была использована стандартная задача зрительного поиска «Т среди L»:** в качестве целевых стимулов выступали буквы «Т», в качестве дистракторов (отвлекающих стимулов) — буквы «L», при этом целевые стимулы и дистракторы могли иметь различную пространственную ориентацию и были расположены на экране в случайном порядке. Всего на экране в каждой пробе предъявлялось 25 стимулов. Стимулы предъявлялись на выполненном в оттенках серого «облачном» фоне (см.

пример на *рис. 1*). Это было сделано для повышения сложности задачи и приближения к условиям поиска в рентгенологии. Было проведено три типа проб: с одним хорошо различимым целевым стимулом; с одним плохо различимым целевым стимулом и с двумя стимулами — одним хорошо различимым и другим плохо различимым. Испытуемые были осведомлены о том, что целевых стимулов может быть один или два. Задача заключалась в том, чтобы найти целевые стимулы — буквы «Т» (одну или две). Ответ давался с помощью компьютерной мыши: нужно было навести курсор на целевой стимул и нажать на кнопку мыши (при наличии двух целевых стимулов такая процедура выполнялась сначала с одним, а затем с другим стимулом). Сравнению подлежал процент правильных ответов в условии с одним плохо различимым стимулом и с двумя целевыми стимулами (один из которых был плохо различимым, а другой — хорошо различимым). В условии с двумя целевыми стимулами правильным ответом считалось нахождение обоих.

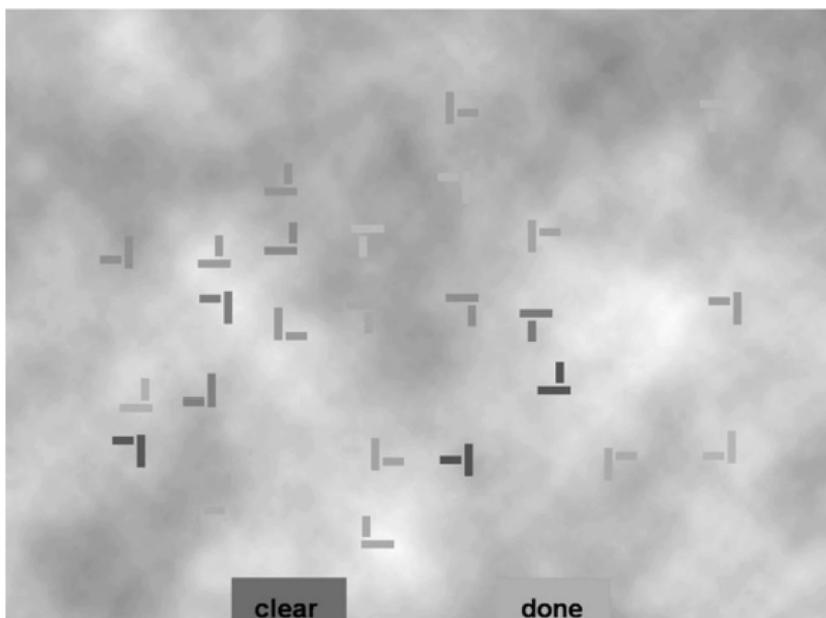


Рис. 1. Пример стимуляции, используемой в исследованиях «пропусков при продолжении поиска» [Fleck et al. 2010]

Общий результат десяти экспериментов заключался в том, что процент правильных ответов в условии с двумя стимулами оказывается значимо меньшим по сравнению с условием с одним плохо различимым стимулом. Таким образом, феномен ПППП был воспроизведен в лабораторных условиях. Помимо этого, был выявлен ряд факторов, оказывающих влияние на возникновение данного эффекта. Было обнаружено, что он возникает

только в том случае, когда вероятность появления плохо различимого одиночного целевого стимула значительно меньше вероятности появления хорошо различимого одиночного стимула. Пропуска второго целевого стимула не происходило, когда вероятности появления плохо различимого и хорошо различимого стимула были одинаковыми. Однако когда хорошо различимые одиночные целевые стимулы встречались в два или в три раза чаще по сравнению с плохо различимыми, в условии с двумя стимулами испытуемые пропускали плохо различимый целевой стимул чаще, чем в условии с одним плохо различимым стимулом.

Другой фактор, оказывающий влияние на появление ПППП, — фактор времени: в условии, когда время одной пробы ограничено 30 секундами, размер эффекта меньше по сравнению с условием, когда время пробы составляет 15 секунд. Наибольший размер эффекта получен в условии, когда время поиска в одной пробе было ограничено 9 секундами. При этом эффект сохраняется, даже если испытуемые имеют сильную мотивацию к обнаружению стимулов (к примеру, получают денежное вознаграждение за точность их обнаружения), что опровергает гипотезу о «насыщении поиска». Эффект также сохраняется, если оба стимула являются одинаковыми, что не согласуется с гипотезой о перцептивной установке.

Дальнейшее изучение факторов, влияющих на возникновение ПППП, было произведено в последующих экспериментах исследовательской группы С. Митроффа. В частности, было обнаружено, что вероятность обнаружения второго целевого стимула повышается, если первый целевой стимул после его нахождения исчезает с экрана или становится хорошо заметным и легко отделимым от фона [Cain, Mitroff 2013]. Это говорит о том, что ПППП, вероятно, связан с дефицитом рабочей памяти: нахождение первого целевого стимула потребляет ресурсы рабочей памяти, которые могли бы быть направлены на нахождение других стимулов. Гипотезу о роли дефицита ресурсов рабочей памяти в возникновении ПППП подтверждают результаты более позднего эксперимента: эффект значительно уменьшался, если после нахождения первого целевого стимула испытуемому предъявлялось несколько не связанных с основной задачей картинок или пустых проб, а уже затем продолжался поиск второго целевого стимула [Cain et al. 2014].

В экспериментах М. Кейна, С. Адамо и С. Митроффа с регистрацией движений глаз производился анализ ошибок, способствующих возникновению ПППП. Было выделено несколько типов ошибок, связанных с пропуском второго целевого стимула: ошибки сканирования (отсутствие фиксации на втором менее заметном целевом стимуле), ошибки стратегии (прекращение поиска сразу после нахождения первого целевого стимула), ошибки истощения ресурсов (происходит возврат фиксации к первому целевому стимулу после того, как он был найден, что истощает ресурсы), ошибки опознания или принятия решения (когда фиксация на втором целевом стимуле присутствует, но испытуемый не дает ответа о нахождении

стимула), а также ошибки «псевдо-ПППП» (когда менее заметный целевой стимул был зафиксирован до нахождения хорошо заметного, но не был вновь зафиксирован после нахождения первого целевого стимула) [Cain et al. 2013]. При этом наибольшее в процентном соотношении количество ошибок приходится на ошибки сканирования и истощения ресурсов, а наименьшее — на ошибки стратегии.

Таким образом, ПППП, вероятно, является сложным феноменом, за которым стоит целый комплекс факторов. Было обнаружено, что на ПППП оказывают влияние особенности постановки задачи, а также ожидания и индивидуальные особенности испытуемых. В частности, размер эффекта увеличивается при условии ожидания негативного события (например, удара током), при этом менее тревожные испытуемые оказываются более чувствительными к этой манипуляции по сравнению с более тревожными [Cain et al. 2011]. Другим фактором, играющим роль в возникновении ПППП, являются особенности постановки задачи и организации подкрепления. В экспериментах К. Кларк и коллег испытуемые могли получить дополнительное вознаграждение за участие в эксперименте либо при условии достижения определенного количества баллов (правильных ответов) за минимальное количество времени, либо при условии достижения максимального количества баллов в течение ограниченного времени. При инструкции получения определенного количества баллов за минимальное количество времени был обнаружен значимый эффект ПППП: процент правильных ответов в условии с двумя стимулами оказался значимо меньшим по сравнению с условием с одним плохо различимым стимулом. Напротив, в условии достижения максимального количества баллов в течение ограниченного времени аналогичных значимых различий обнаружено не было [Clark et al. 2013].

Следует отметить, что изучение ПППП представляет интерес не только в теоретическом плане — для понимания закономерностей работы внимания в задаче зрительного поиска, но также имеет широкое практическое применение, в первую очередь для предотвращения ошибок при решении профессиональных задач зрительного поиска (в рентгенологии, при досмотре багажа в аэропортах и т. п.). При этом существуют данные о том, что люди, профессиональная деятельность которых включает в себя задачи зрительного поиска, используют другие стратегии поиска, нежели обычные испытуемые. В экспериментах А. Биггса и С. Митроффа в качестве испытуемых выступили сотрудники службы досмотра багажа в аэропорту. Сравнивалась эффективность (скорость и точность) выполнения задачи зрительного поиска в условиях отсутствия целевого стимула, одного хорошо заметного целевого стимула, одного плохо заметного целевого стимула и двух целевых стимулов у группы профессионалов и группы обычных университетских студентов. Было обнаружено, что эффективность решения задачи в разных группах различается незначительно (профессионалам требовалось немного больше времени для завершения задания по сравнению с обычными испытуемыми), однако факторы, предсказывающие

точность ответов для разных испытуемых, существенно различались в группах профессионалов и непрофессионалов. Для испытуемых-профессионалов наиболее важным фактором оказалось сходство в скорости поиска в разных пробах — более стабильные испытуемые были более точными. Для непрофессионалов, напротив, ведущую роль сыграло время поиска в условии отсутствия целевого стимула — чем дольше было время поиска в таких пробах, тем выше была общая точность зрительного поиска [Biggs, Mitroff 2013].

Особый интерес представляет сопоставление ПППП с другими перцептивными феноменами и выявление гипотетических общих механизмов. В качестве такого феномена можно назвать эффект «мигания внимания» [Raymond et al. 1992], наблюдающийся в условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов (БППЗС). При БППЗС стимулы сменяют друг друга с высокой скоростью (8–11 стимулов в секунду) в одном и том же месте зрительного поля, а задача испытуемого заключается в том, чтобы обнаружить или опознать один или несколько из них. Эффект «мигания внимания» представляет собой кратковременное ухудшение обнаружения или опознания второго целевого стимула (зонда) или нескольких таких стимулов, наступающее вслед за обнаружением или опознанием предшествующего целевого стимула в критическом временном диапазоне после его предъявления (180–450 мс). Возникновение данного эффекта, как правило, рассматривается либо в контексте структурных ограничений в системе переработки информации (наличия в ней блока или канала с ограниченной пропускной способностью) (например, см.: [Vogel et al. 1998]), либо связывается с недостаточным количеством ресурсов для обработки второго целевого стимула (например, см.: [Jolicoeur 1998]).

Несмотря на то что различия в методических процедурах для изучения «мигания внимания» и ПППП очевидны (быстрое последовательное и simultaneous длительное предъявление стимулов), оба этих эффекта предполагают одну и ту же закономерность — неспособность обнаружить второй целевой стимул после успешного обнаружения первого целевого стимула. Помимо этого, как «мигание внимания», так и ПППП обнаруживают связь с количеством ресурсов, требуемых для обработки второго целевого стимула. Поразительное сходство между «миганием внимания» и ПППП было обнаружено в экспериментах С. Адамо, М. Кейна и С. Митроффа, в которых использовалась стандартная задача поиска двух целевых стимулов и производилась регистрация движений глаз [Adamo et al. 2013]. Помимо количества пропусков второго целевого стимула, анализу подлежало количество фиксаций между обнаружением первого и второго целевых стимулов, а также время от конца фиксации первого целевого стимула до начала фиксации второго целевого стимула. Оказалось, что вероятность обнаружения второго целевого стимула в задаче зрительного поиска (при условии успешного нахождения первого целевого стимула) зависит от количества и времени фиксаций, что аналогично «миганию внимания» (см. рис. 2а, 2б). При этом наблюдается как снижение

эффективности обнаружения второго целевого стимула на второй позиции после первого целевого стимула, так и «эффект первой позиции», когда при фиксации на втором целевом стимуле сразу после нахождения первого целевого стимула эффективность обнаружения второго целевого стимула не снижается. Таким образом, ПППП представляет собой своего рода пространственный аналог «мигания внимания». Возможно, изучение ПППП в связи с «миганием внимания» и анализ гипотетических общих механизмов данных феноменов может пролить свет как на причины возникновения ПППП, так и на процессы, лежащие в основе «мигания внимания».

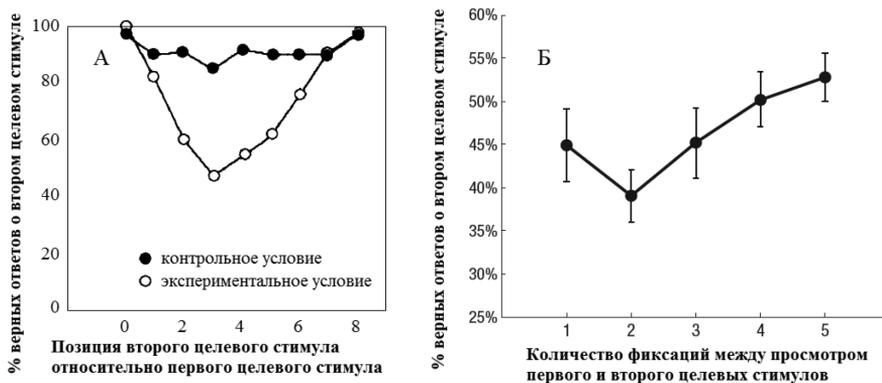


Рис. 2а. Эффект «мигания внимания» [Raymond et al. 1992].

Рис. 2б. Эффект «пропусков при продолжении поиска» [Adamo et al. 2013]

В заключение сделаем несколько выводов.

1. Эффект ПППП наблюдается в условиях зрительного поиска двух стимулов (как правило, одного хорошо заметного и другого плохо заметного) и представляет собой ухудшение обнаружения второго (плохо заметного) целевого стимула при успешном обнаружении первого целевого стимула. Исходно ПППП был открыт в рентгенологии, однако дальнейшие перспективы исследования данного феномена, по всей видимости, связаны с экспериментальной психологией, обладающей инструментарием для исследования ПППП в лабораторных условиях, который позволяет осуществлять более точное варьирование экспериментальных факторов.

2. В существующих на данный момент теориях ПППП в качестве причин данного феномена называются «насыщение поиска» после нахождения первого целевого стимула, перцептивная установка и истощение ресурсов рабочей памяти. Ни одна из теорий не объясняет всего спектра экспериментальных данных.

3. ПППП обнаруживает сходство с другим феноменом — «миганием внимания», наблюдающимся при быстром последовательном предъявлении зрительных стимулов. Представляется, что факторы, лежащие в основе ПППП, могут быть прояснены при сопоставлении ПППП и «мигания внимания».

Литература / References

1. Adamo, S. H., Cain, M. S., Mitroff, S. R. (2013). Self-induced attentional blink: A cause of errors in multiple-target search. *Psychological Science*, 24(12), 2569–2574.
2. Berbaum, K. S., Franken, E. A. Jr., Dorfman, D. D., Rooholamini, S. A., Coffman, C. E., Cornell, S. H., Cragg, A. H., Galvin, J. R., Honda, H., Kao, S. C., et al. (1991). Time course of satisfaction of search. *Investigative Radiology*, 26(7), 640–648.
3. Berbaum, K. S., Franken, E. A. Jr., Dorfman, D. D., Rooholamini, S. A., Kathol, M. H., Barloon, T. J., Behlke, F. M., Sato, Y., Lu, C. H., el-Khoury, G. Y., et al. (1990). Satisfaction of search in diagnostic radiology. *Investigative Radiology*, 25(2), 133–140.
4. Biggs, A. T., Mitroff, S. R. (2013). Different predictors of multiple-target search accuracy between nonprofessional and professional visual searchers. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 67(7), 1335–1348.
5. Cain, M. S., Adamo, S. H., Mitroff, S. R. (2013). A taxonomy of errors in multiple-target visual search. *Visual Cognition*, 21(7), 899–921.
6. Cain, M. S., Biggs, A. T., Darling, E. F., Mitroff, S. R. (2014). A little bit of history repeating: Splitting up multiple-target visual searches decreases second-target miss errors. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 20(2), 112–125.
7. Cain, M. S., Dunsmoor, J. E., LaBar, K. S., Mitroff, S. R. (2011). Anticipatory anxiety hinders detection of a second target in dual-target search. *Psychological Science*, 22(7), 866–871.
8. Cain, M. S., Mitroff, S. R. (2013). Memory for found targets interferes with subsequent performance in multiple-target visual search. *The Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 39(5), 1398–1408.
9. Clark, K., Cain, M. S., Adcock, R. A., Mitroff, S. R. (2013). Context matters: The structure of task goals affects accuracy in multiple-target visual search. *Applied Ergonomics*, 45(3), 528–533.
10. Fleck, M. S., Samei, E., Mitroff, S. R. (2010). Generalized “satisfaction of search”: Adverse influences on dual-target search accuracy. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 16(1). 10.1037/a0018629. DOI:10.1037/a0018629.
11. Jolicoeur, P. (1998). Modulation of the attentional blink by on-line response selection: evidence from speeded and unspeeded task1 decisions. *Memory & Cognition*, 26(5), 1014–1032.
12. Raymond, J. E., Shapiro, K. L., Arnell, K. M. (1992). Temporary suppression of visual processing in an RSVP task: an attentional blink? *The Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 18(3), 849–860.
13. Samuel, S., Kundel, H. L., Nodine, C. F., Toto, L. C. (1995). Mechanism of satisfaction of search: Eye position recordings in the reading of chest radiographs. *Radiology*, 194(3), 895–902.
14. Vogel, E. K., Luck, S. J., Shapiro, K. L. (1998). Electrophysiological evidence for a postperceptual locus of suppression during the attentional blink. *The Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 24(6), 1656–1674.

STUDIES ON SUBSEQUENT SEARCH MISSES IN RADIOLOGY AND COGNITIVE PSYCHOLOGY

Gorbunova, Elena S.

Lecturer, School of Psychology, National Research University "Higher School of Economics"

Russia, Moscow, 105066, Staraya Basmannaya str., 21/4

Tel.: +7 (495) 772-95-90

*Researcher, Cognitive Research Lab, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82*

Tel.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: gorbunovaes@gmail.com

Abstract. The article presents an overview of studies on subsequent search misses (satisfaction of search) effect in visual search. The subsequent search misses phenomenon occurs in a visual search task when a subject fails to continue to search for a subsequent target after finding an initial one (usually a second target is less salient than the first one). Previous studies had revealed a number of factors that influence subsequent search misses: time of stimuli presentation, probability of two stimuli presentation, working memory load and others. The article contains an analysis of experimental research on subsequent search misses and the theoretical models that attempt to explain this phenomenon.

Keywords: visual attention, visual search, subsequent search misses, satisfaction of search, attentional blink.

GORBUNOVA, E. S. (2015). STUDIES ON SUBSEQUENT SEARCH MISSES IN RADIOLOGY AND COGNITIVE PSYCHOLOGY. SHAGI / STEPS, 1 (1), 138–146

ВОЗМОЖНОСТИ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ БРЕДОВОЙ СИМПТОМАТИКИ

Аннотация. Многочисленные исследования в рамках клинической психологии до сих пор не смогли стать основой для построения строгой и проверяемой модели, объясняющей этиологию бредовой симптоматики. Предполагается, что эвристически ценными для дальнейшего изучения подобных расстройств мышления могут стать результаты исследований нормального функционирования мышления в рамках когнитивной психологии. Данная статья посвящена обзору существующих когнитивных моделей бреда, опирающихся на современные представления о функционировании мышления в норме. Открывшиеся возможности когнитивного подхода к изучению бредовой симптоматики позволяют сделать выводы о принципиальной гетерогенности патогенных механизмов бреда при органических и функциональных психозах, а также о том, что фабула бреда отражает паттерн когнитивных нарушений.

Ключевые слова: когнитивная нейропсихиатрия, бредовая симптоматика, этиология бреда, психоз, шизофрения.

На сегодняшний день одной из существенных проблем в психологической науке является разрозненность психологического знания, полученного в разных ее областях. В частности, исследования закономерностей функционирования человеческого мышления в общей психологии и расстройств мышления в клинической психологии долгое время шли независимо друг от друга, в рамках различных исследовательских традиций и с использованием различных категориальных аппаратов для описания и структурирования многообразия мыслительных процессов.

Подобная разрозненность во многом мешала решению целого ряда ключевых проблем этой области. Одной из них можно считать проблему выявления патогенных механизмов, лежащих в основе бредовой симптоматики. На примере этой проблемы мы попытаемся продемонстрировать возможности использования доминирующего на данный момент в общей психологии когнитивного подхода применительно к клинической проблематике.

Как указывает Карл Ясперс, бред издревле считается основным признаком безумия и уже давно является одной из ключевых проблем психопатологии [Ясперс 1997]. Вслед за Ясперсом бред принято понимать как совокупность ложных представлений, в которых пациент непоколебимо убежден и которые не поддаются коррекции. Именно на эту трактовку опираются современные авторы, ссылаясь на схожее определение в такой систематике психических расстройств, как DSM-V (5-е издание Руководства по диагностике и статистике психических расстройств) [APA 2013].

Бред как симптом может возникать в структуре как функциональных психозов, так и органических. Были зафиксированы случаи возникновения бредовой симптоматики не только при шизофрении, депрессии, маниакально-депрессивном психозе, бредовом расстройстве, но и при болезни Паркинсона, эпилепсии, черепно-мозговых травмах, деменции на фоне болезни Альцгеймера, деменции на фоне множественных инфарктов, а также при употреблении некоторых психоактивных веществ [Aarsland et al. 2001; Cummings 1985; David, Prince 2005; Fricchione et al. 1995; Nasrallah 1992].

Уже к 1980-м годам накопилось колоссальное количество различных теоретических моделей, призванных объяснить лежащие в основе бредовой симптоматики патогенные механизмы. Для того чтобы хоть как-то сориентироваться в возникшем теоретическом хаосе, Кен Уинтерс и Джон Нил предложили разделить существующие модели на несколько групп по объяснительным принципам, которые лежат в их основе [Winters, Neale 1983].

Первый тип теорий авторы обозначили как мотивационные. В них предполагается, что пациент чувствует необходимость развивать бредовую концепцию по определенным психологическим причинам. В частности, к таким теориям относятся те, которые апеллируют к процессам атрибуции при объяснении бреда. Авторы подобных теорий считают, что пациенты переживают какие-либо аномалии в области восприятия, а бредовые концепции — это всего лишь естественная попытка объяснить эти аномалии для себя. Предполагается, что большинство когнитивных процессов, ответственных за подобное объяснение, остается практически сохранным, а необычность бреда отражает лишь необычность того перцептивного опыта, который пережил пациент. К представителям этого типа теорий относятся Мэйхер [Maher 1974] и Зимбардо [Zimbardo et al. 1981], к этой группе также принято относить частично концепции Крепелина [Kraepelin 1971] и Блэйлера [Bleuler 1950].

Помимо вышеназванных, к мотивационным теориям относятся те, которые объясняют бредовую симптоматику как результат стремлений пациента к освобождению от неприятных ощущений, избеганию или минимизации неудовольствия. В частности, подобные объяснительные модели подразумевают, что бред — это своеобразное спасение от переживаемой пациентом социальной изоляции [Arthur 1964], способ избежать тревоги [Mednick 1958], вины [Dollard, Miller 1950], унижения [Colby 1975], негативных переживаний, вызванных какой-либо опасностью [Cameron 1955], переживаний отсутствия контроля над собой и другими [Melges, Freeman 1975]. К этой группе также относятся многочисленные психоаналитические модели [Freud 1956; Henderson, Gillespie 1936].

Другой тип теорий пытается объяснить бред через нарушение нормального течения собственно когнитивных процессов, которые и приводят к образованию бреда. Подобные модели объясняют бред через общее снижение интеллекта пациента [Arthur 1964], регрессию к более примитивным типам мышления [Arieti 1955], нарушения формы мышления, когда две изначально несвязанные идеи переплетаются и создают тем самым бредовую идею [Bleuler 1950]. Помимо уже указанных вариантов, особняком стоит довольно маргинальный тип теорий, объясняющий бред через личностные особенности, подразумевая, что определенные типы личности просто предполагают склонность к формированию бредовых концепций [Kretschmer 1927].

При всем своем многообразии подавляющее большинство существовавших на тот момент моделей либо принципиально не фальсифицируемо в экспериментах, либо их положения частично или полностью не соответствуют эмпирическим данным [Winters, Neale 1983].

На фоне данной кризисной ситуации в этой области в начале 1990-х годов возник новый исследовательский подход, получивший название «когнитивная нейропсихиатрия» [Ellis, Young 1990; David 1993]. Основой этого подхода стало объяснение симптоматики различных психических расстройств с использованием существующих методов нейробиологии и когнитивной психологии. В данном случае когнитивная нейропсихиатрия рассматривает в качестве единицы изучения бред именно как симптом, а не синдром, в силу колоссальной гетерогенности бредовой симптоматики как по этиологии (бред встречается в структуре разных психических расстройств), так и по содержанию (существует большое количество различных фабул бреда) [Hohwy, Rosenberg 2005]. При этом основной целью данного подхода является объяснение этого симптома в терминах нарушенных и сохранных механизмов в системе переработки информации [Coltheart et al. 2011].

В рамках когнитивной нейропсихиатрии со временем сформировались два практически независимых направления исследований. Одно из них в основном занимается изучением бредовой симптоматики при черепно-мозговых травмах и объясняет ее с позиций мотивационных моделей атри-

буции. Во втором направлении преобладают исследования бреда преследования при психозах и доминируют объяснения через нарушения работы когнитивных процессов [Bell et al. 2006].

К концепциям первого направления в первую очередь относится двухфакторная теория монотематического бреда. Исследования, которые легли в ее основу, начались с попытки ответить на вопрос, от чего зависит содержание бреда у конкретного пациента. Почему один считает, что он умер, а другой, что его конечностями управляет кто-то иной? Для того чтобы ответить на этот вопрос, Хиден Эллис обратил внимание на довольно редкий вид бреда, а именно бред Капгра [Ellis et al. 1997]. Этот вид бреда предполагает убеждение пациента в том, что кого-то из знакомых ему людей (чаще всего родственников) или знаменитостей подменили очень похожим двойником. Отталкиваясь от представлений о том, что кожно-гальваническая реакция (КГР) при предъявлении фотографий знакомых лиц выше, чем при предъявлении незнакомых, Эллис решил проверить этот эффект на клинической выборке, предварительно реплицировав его на выборке здоровых испытуемых. Оказалось, что на клинической выборке подобного эффекта не наблюдалось. Впоследствии этот результат был не раз реплицирован другими авторами [Hirstein, Ramachandran 1997; Brighetti et al. 2007].

Наиболее поразительно было то, что пациенты абсолютно точно узнавали и называли людей на фотографиях, поэтому сделать вывод о том, что в данном случае нарушаются механизмы распознавания лиц, нельзя. Также нельзя сделать вывод о том, что у пациентов имело место расстройство вегетативной нервной системы, которая как раз и ответственна за изменения КГР, поскольку не было соответствующих симптомов генерализованной гипореактивности вегетативной системы. В результате Эллис заключил, что при сохранной системе распознавания лиц и сохранной вегетативной нервной системе нарушены механизмы, связывающие их друг с другом [Ellis et al. 1997].

Это значит, что в случае бреда Капгра предполагается, что пациент, встретившись со своей женой, видит человека, который выглядит как его жена, но при этом у него отсутствует соответствующая вегетативная реакция, обычно сопровождающая подобное узнавание. К бредовой концепции «Это не моя жена, и ее кто-то подменил» пациент приходит посредством логического вывода. Однако это не дедуктивная и не индуктивная форма вывода. Эллис в своей работе апеллирует к абдукции (описанной Ч. Пирсом), которая встречается и у здоровых испытуемых в ситуациях, требующих принятия правдоподобной гипотезы для объяснения того или иного явления. В этом случае такой тип рассуждения протекает без каких-либо видимых нарушений. Структура абдуктивного рассуждения следующая:

Мы наблюдаем явление А.

Если случится событие Б, то мы бы, разумеется, наблюдали явление А.

Следовательно, случилось событие Б.

Эта модель во многом опирается на работы Мэйхер [Maher 1974] и относится к теориям, которые объясняют бред через необходимость с помощью этого бреда объяснять переживаемые перцептивные аномалии. Для бреда Капгра такой перцептивной аномалией является отсутствие вегетативной реакции на узнавание знакомых людей.

Рамачандран и Блейкли распространили данную концепцию и на другие виды монотематического бреда [Ramachandran, Blakeslee 1998]. В частности, для бреда Фреголи, при котором пациент считает, что окружающие его люди — один и тот же постоянно гримирующийся человек, который его преследует, перцептивной аномалией считается, наоборот, чрезмерная вегетативная реакция, появляющаяся в норме при узнавании знакомого лица, а в данном случае в процессе распознавания лиц даже незнакомых людей. Для бреда Котара в тех случаях, когда пациент убежден, что он мертв или что у него отсутствуют конкретные внутренние органы, перцептивной аномалией является генерализованное отсутствие определенных вегетативных реакций, которое нужно как-то объяснить. Для бреда, при котором пациент вместо своего отражения в зеркале видит незнакомца, в качестве переживаемой перцептивной аномалии выявлено два варианта. Первый из них является следствием сбоя в системе распознавания лиц (лицевая агнозия) и невозможности сравнить хранящийся в долговременной памяти образ собственного лица с тем, что он видит в зеркале. Второй же — возникающая иногда на ранних этапах деменции «агнозия зеркала» (*mirror agnosia*), т. е. неспособность распознать зеркало как отражающую поверхность. Вместо этого пациент воспринимает зеркало как окно или отверстие, ведущее в какое-то географически удаленное место (портал). Еще одним вариантом бреда, для которого была определена переживаемая перцептивная аномалия, — это так называемая соматопарафрения. В этом случае пациент убежден в том, что по каким-то причинам парализованная часть его тела не принадлежит ему. Соответственно, перцептивной аномалией для соматопарафрении является нечувствительность парализованных конечностей.

Многие из подобных следствий этой модели были подтверждены [Young et al. 1992; Vreen et al. 2000]. Однако в некоторых случаях пациенты переживали подобные перцептивные аномалии, но бредовой симптоматики у них не было [Tranel et al. 1995]. Это побудило исследователей доработать эту модель и включить в нее помимо фактора, определяющего содержание бреда, еще и фактор, определяющий само появление бредовой симптоматики, связанный с нарушением системы оценки убеждений (*belief evaluation system*). Эта система, по мнению авторов, включается в ситуациях, когда мы встречаемся с информацией, противоречащей той, что мы храним в долговременной памяти. В случае бреда система нарушается, и появившаяся для объяснения перцептивной аномалии бредовая концепция, встречаясь с многочисленными опровержениями, остается устойчивой по отношению к ним. Также были получены свидетельства в

пользу того, что наличию второго фактора сопутствуют повреждения латеральной части префронтальной коры в правом полушарии [Coltheart 2007; Coltheart et al. 2010; Coltheart et al. 2007; Langdon et al. 2008].

Тем не менее оказалось, что не все пациенты, у которых зафиксирована бредовая симптоматика, испытывали что-то похожее на перцептивные аномалии [Bell et al. 2006]. Помимо этого свидетельства о повреждениях коры в правом полушарии были найдены лишь для пациентов с бредовой симптоматикой на фоне деменции и черепно-мозговых травм, в то время как для пациентов с бредовой симптоматикой на фоне функционального психоза подобной функциональной асимметрии зафиксировано не было [Mucci et al. 2005]. Эти уточнения позволяют увидеть границы применимости двухфакторной теории монотематического бреда и перейти к моделям, авторы которых сконцентрировали свое внимание именно на функциональных психозах.

Ко второму направлению изучения бреда в когнитивной нейропсихиатрии относятся исследования бреда преследования, т. е. наиболее часто встречающейся разновидности бредовой симптоматики [Bentall et al. 2001], при которой пациент убежден, что его преследуют или хотят ему навредить.

Одна из моделей, возникшая в рамках этого направления, пытается объяснить бред преследования с точки зрения нарушения процессов, ответственных за так называемую **theory of mind** — **репрезентацию интенций**, убеждений, мыслей других людей [Frith 1992]. Авторы этой модели исходят из того, что в случае бреда преследования пациент неправильно интерпретирует намерения и поведение других людей, а значит, можно сделать вывод о том, что в основе этого бреда лежат нарушения в области распознавания социальной прагматики [Doody et al. 1998]. Действительно, были получены свидетельства в пользу того, что больные шизофренией хуже справляются с задачами на социальную прагматику, чем непсихотики [Frith, Corcoran 1996; Brüne 2005; Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на данный момент считается, что подобный эффект связан в большей степени не с продуктивной симптоматикой при шизофрении (в том числе с бредом), а с негативной [Murphy 1998]. Негативная симптоматика в данном случае включает в себя в том числе общее снижение интеллекта, что можно считать серьезной побочной переменной в подобных исследованиях.

Другая объяснительная модель в рамках этого направления апеллирует к процессам рассуждения. В результате многочисленных исследований было выявлено характерное для пациентов с бредовой симптоматикой искажение в процессе рассуждений: такие пациенты склонны делать «поспешные выводы» (*jumping-to-conclusions bias*) в задачах на оценку вероятности [Hemsley, Garety 1986; Garety, Hemsley 1994; Garety, Freeman 1999; Moritz, Woodward 2005; Peters, Garety 2006]. В таких задачах перед испытуемым на столе ставили две непрозрачные банки, наполненные черными и белыми бусинами. В банке А — 85 черных бусин и 15 белых, в банке

Б — наоборот, 15 черных бусин и 85 белых. Испытуемый при этом не знает, какая из этих банок — банка А, какая — банка Б. Одну из банок убирают. Из другой банки перед испытуемым одну за другой достают бусины и просят его определить, из какой банки их достали, А или Б. Чаще всего испытуемый сам останавливал экспериментатора, тем самым определяя количество бусин, достаточное ему для того, чтобы назвать банку [Fine et al. 2007]. Оказалось, что испытуемые с бредовой симптоматикой делали выводы на основе значимо меньшего количества бусин и с большей уверенностью в своем выборе, чем здоровые [Garety et al. 1991]. Эту особенность авторы и назвали «поспешными выводами». Впоследствии подобные результаты были реплицированы на более экологически валидном материале, когда просили оценивать личностные характеристики других людей [Young, Bentall 1997].

И, наконец, третья модель объясняет бред преследования с точки зрения стилевых особенностей каузальной атрибуции, а также некоторых особенностей внимания [Blackwood et al. 2001]. Данная модель основана на представлении о том, что для адаптивного поведения необходимо следить и оперативно реагировать на различные сигналы окружающей среды, некоторые из которых могут сигнализировать об угрозе и опасности. Авторы предположили, что у пациентов, подверженных бреду преследования, имеет место чрезмерная бдительность по отношению к угрожающим стимулам, т. е. некоторое искажение внимания (*attentional bias*) [Leafhead et al. 1996]. Они провели исследование, в котором предъявляли картинки с нейтральными ситуациями, с ситуациями, несущими угрозу, и с двусмысленными ситуациями и просили как можно быстрее определить, есть ли угроза на картинке или нет. Оказалось, что пациенты с бредом преследования значимо быстрее отличали картинки с угрожающим содержанием от других, в сравнении с шизофрениками без бреда преследования и с выборкой здоровых людей. Кроме того, в картинках с двусмысленным содержанием пациенты с бредом преследования значимо чаще находили угрозу, чем другие группы испытуемых [Phillips, David 1998; Phillips et al. 2000]. Полученный результат позволяет сделать вывод о том, что подобная избирательность внимания к угрожающим стимулам и сверхбдительность по отношению к ним является одним из механизмов, лежащих в основе некорректируемости бреда, в силу того что такие пациенты сами снабжают себя обилием свидетельств, подтверждающих их ложные убеждения.

Тем не менее для объяснения бреда преследования недостаточно просто продемонстрировать, что такие пациенты чаще и лучше замечают угрожающие стимулы. Необходимо также объяснить, почему в качестве источника угрозы выбираются именно другие люди / организации / инопланетяне и т. д., а не определенное стечение обстоятельств или непредвиденные последствия собственных действий. Для этого авторы этой модели обратились к концепции каузальной атрибуции, согласно которой люди, наблюдая какое-либо событие, приписывают ему определенную причину

[Kaney, Bentall 1989]. При этом в обыденной жизни мы демонстрируем склонность к определенным искажениям в ходе объяснения того или иного события. В частности, при объяснении причин своего поведения люди чаще всего апеллируют к особенностям ситуации и стечению обстоятельств (ситуационная атрибуция), в то время как чужое поведение чаще всего объясняется через особенности личности того человека, который что-то совершил (личностная атрибуция). Точно так же свои успехи мы чаще объясняем предпринятыми по этому поводу усилиями, а свои провалы — неудачным стечением обстоятельств. Оказалось, что пациенты с бредом преследования подвержены схожим, но сильнее выраженным тенденциям к объяснению наблюдаемых событий: они склонны объяснять наблюдаемые ими угрожающие события по принципу личностной атрибуции, т. е. через намерения и цели других людей, а не через особенности ситуации, в которую они попали [Kinderman, Bentall 1997]. Таким образом, авторы данной модели объясняют бред преследования через стилистические особенности или искажения внимания и каузальной атрибуции.

Итак, что же в итоге мы можем сказать относительно того, что особенно предлагает когнитивный подход к изучению бредовой симптоматики? Во-первых, исходя из современных исследований становится понятно, что строить единую теорию бреда бессмысленно из-за его чрезвычайной гетерогенности. Вместо этого стоит различать бред в структуре органических психозов и бред в структуре функциональных психозов. Хотя само по себе это различие психозов весьма устарело, и та же шизофрения уже рассматривается на данный момент как нейропсихологическое расстройство, а не просто функциональный психоз [Jarskog et al. 2007; Fatemi, Folsom 2009]. Тем не менее патогенные механизмы в случаях, когда органические повреждения становятся источником бредовой симптоматики, принципиально отличаются от патогенных механизмов бреда при функциональных психозах. Помимо всего прочего, уже сейчас можно сказать, что само содержание бреда (его фабула) во многом отражает паттерн когнитивных нарушений, имеющих у пациентов. Подобный вывод акцентирует внимание на том, что наиболее конструктивным подходом к изучению бредовой симптоматики является изучение отдельных видов бреда в зависимости от его содержания. На данный же момент отсутствуют свидетельства в пользу того, что объяснительные модели, созданные, например, для бреда преследования, также справедливы для бреда ревности, бреда величия или других его разновидностей. И именно это и открывает невероятный простор для дальнейших исследований в этой области.

Литература / References

1. Ясперс К. (1997). Общая психопатология / Пер. с нем. Л. О. Акопяна. М.: Практика, 1997. 1056 с.
2. Jaspers, K. (1997). *Obschaia psikhopatologija* [General psychopathology]. Transl. from German by L. O. Akopian. Moscow: Praktika. 1056 p.
3. Aarsland, D., Ballard, C., Larsen, J., McKeith, I. (2001). A comparative study of psychiatric symptoms in dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with and without dementia. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 16(5), 528–536.
4. APA — American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 991 p.
5. Arieti, S. (1955). *Interpretation of schizophrenia*. New York: Brunner. 541 p.
6. Arthur, A. Z. (1964). Theories and explanations of delusions: A review. *American Journal of Psychiatry*, 121(2), 105–115.
7. Bell, V., Halligan, P. W., Ellis, H. D. (2006). The Cardiff Anomalous Perceptions Scale (CAPS): a new validated measure of anomalous perceptual experience. *Schizophrenia Bulletin*, 32(2), 366–377.
8. Bentall, R., Corcoran, R., Howard, R., Blackwood, N., Kinderman, P. (2001). Persecutory delusions: a review and theoretical integration. *Clinical Psychology Review*, 21(8), 1143–1192.
9. Blackwood, N. J., Howard, R. J., Bentall, R. P., Murray, R. M. (2001). Cognitive neuropsychiatric models of persecutory delusions. *American Journal of Psychiatry*, 158(4), 527–539.
10. Bleuler, E. (1950). *Dementia Praecox or the group of schizophrenias*. New York: International Universities Press. 548 p.
11. Bora, E., Pantelis, C. (2013). Theory of mind impairments in first-episode psychosis, individuals at ultra-high risk for psychosis and in first-degree relatives of schizophrenia. *Schizophrenia Research*, 144(1–3), 31–36.
12. Breen, N., Caine, D., Coltheart, M., Roberts, C., Hendy, J. (2000). Towards an understanding of delusions of misidentification: four case studies. *Mind & Language*, 15(1), 74–110.
13. Brighetti, G., Bonifacci, P., Borlimi, R., Ottaviani, C. (2007). “Far from the heart far from the eye”: Evidence from the Capgras delusion. *Cognitive Neuropsychiatry*, 12(3), 189–197.
14. Brüne, M. (2005). “Theory of Mind” in schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 31(1), 21–42.
15. Cameron, N. (1955). The paranoid pseudo-community. In A. M. Rose (ed.). *Mental health and mental disorder*. New York: W. W. Norton . 537 p.
16. Colby, K. M. (1975). *Artificial paranoia*. New York: Pergamon Press. 126 p.
17. Coltheart, M. (2007). The 33rd Bartlett Lecture: cognitive neuropsychiatry and delusional belief. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 60(8), 1041–1062.
18. Coltheart, M., Langdon, R., McKay, R. (2007). Schizophrenia and monothematic delusions. *Schizophrenia Bulletin*, 33(3), 642–647.
19. Coltheart, M., Menzies, P., Sutton, J. (2010). Abductive inference and delusional belief. *Cognitive Neuropsychiatry*, 15(1–3), 261–287.
20. Coltheart, M., Langdon, R., McKay, R. (2011). Delusional belief. *Annual Review of Psychology*, 62, 271–298.
21. Cummings, J. L. (1985). Organic delusions. *British Journal of Psychiatry*, 146(2), 184–197.
22. David, A. S. (1993). Cognitive neuropsychiatry? *Psychological Medicine*, 23(1), 1–5.

22. David, A. S., Prince, M. (2005). Psychosis following head injury: a critical review. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 76(Suppl. 1), 153–160.
23. Dollard, J., Miller, N. E. (1950). *Personality and psychopathology*. New York: McGraw-Hill. 488 p.
24. Doody, G. A., Gotz, M., Johnstone, E. C., Frith, C. D., Cunningham-Owens, D. G. (1998). Theory of mind and psychoses. *Psychological Medicine*, 28(2), 397–405.
25. Ellis, H. D., Young, A. W., Quayle, A. H., de Pauw, K. W. (1997). Reduced autonomic responses to faces in Capgras delusion. *Proceedings of the Royal Society. B: Biological Sciences*, 264(1384), 1085–1092.
26. Ellis, H. D., Young, A. W. (1990). Accounting for delusional misidentifications. *British Journal of Psychiatry*, 157(2), 239–248.
27. Fatemi, S. H., Folsom, T. D. (2009). The neurodevelopmental hypothesis of schizophrenia, revisited. *Schizophrenia Bulletin*, 35(3), 528–548.
28. Fine, C., Gardner, M., Craigie, J., Gold, I. (2007). Hopping, skipping or jumping to conclusions? Clarifying the role of the JTC bias in delusions. *Cognitive Neuropsychiatry*, 12(1), 46–77.
29. Freud, S. (1956). A case of paranoia running counter to the psychoanalytical theory of the disease (1915). In *Collected papers*, 2. London: Hogarth Press.
30. Fricchione, G. L., Carbone, L., Bennett, W. I. (1995). Psychotic disorder caused by a general medical condition, with delusions: secondary “organic” delusional syndromes. *The psychiatric clinics of North America*, 18(2), 363–378.
31. Frith, C. D. (1992). *The cognitive neuropsychology of schizophrenia*. Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates. 168 p.
32. Frith, C., Corcoran, R. (1996). Exploring “theory of mind” in people with schizophrenia. *Psychological Medicine*, 26(3), 521–530.
33. Garety, P. A., Hemsley, D. R., Wessely, S. (1991). Reasoning in deluded schizophrenic and paranoid patients: biases in performance on a probabilistic inference task. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 179(4), 194–201.
34. Garety, P. A., Freeman, D. (1999). Cognitive approaches to delusions: A critical review of theories and evidence. *British Journal of Clinical Psychology*, 38(2), 113–154.
35. Garety, P. A., Hemsley, D. R. (1994). *Delusions: Investigations into the psychology of delusional reasoning*. Oxford, UK: Oxford Univ. Press. 188 p.
36. Hemsley, D. R., Garety, P. A. (1986). Formation and maintenance of delusions: a Bayesian analysis. *British Journal of Psychiatry*, 149(1), 51–56.
37. Henderson, D. K., Gillespie, R. D. (1936). *A textbook of psychiatry*. 4th ed. London: Oxford Univ. Press. 719 p.
38. Hirstein, W. S., Ramachandran, V. S. (1997). Capgras syndrome: a novel probe for understanding the neural representation of the identity and familiarity of persons. *Proceedings of the Royal Society. B: Biological Sciences*, 264(1380), 437–444.
39. Hohwy, J., Rosenberg, R. (2005). Cognitive neuropsychiatry: conceptual, methodological and philosophical perspectives. *The World Journal of Biological Psychiatry*, 6(3), 192–197.
40. Jarskog, L. F., Miyamoto, S., Lieberman, J. A. (2007). Schizophrenia: new pathological insights and therapies. *Annual Review of Medicine*, 58, 49–61.
41. Kaney, S., Bentall, R. P. (1989). Persecutory delusions and attributional style. *The British Journal of Medical Psychology*, 62(2), 191–198.
42. Kinderman, P., Bentall, R. P. (1997). Causal attributions in paranoia and depression: internal, personal and situational attributions for negative events. *Journal of Abnormal Psychology*, 106(2), 103–107.

43. Kraepelin, E. (1971). *Dementia Praecox and Paraphrenia*. Transl. by R. M. Barclay. **Huntington**, New York: Krieger. 364 p.
44. Kretschmer, E. (1927). *Der sensitive Beziehungswahn*. 2nd ed. Berlin: Springer. 167 p.
45. Langdon, R., McKay, R., Coltheart, M. (2008). The cognitive neuropsychological understanding of persecutory delusions. In D. Freeman, P. Garety, R. Bentall (eds.). *Persecutory delusions: Assessment, theory and treatment*, 221–236. London: Oxford Univ. Press.
46. Leafhead, K. M., Young, A. W., Szulecka, T. K. (1996). Delusions demand attention. *Cognitive Neuropsychiatry*, 1(1), 5–16.
47. Maher, B. A. (1974). Delusional thinking and perceptual disorder. *Journal of Individual Psychology*, 30(1), 98–113.
48. Mednick, S. A. (1958). A learning theory approach to research in schizophrenia. *Psychological Bulletin*, 55(5), 316–327.
49. Melges, F. T., Freeman, A. M. (1975). Persecutory delusions: A cybernetic model. *American Journal of Psychiatry*, 132(10), 1038–1044.
50. Moritz, S., Woodward, T. S. (2005). Jumping to conclusions in delusional and non-delusional schizophrenic patients. *British Journal of Clinical Psychology*, 44(2), 193–207.
51. Mucci, A., Galderisi, S., Bucci, P., Tresca, E., Forte, A., Koenig, T., Maj, M. (2005). Hemispheric lateralization patterns and psychotic experiences in healthy subjects. *Psychiatry Research*, 139(2), 141–154.
52. Murphy, D. (1998). Theory of mind in a sample of men with schizophrenia detained in a special hospital: its relationship to symptom profiles and neuropsychological tests. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 8(S1), 13–26.
53. Nasrallah, H. A. (1992). The neuropsychiatry of schizophrenia. In S. C. Yudofsky, R. E. Hales (eds.). *American Psychiatric Press Textbook of Neuropsychiatry*, 621—38. 2nd ed. Washington, DC: American Psychiatric Association.
54. Peters, E., Garety, P. (2006). Cognitive functioning in delusions: A longitudinal analysis. *Behaviour Research and Therapy*, 44(4), 481–514.
55. Phillips, M. L., David, A. S. (1998). Abnormal visual scan paths: a psychophysiological marker of delusions in schizophrenia. *Schizophrenia Research*, 29(3), 235–245.
56. Phillips, M. L., Senior, C., David, A. S. (2000). Perception of threat in schizophrenics with persecutory delusions: an investigation using visual scan paths. *Psychological Medicine*, 30(1), 157–167.
57. Ramachandran, V. S., Blakeslee, S. (1998). *Phantoms in the brain: Human nature and the architecture of the mind*. London: Fourth Estate. 352 p.
58. Tranel, D. H., Damasio, H., Damasio, A. R. (1995). Double dissociation between overt and covert face recognition. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 7(4), 425–432.
59. Winters, K. C., Neale, J. M. (1983). Delusions and delusional thinking in psychotics: A review of the literature. *Clinical Psychology Review*, 3(2), 227–253.
60. Young, A. W., Robertson, I. H., Hellawell, D. J., de Pauw, K. W., Pentland, G. (1992). Cotard delusion after brain injury. *Psychological Medicine*, 22(3), 799–804.
61. Young, H. F., Bentall, R. P. (1997). Probabilistic reasoning in deluded, depressed and normal subjects: effects of task difficulty and meaningful vs non-meaningful material. *Psychological Medicine*, 27(2), 455–465.
62. Zimbardo, P. G., Anderson, S. M., Kabat, L. G. (1981). Induced hearing deficit generates experimental paranoia. *Science*, 212(4502), 1529–1531.

THE COGNITIVE APPROACH TO DELUSIONS: OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES

Loginov, Nikita I.

*Researcher, Cognitive Research Lab, School of Advanced Studies in the Humanities,
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82*

Tel.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: lognikita@yandex.ru

Abstract. Numerous studies in clinical psychology still have not become the basis for rigorous and testable models that explain the etiology of delusions. It is assumed that the results of studies of normal functioning of thinking within cognitive psychology could be heuristically valuable for further investigation of such thought disorders. This article focuses on a review of existing cognitive models of delusions, which are based on current understanding of the functioning of normal thinking. The cognitive approach to the study of delusions allows us to draw conclusions about the fundamental heterogeneity of pathogenic mechanisms of delusion in organic and functional psychoses, and also that the content of a delusion represents the pattern of cognitive impairment.

Keywords: delusion, cognitive neuropsychiatry, schizophrenia, psychosis, etiology of delusions.

LOGINOV, N. I. (2015). THE COGNITIVE APPROACH TO DELUSIONS: OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES. SHAGI / STEPS, 1 (1), 147–158

Морозов Максим Игоревич
магистрант, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Россия, Москва, 105066, Старая Басманная ул., д. 21/4
Тел.: +7 (495) 771-32-32
E-mail: 100club@mail.ru

ПРОЦЕСС РАЗЛИЧЕНИЯ РЕАЛЬНО ПРЕДЪЯВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ДОСТРОЕННОЙ (НА ПРИМЕРЕ ВОСПОМИНАНИЙ)

Аннотация. Психика обладает способностью достраивать недостающую информацию: воспринимать объекты, которые видны не целиком, делать умозаключения и т. д. Результаты этой достройки всегда выходят за рамки наличной информации. Для адекватного поведения необходимо отличать воспринятую информацию от достроенной. Однако механизм процесса такого различения остается неясным. Одной из попыток пролить свет на природу этого процесса стала теория мониторинга источника (**source monitoring theory**), предложенная М. Джонсон и коллегами [Johnson et al. 1993]. Авторы рассматривают данную проблему на материале воспоминаний и предполагают, что определение источника воспоминания происходит благодаря процессу принятия решения с опорой на выраженность определенных характеристик воспоминания. Результаты экспериментов показывают, что если воспоминание содержит больше информации о том, как выглядел объект, или о его значении (перцептивные и семантические характеристики), то испытуемые склонны считать такое событие произошедшим в действительности. Если же воспоминание содержит больше информации о том, какие когнитивные процессы привели к созданию образа, который был запомнен, то испытуемые склонны считать такое событие придуманным.

Ключевые слова: ошибки памяти, достройка, источник воспоминания, принятие решения, теория мониторинга источника.

Очень часто объекты окружающего мира предстают перед нами в неполном виде. Один объект может загромождать другой, или с нашей точки обзора видна только часть объекта и т. д. Например, когда мы видим человека, сидящего за столом, мы видим только верхнюю его часть и немного — ноги. Однако такая картина нас несколько не шокирует. Для нас вполне очевидно, что эти голова, корпус и ноги относятся к одному человеку, а не к разным, так как наша когнитивная система способна достраивать недостающие части объекта. Похожее происходит и в повседневном общении, когда мы понимаем смысл всей фразы, услышав только ее часть. Более того, когда мы делаем какие-либо умозаключения, наш вывод содержит то, что мы непосредственно не наблюдаем в данный момент. Все эти три примера показывают, что в нашем сознании существует не только информация, воспринятая из окружающей среды, но и информация, достроенная нашей когнитивной системой. В норме это сосуществование не доставляет особых проблем, потому что нам кажется, что мы всегда можем отличить то, что мы видели, от того, что мы додумали. Однако если этот процесс нарушается, как, например, в случае некоторых психических расстройств, то это очень сильно изменяет жизнь больных.

Нам представляется интересным вопрос о том, как наша когнитивная система способна отличить воспринятое от додуманного, каков механизм этого процесса. Одной из попыток ответить на этот вопрос была теория мониторинга источника (*source monitoring theory*), предложенная М. Джонсон и коллегами [Johnson et al. 1993]. В рамках этой теории авторы пытались ответить на вопрос, как человек отличает реальные события от воображаемых, на примере воспоминаний. Они предположили, что наши воспоминания содержат в себе множество характеристик: перцептивные (цвет, звук и т. д.), семантические (значение), контекстные (пространственные и временные), эмоциональные, а также информацию о том, какой когнитивный процесс привел к формированию данного воспоминания. При этом утверждается, что воспоминания о реальных событиях содержат больше информации о перцептивных, семантических, контекстных и эмоциональных характеристиках, тогда как воспоминания о воображаемых событиях содержат больше информации о процессах, породивших это воспоминание. Само же различие воспоминаний происходит посредством процесса принятия решения, который опирается на выраженность данных характеристик. Иными словами, если воспоминание содержит больше перцептивных, семантических, контекстных и эмоциональных характеристик, то наша когнитивная система принимает решение о том, что это событие происходило на самом деле. Если же воспоминание содержит больше информации о породивших его процессах, то такое событие считается воображаемым.

Выраженность характеристик воспоминаний — параметр, который можно варьировать в экспериментах. И если принятие решения действительно опирается на выраженность названных параметров, то, уменьшая гипотетическую разницу между характеристиками полученных из разных источни-

ков воспоминаний, мы увидим, как люди будут ошибочно определять источник получения информации.

Рассмотрим исследования, направленные на проверку модели, предложенной М. Джонсон и коллегами.

Итак, если воспоминание о реальном событии содержит больше перцептивных характеристик, чем воспоминание о воображаемом, то при уменьшении разницы в выраженности этих характеристик будут наблюдаться ошибки в определении источника воспоминаний о воображаемых событиях. Это было проверено в эксперименте Джонсон и коллег [Johnson et al. 1988]. Исследование было построено следующим образом. Сначала испытуемым давали прослушать запись отрывка сказки, прочитанного экспериментатором, которую звали Кэрол. Имя было употреблено исключительно для удобства изложения. Задача испытуемого была обратить внимание на голос Кэрол, его тембр, темп речи и другие особенности, потому что далее испытуемому нужно будет представлять слова, произнесенные голосом Кэрол.

Далее экспериментатор включал другую запись и просил испытуемого выполнять инструкции, содержащиеся на этой записи. На записи содержался разговор другого экспериментатора с упомянутой Кэрол и инструкции для испытуемого. Было всего три варианта развития событий:

Экспериментатор просил Кэрол произнести простое слово, например, *телевизор*. В этом случае испытуемому необходимо было просто слушать голос Кэрол.

Экспериментатор просил испытуемого представить, как он произносит другое простое слово (например, *завтрак*), но не произносить его вслух.

Экспериментатор просил испытуемого представить, как Кэрол произносит третье слово (например, *машина*). Представить необходимо было произнесение именно голосом Кэрол.

Во второй части эксперимента испытуемым давали список слов и просили определить, какое слово они слышали, а какое воображали.

Результаты показывают, что если попросить испытуемого представить, как он произносит одно слово, а потом дать ему прослушать, как другой человек произносит другое слово, то испытуемый с легкостью отличит услышанное от воображаемого. Но если попросить испытуемого представить, как он слышит слово, произнесенное другим человеком, и потом дать ему прослушать другое слово, произнесенное этим же человеком, то испытуемый будет ошибочно относить представленное слово к услышанным, так как перцептивные характеристики этих двух событий сходные.

Теперь рассмотрим, как влияет выраженность семантических характеристик воспоминания на определение источника получения информации. Если воспоминание о реальном событии содержит больше семантических характеристик, чем воспоминание о воображаемом событии, то при уменьшении разницы в выраженности этих характеристик будут наблюдаться ошибки в определении источника воспоминаний о воображаемых событиях. Это было продемонстрировано в исследовании Л. Хенкеля и Н. Франклина [Henkel,

Franklin 1998]. В данном эксперименте испытуемым показывали слайды с контурными изображениями повседневных предметов и их названиями, а также пустые слайды, на которых были написаны только названия. Все объекты, использованные в эксперименте, относились к определенным семантическим категориям (например, фрукты) таким образом, что в каждую категорию входили предметы как со слайдов с изображениями, так и со слайдов, где были только названия. Задача испытуемых состояла в следующем: если им предъявлялся слайд с изображением предмета, то необходимо было рассказать о его функциях, а если предъявлялся слайд, на котором было только название, то необходимо было представить себе названный объект.

Через три дня, на втором этапе, испытуемым предъявляли только названия и просили ответить, видели ли они этот предмет на первом этапе исследования или только представляли. Результаты свидетельствуют о том, что при семантическом сходстве предъявленного и воображаемого предметов испытуемые ошибочно относят воображаемый предмет к ранее предъявленному. Согласно теории мониторинга источника, это происходит потому, что различия в семантических характеристиках между воспоминаниями о реальных и воображаемых событиях сглажены за счет их принадлежности к одной и той же семантической категории, что мешает определить источник получения информации верно.

Теперь рассмотрим результаты, показывающие, что произойдет, если уравнивать воспоминания по выраженности такой характеристики, как когнитивные процессы, которые привели к их возникновению. Данное исследование было проведено Р. Финке и коллегами [Finke et al. 1988]. Авторы предположили, что чем легче (быстрее) происходит достройка половины стимула до целого, тем меньше человек затрачивает когнитивных усилий, а значит, и в воспоминании должно сохраниться меньше информации о когнитивном процессе, который привел к созданию этого воспоминания.

В исследовании были использованы слайды с изображениями сложных геометрических форм, симметричных относительно вертикальной и горизонтальной осей. Слайды могли содержать изображение целой формы, вертикальной половины или горизонтальной половины. Для того чтобы установить, в каком условии сложнее достроить целую форму при предъявлении половины, было проведено отдельное исследование. В нем испытуемых просили проранжировать по сложности, какие фигуры им тяжелее представить в целом виде, а какие легче. Было показано, что фигуры, разделенные по вертикали, представить легче, чем разделенные по горизонтали. В другом исследовании, проведенном на том же стимульном материале, испытуемым показывали целые формы, вертикальные половины и горизонтальные половины. Если на слайде была целая фигура, испытуемых просили проранжировать от 1 до 5, насколько эта форма кажется им сложной. Если предъявлялась половина, необходимо было представить ее в целом виде и отметить на шкале от 1 до 5, насколько это было сложно сделать. В контрольном условии испытуемые ничего не представляли, а только ранжировали предъявленные

фигуры. Процедура с ранжированием сложности форм была нужна для того, чтобы испытуемые не старались специально запомнить сами формы.

На втором этапе испытуемым предъявляли 24 целые фигуры, из них 8 новых, 8 достроенных из половины и 8 старых фигур. Испытуемых просили ответить, видели ли они предъявляемую фигуру на первом этапе в целом виде, в виде половины или вообще не видели. Особо отмечалось, что если вам предъявлялась половина и вы ее вообразили целой, нужно отвечать, что этот стимул предъявлялся в виде половины.

Результаты показывают, что если достройка целой фигуры из половины была легкой (вертикальная половина), то испытуемые склонны ошибочно определять источник получения этой информации, характеризуя предъявлявшуюся в виде половины фигуру как предъявленную в виде целой. Это происходит потому, что в памяти сохранилось меньше информации о процессах обработки «легкого» стимула, по сравнению с «трудным», что делает достройку «легкого» стимула и восприятие целого неотличимым с точки зрения процесса принятия решения по выраженности такой характеристики, как когнитивные процессы, приведшие к созданию воспоминания.

Все три приведенных здесь исследования показывают, что даже у здорового человека можно добиться ошибок в определении источника получения информации. Они также подтверждают модель, предложенную М. Джонсон и коллегами. Если воспоминания о реальных и воображаемых событиях сходны перцептивно, семантически или по количеству когнитивных усилий, затраченных на их обработку, то испытуемые склонны ошибочно относить воображаемые события к реально произошедшим. По мнению Джонсон и коллег, это обусловлено тем, что определение источника происходит путем процесса принятия решения, опирающегося на выраженность этих характеристик у воспоминаний. И изменение разницы в их выраженности — путем перцептивного и семантического сходства, как в первых двух исследованиях, или путем уменьшения количества когнитивных усилий, необходимых для достройки до целого, как в третьем исследовании, делает воображаемые события «похожими» на реальные по выраженности этих характеристик, благодаря чему они становятся трудноразличимыми.

Литература / References

1. Johnson, M. K., Hashtroudi, S., Lindsay, S. D. (1993). Source monitoring. *Psychological Bulletin*, 114(1), 3–28.
2. Johnson, M. K., Foley, M. A., Leach, K. (1988). The consequences for memory of imagining in another person's voice. *Memory & Cognition*, 16, 337–342.
3. Henkel, L. A., Franklin, N. (1998). Reality monitoring of physically similar and conceptually related objects. *Memory & Cognition*, 1, 26, 659–673.
4. Finke, R. A., Johnson, M. K., Shyi, G. C.-W. (1988). Memory confusions for real and imagined completions of symmetrical visual patterns. *Memory & Cognition*, 16, 133–137.

*THE PROCESS OF DISTINGUISHING BETWEEN REALLY
PRESENTED AND GENERATED INFORMATION
(IN MEMORY TASKS)*

Morozov, Maxim I.

*1st year Master Student, National Research University "Higher School of Economics"
Russia, Moscow, 105066, 21/4 Staraya Basmannaya str.*

Tel.: +7 (495) 771-32-32

E-mail: 100club@mail.ru

Abstract. Our cognitive system is able to complete missing information: perceive partially occluded objects, draw conclusions and so on. The results of a completion process always go beyond present information. And to behave appropriately we need to distinguish between completed and really perceived information. But the mechanism of this process still remains unknown. One of the attempts to cast a light upon this problem was Source Monitoring Theory, proposed by Johnson and his colleagues [Johnson et al. 1993]. The authors investigate this problem using memory tasks and they suppose that information regarding the source of memory could be obtained by a decision making process based on difference in memory features. The results of experiments show that if our memory of some events contains more information of how it looked, and about the meaning of the event (perceptual and semantic memory features) then participants tend to think that such event has in fact happened. And if some memory contains more information as to which cognitive processes generated the image stored in memory, then participants tend to think that this event was generated by our cognitive system.

Keywords: Memory errors, completion, source of memory, decision making, source monitoring theory.

MOROZOV, M. I. (2015). THE PROCESS OF DISTINGUISHING BETWEEN REALLY PRESENTED AND GENERATED INFORMATION (IN MEMORY TASKS). SHAGI / STEPS, 1 (1), 159–164

**В. М. АЛЛАХВЕРДОВ, О. В. НАУМЕНКО,
М. Г. ФИЛИППОВА, О. В. ЩЕРБАКОВА,
М. О. АВАНЕСЯН, Е. Ю. ВОСКРЕСЕНСКАЯ,
А. С. СТАРОДУБЦЕВ**

Аллахвердов Виктор Михайлович
*доктор психол. наук, профессор,
заведующий кафедрой общей психологии*
E-mail: vimiall@gmail.com

Науменко Ольга Владимировна
канд. психол. наук, постдок

Филиппова Маргарита Георгиевна
канд. психол. наук, научный сотрудник

Щербакова Ольга Владимировна
канд. психол. наук, доцент

Аванесян Марина Олеговна
канд. психол. наук, старший преподаватель

Воскресенская Елена Юрьевна
канд. психол. наук, старший преподаватель,

Стародубцев Алексей Сергеевич
аспирант

*Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, Санкт-Петербург,
199036, Университетская наб., 7/9
Тел.: +7 (812) 328-94-13*

КАК СОЗНАНИЕ ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ПРОТИВОРЕЧИЙ¹

Аннотация. В статье утверждается, что сознание не терпит противоречий и пытается выстроить из всех осознаваемых представлений непротиворечивую картину. Если человеку не удастся справиться с противоречием, то он испытывает эмоциональные переживания или временное «отключение» сознательного контроля.

Приводятся результаты классических и современных экспериментальных исследований, в том числе проведенных в русле Петербургской школы когнитивной психологии, которые иллюстрируют следующие основные способы устранения противоречий:

1. осознание только одной из возможных интерпретаций и одновременное отвержение всех остальных, несовместимых с ней;

¹ Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта №14-06-00302а «Восприятие и переработка противоречивой информации» (руководитель В. М. Аллахвердов).

2. появление несовместимых значений в сознании по очереди, но не обоих вместе;
3. неосознанное искажение информации, при котором противоречие ослабляется или вообще исчезает;
4. конструирование единого контекста, позволяющего создать из несовместимых значений непротиворечивое целое;
5. обесценивание и/или доведение до полного абсурда само противоречие либо одну из его сторон.

Ключевые слова: сознание, противоречия, когнитивный диссонанс, классификация, значение, контекст, интерпретация, позитивный выбор, негативный выбор.

Введение

Наука всегда стремится создавать такие теоретические построения, которые не противоречили бы друг другу. Утверждение А и утверждение не-А не могут быть одновременно приняты в науке как верные. Ведь выводимые из противоречивых построений следствия будут входить в противоречие между собой, а потому результат опыта всегда подтвердит какое-нибудь следствие — не одно, так другое. И тогда никакая эмпирическая проверка невозможна. Конечно, ученые постоянно сталкиваются с противоречиями. Тогда теоретики либо придумывают аргументы, позволяющие им удалить одно из несовместимых положений, либо изменяют его, либо дают этому положению иную интерпретацию, либо вводят дополнительные условия, ограничивающие его действие, тем самым сужая область применимости теории. Но ученые неизбежно борются с противоречиями (даже если они исповедуют плюрализм и терпимость к противоречивым позициям).

В Петербургской школе когнитивной психологии принят восходящий по крайней мере к У. Джеймсу подход, согласно которому сознание — необходимый инструмент познания. Мы убеждены, что сознание, точно так же как и наука, стремится избавляться от противоречий. Иначе оно не сможет организовать действия по проверке правильности своих представлений. Разумеется, многие авторы и до нас утверждали, что человек хочет жить в рациональном мире, лишенном противоречий. З. Фрейд прямо указывал, что из сознания вытесняются не только явные противоречия, но и скрытые двусмысленности. Л. Фестингер экспериментально обнаружил эффект неосознанного сглаживания когнитивного диссонанса. В. М. Аллахвердов [Аллахвердов 2000] даже сформулировал закон (названный им законом Фрейда–Фестингера): сознание, столкнувшись с противоречивой информацией, пытается удалить эту информацию из области осознаваемого или так ее видоизменить, чтобы противоречие исчезло или перестало осознаваться как противоречие.

Мы полагаем, что любой осознаваемый объект всегда необходимо отнести к каким-то классам (что и осознается как значение того, чем этот объект является) и что одновременно отвергается его принадлежность к некоторым другим классам (что определяет, чем этот объект в данном случае не является, хотя мог бы этим быть). В терминологии В. М. Аллахвердова [Аллахвердов 1993] это называется позитивным и негативным выбором соответственно. Позитивный выбор классов, к которым отнесен объект, должен всегда соединяться непротиворечивой конъюнкцией (например, слово *Наполеон* может непротиворечиво означать и человека, и полководца, и императора и т. д.). На негативный выбор классов такого ограничения не наложено (например, слово *Наполеон* может также обозначать несовместимые друг с другом значения ‘коньяк’, ‘пирожное’, ‘пасьянс’ и т. п.). Позитивный выбор постоянно подвижен, он течет, как говорил У. Джеймс, непрерывным потоком. Мы все время изменяем принадлежность объекта к позитивно выбранным классам (в противном случае просто перестаем его осознавать, как перестаем осознавать стимул, стабилизированный относительно сетчатки). А отнесение объекта к негативно выбранным классам остается устойчивым (т. е., начав думать о Наполеоне-человеке, мы легко можем перейти к мыслям о нем как о создателе кодекса, как о муже Жозефины, но упорно не будем вспоминать о коньяке и пирожном). Тем самым негативный выбор как относительно неизменный задает контекст для построения субъективной интерпретации информации. При смене контекста возникает новая интерпретация — то, что ранее было негативно выбрано, может теперь стать позитивным выбором, и наоборот.

Противоречие возникает тогда, когда объект одновременно должен быть включен в некоторый класс и из него же исключен, т. е. когда мы сталкиваемся с утверждением и отрицанием одного и того же. В такой ситуации могут быть предсказаны взаимоисключающие события, а этого как раз сознание и не терпит. В общем виде превращение противоречивой информации в непротиворечивую осуществляется посредством изменения классификации — психика и сознание как бы раз за разом «раскладывают пасьянс», перераспределяя объекты по классам так, чтобы «все сошлось». Набор конкретных способов, с помощью которых сознание активно избегает противоречий, и будет анализироваться в настоящей статье.

1. Самый простой способ избавиться от противоречия или двусмысленности — выбрать для осознания какую-то одну интерпретацию, а все остальные (несовместимые с ней) не осознавать (негативно выбрать).

Подобные явления хорошо известны в истории науки. Например, по свидетельству Т. Куна, европейские астрономы после создания геоцентрической системы Птолемеем и до появления гелиоцентрической системы Н. Коперника не видели (не осознавали) на небе никаких изменений, поскольку, согласно теории Птолемея, они не должны были происходить. Тем не менее в это же время китайские астрономы, не знакомые с системой Птолемея, наблюдали на небе весьма заметные изменения.

Этнографы рассказывают об одном малазийском племени, оказавшемся из-за горного обвала на века изолированным от цивилизации. Эти люди питались подножным кормом, охотились, строили хижины, создавали свою мифологию. На протяжении последних двух десятилетий над этой затерянной долиной дважды в день на небольшой высоте пролетал пассажирский лайнер. При этом, как потом выяснилось, ни один из этих жителей за всю свою жизнь ни разу не только не видел этого самолета, но и не слышал мощного рева его двигателей, поскольку в их картине мира самолеты, разумеется, отсутствовали.

Впечатляющая экспериментальная иллюстрация описываемого способа работы с противоречиями — явление бинокулярной конкуренции, когда испытуемому одновременно предъявляются на разные глаза разные стимулы. Если предъявлять два изображения, одно из которых является более вероятным или более знакомым, испытуемые преимущественно будут видеть только его. В исследовании Дж. Бэбби (цит. по: [Шибутани 1969: 96]) испытуемые — мексиканцы и американцы — в условиях бинокулярной конкуренции рассматривали одновременно фотографии, типичные для американской культуры (игра в бейсбол, девушка-блондинка и т. д.) и для мексиканской культуры (бой быков, черноволосая девушка и т. п.). Соответствующие изображения имели сходство по форме, контуру основных масс, структуре и распределению света и теней. Лишь немногие испытуемые замечали, что им предъявляются две картины (но даже этим испытуемым не удавалось увидеть оба изображения сразу), большинство осознавало, что видит только одну — ту, которая им была больше знакома, типична для их опыта. И это при том, что оба глаза автоматически передают в мозг всю поступившую информацию.

При предъявлении двойственных изображений многие испытуемые осознают («позитивно выбирают») одно значение и упорно не замечают другое, даже если экспериментатор сообщает им не только о том, что второе значение существует, но и о том, каково оно. В наших исследованиях было показано, что это неосознанное значение все-таки воспринимается испытуемыми (т. е. его неосознание является следствием негативного выбора). Так, в работах М. Г. Филипповой и коллег (например, [Филиппова 2009; Filippova 2011; Филиппова, Чернов 2013]) было обнаружено, что не опознанное испытуемым значение двойственного изображения замедляет как опознание слов и рисунков, так и решение анаграмм, ассоциативно с ним связанных. Это говорит об устойчивом отвержении самих неопознанных значений. Ведь отвержение конкретного значения возможно только в том случае, если данное значение до этого было воспринято.

Вряд ли поэтому стоит удивляться результатам физиологических исследований, которые показывают, во-первых, что мозг неосознанно воспринимает всю поступающую информацию и формирует на ее основе разные, в том числе противоречащие друг другу интерпретации, а во-вторых, что на неосознаваемом уровне противоречия сосуществуют, хотя при сравнении предсказаний с осознаваемым опытом мозг демонстрирует реакцию на рас-

согласованность [Pieszek et al. 2013]. Например, в исследовании С. ван Галь с соавторами [Van Gaal et al. 2013] была обнаружена специфическая ЭЭГ-реакция в ответ на предъявление неосознаваемого прайма, который по смыслу противоречил целевому слову. А вот результат недавнего исследования М. Г. Филипповой, О. В. Щербаковой и И. А. Горбунова: при предъявлении двойственных изображений по сравнению с предъявлением однозначных изображений наблюдается выраженная негативность ранних компонентов вызванных потенциалов (от 0 до 540 мс). Это означает, что испытуемый различает однозначные и двойственные изображения еще до того момента, как способен эти изображения осознать. По результатам пилотажного исследования, негативность кривой вызванных потенциалов наблюдается и для анекдотов (т. е. текстов, основанных на обыгрывании вербального противоречия) по сравнению с обычными текстами. По-видимому, противоречие неосознанно распознается независимо от конкретного вербального или иконического материала, в котором оно представлено.

Н. Л. Элиава [Элиава 1966] предлагала испытуемым вставить буквы в текст, начинающийся так: «О-ёл ле-ал сред- -орных -уч и с-ал». Выбор одного из двух возможных вариантов («Орёл летал среди горных туч и скал» и «Осёл лежал среди сорных куч и спал») полностью определял дальнейшее чтение текста. Испытуемые, однажды выбравшие один возможный вариант прочтения (например, про орла), не были способны перейти к другому прочтению даже тогда, когда продолжение текста явным образом заставляло читать его как сюжет об осле. (Стоит добавить, что, исходя из наших исследований, мы вправе предполагать, что второе значение было воспринято испытуемыми, хотя и не было осознано.)

2. При смене контекста отвергнутое ранее (негативно выбранное) значение может внезапно актуализироваться в сознании.

В исследовании М. Игла, Д. Волицкого и Г. Клейна испытуемые, не заметившие в предъявленном двойственном изображении встроенного в дерево контура утки, при переходе к заданию зарисовки пейзажа по мотивам этого изображения чаще случайного рисовали связанные с уткой элементы: вода, птица и т. п. [Eagle, Wolitzky, Klein 1966]. Подобные примеры наблюдались и в наших исследованиях. При предъявлении классического двойственного изображения, названного Э. Борингом «жена или теща», некоторые испытуемые, упорно не замечавшие на изображении старуху, при задаче описать по памяти увиденное могли вспомнить у молодой женщины горбатый нос (даже так: «нос, как у Анны Ахматовой»), явно заимствованный у старухи. А испытуемые, не заметившие молодую женщину, приписывали старухе украшение на шее, на самом деле принадлежавшее молодой женщине. Один из испытуемых М. Г. Филипповой, ранее не заметивший слонов на двойственном изображении «лебеди/слоны», вспоминая предъявленные прежде рисунки, как бы в шутку сообщил, что среди изображений было одно, «где на горизонте слоны пасутся...», а испытуе-

мый, не заметивший на двойственном изображении «пейзаж/ человек» замаскированную деревьями фигуру человека, также в шутку назвал данное изображение «мужик на болоте» [Филиппова 2006].

В наших исследованиях были сделаны попытки искусственно вызвать смену контекста. В исследовании О. В. Науменко и Д. И. Костиной [Naumenko, Kostina (forthcoming)] участникам эксперимента предлагали решать двусмысленные анаграммы (из каждой анаграммы можно было составить два разных слова). После того как испытуемый находил одно из решений, его просили составить второе слово из этого же буквенного набора. После того как один из вариантов ранее был осознан, альтернативное значение обнаруживалось реже, и его поиски занимали в два раза больше времени. Таким образом, альтернативное значение имело тенденцию не осознаваться после того, как один из вариантов ранее был осознан. В экспериментальных группах перед попыткой найти второе решение анаграммы испытуемым давался перерыв, во время которого нужно было выполнять задания-дистракторы. Эти задания либо просто переключали испытуемого на постороннюю деятельность, либо вызывали семантическую сатиацию, т. е. субъективное обесмысливание многократно повторяемых слов.

Результаты показали, что в контрольной группе (без перерыва) испытуемые правильно находили второе решение в 69% случаев; в группе с заданиями-дистракторами, которые переключали испытуемого на постороннюю деятельность, — в 81% случаев. В группе с перерывами, провоцировавшими сатиацию, испытуемые находили правильное решение при повторном предъявлении анаграммы в 74% случаев. Наличие перерывов, заполненных заданиями, которые провоцировали изменения осознаваемого содержания, позволило ослабить эффекты последействия.

М. Г. Филиппова изучала влияние длительного перерыва на осознание второго значения изображений-перевертышей (поворот такого изображения на 180 градусов придавал ему совершенно иное значение, что испытуемыми не осознавалось). Эксперимент включал два этапа, на первом из которых испытуемым предъявлялись изображения-перевертыши вперемешку с однозначными изображениями, а на втором — «старые» и новые изображения (включая инвертированные варианты изображений-перевертышей) или же их описания с задачей опознания. Второй этап мог проводиться сразу после первого (после выполнения другой, не связанной с основным заданием методики), а также через месяц. Несмотря на уверения самих испытуемых в своей неспособности узнать предъявляемый месяц назад стимульный материал, результаты узнавания в этой группе не значимо отличались от результатов узнавания в группе, проходившей проверку сразу после первого этапа. Однако в течение месяца количество ошибок ложного опознания инвертированных вариантов изображений-перевертышей по их описаниям возросло на 27%, достигнув через месяц 83%. Это при том, что опознание старых однозначных изображений по их описаниям (контрольное условие) в течение этого времени только улучши-

лось. Месяц — это достаточно большой срок, чтобы контекст выполнения задания для испытуемых претерпел определенные изменения. И то, что за месяц изменилось только лишь распределение разных типов ошибок (а не их общее количество), подтверждает возможность проникновения негативно выбранных значений в сознание в случае изменения контекста.

3. Один из способов борьбы с противоречием — сглаживание этого противоречия, т. е. такое неосознанное искажение информации, при котором противоречие ослабляется или вообще исчезает.

Л. Фестингер, как известно, вынуждал испытуемого в специально построенных экспериментах совершить поступок, противоречащий его представлениям о самом себе. Испытуемый в итоге неосознанно «сглаживал когнитивный диссонанс» — начинал так интерпретировать свой поступок, чтобы избавиться от этого противоречия или хотя бы его ослабить. Мы утверждаем, что такое сглаживание может возникать при столкновении с любыми противоречиями. Напомним известный пример: пигмей, впервые попавший на открытое пространство и незнакомый с законами перспективы, впервые увидев пасущихся вдалеке коров, принял их за муравьев [Хок 2003]. В общем, как говорят психологи, мир в нашем сознании искажается до узнаваемости.

В эксперименте О. К. Тихомирова и В. Е. Ключко [Тихомиров, Ключко 1976: 176–205] испытуемым дважды предъявлялся текст, обозначенный как отрывок из книги Дж. Ферри «Золотоискатели». В середине отрывка было написано: «Во время крутых спусков берега проносились мимо испуганных путешественников со страшной скоростью. Прибрежные камни и редкие деревья мелькали, сливаясь в пеструю ленту, вызывающую головокружение. На подъемах движение реки замедлялось, она как бы оседала, темнела. Река была подобна живому существу — так же легко и радостно спускалась с горы и так же, как тяжело нагруженный путник, поднимающийся в гору, становилась ленивой и неузнаваемой на редких, затяжных, высоких подъемах». В последующем выяснилось, что только трое из 45 испытуемых заметили противоречие — вода в естественных условиях не поднимается вверх. Тем не менее 28 испытуемых (из 42, не заметивших противоречия) в своем пересказе обошли описание противоречивых мест путем искажения текста, например: «Река то спускалась с горы бурным потоком, то, выйдя на равнину, текла медленно»; «...Ребята были изумлены течением реки. Она как бы подбрасывала их вверх, а потом с вершины этой падала опять вниз»; «...Их кидало из стороны в сторону и поднимало то вверх, то вниз».

В. М. Аллахвердов [Аллахвердов 2000: 320–322] получил аналогичные данные. Испытуемым дважды прочитывали описание боя Мцыри с барсом из поэмы М. Ю. Лермонтова. Никто из испытуемых (ни до этого, ни в процессе эксперимента) не замечал в этом тексте странностей в поведении барса, несовместимых с кошачьей породой хищника. И все же никто не воспроизвел ни ласкового мотания лермонтовского барса хвостом, ни его жалобного протяжного воя и т.д., хотя 5 из 24 испытуемых все же смогли

вспомнить, что барс вставал на дыбы. При этом у большинства наблюдались характерные искажения: жалобный вой превращался в рык; вставание на дыбы чаще исчезало (мол, барс «изогнулся»); барс в горах Кавказа, названный Лермонтовым «вечным гостем пустыни», превращался в короля или владыку пустыни, если о пустыне вообще вспоминалось, и т. п.

Очень эффективно этот способ сглаживания противоречий проявляется в наших исследованиях восприятия иллюзий. А. Г. Причисленко [Причисленко 2009] предъявляла испытуемым 24 линии (20 из них были предъявлены в иллюзорном контексте, например, со стрелками, как в иллюзии Мюллер-Лайера, а 4 — вне такого контекста, например, с вертикальными полосками в конце линии). Испытуемым нужно было оценить размер линий («на глаз») в миллиметрах. При повторении этой процедуры через неделю оказалось, что величина иллюзии (разница в оценке равных линий в иллюзорном и неиллюзорном контексте) уменьшается, но при этом только на иллюзорных объектах происходит общее ухудшение абсолютной точности определения размера. Испытуемый как бы оправдывает свои ошибки, вызванные иллюзорным контекстом, тем, что у него при оценке таких линий возникают трудности с глазомером. В. Л. Волохонский и Е. А. Вишнякова [Волохонский, Вишнякова 2006] в исследовании эффекта привязки показывают, что при повторном решении тех же задач через три недели величина абсурдности ответов испытуемых (смещение в сторону привязки) только увеличивается и уверенность в ответе при этом повышается. В духе Фестингера это выглядит так, будто испытуемый сглаживает когнитивный диссонанс, возникший после его предшествующего нелепого ответа.

В. Ю. Карпинская [Карпинская 2003] исследовала, как влияют различные иллюзии на величину сенсорных порогов. Как известно из психофизических законов, чем больше величина раздражителя, тем выше дифференциальные пороги. Оказалось, что одно лишь иллюзорное изменение величины раздражителя (использовались зрительные иллюзии и иллюзия Шарпантье) приводит и к соответствующему изменению дифференциальных порогов. Испытуемый, совершив иллюзорную ошибку, как бы принимает решение о том, что он и не ошибся вовсе (сглаживает когнитивный диссонанс), а потому далее действует так, будто изменение величины раздражителя произошло в действительности.

4. Если у испытуемых нет возможности не осознавать несовместимые значения, эти значения могут появляться в сознании по очереди, но при этом никогда не появятся вместе.

Еще в XVII–XVIII вв. было показано, что в условиях бинокулярной конкуренции предъявленные на разные глаза желтый и синий круги при предъявлении не смешиваются и не дают зеленый образ, как можно было бы ожидать исходя из законов оптики. Вместо этого испытуемый видит попеременно то желтый, то синий круг (см.: [O'Shea 1999]). Аналогич-

ный эффект наблюдается и при предъявлении двойственных изображений. Например, на известном рисунке Рубина «лица — ваза» никто не может увидеть в одно и то же время и человеческие профили, и вазу. Разные значения двойственных изображений осознаются лишь поочередно.

Вопрос: воспринимает ли все-таки испытуемый лица в тот момент, когда он видит (осознает) одну лишь вазу? Великий гештальтист К. Коффка [Коффка 1975: 101–102] считал идею такого неосознанного восприятия выходящей за пределы возможности ее фактического подтверждения. Думается, он был неправ. Ведь испытуемый не способен удерживать внимание только на одном значении и независимо от своего желания начинает видеть то лица, то вазу. Откуда, однако, вопреки всем сознательным усилиям может исчезнувшая ранее из сознания фигура вновь появиться в сознании, если ее нигде в психике нет?

Представляется, что такой способ борьбы с двусмысленностями и противоречиями встречается в гораздо более сложных случаях, чем предъявление двойственных изображений. Это приводит людей к членению мира на ситуации. Как хорошо известно, один и тот же человек в разных ситуациях (или в разных социальных ролях) может вести себя совершенно по-разному, причем несовместимым образом. Классические эксперименты С. Милграма и Ф. Зимбардо хорошо это иллюстрируют.

Субъективное разделение мира на несвязанные между собой фрагменты как способ защиты от противоречий встречается и в обыденных ситуациях. Например, Р. Риделл и Б. Гавронски [Rydell, Gawronski 2009] показали, что новая информация, противоречащая первому впечатлению о человеке, жестко привязывается к контексту, в котором она была получена. Основываясь на принципе когнитивной согласованности, авторы [Gawronski et al. 2010] утверждают: нарушение ожиданий, вызванных первым впечатлением, приводит к тому, что человек начинает искать причины этого несоответствия в наличной ситуации. Первоначальное впечатление о человеке при этом все равно продолжает определять оценочные суждения для других контекстов.

5. При осознании разных сторон противоречия или двусмысленности (а иногда и без осознания) делается попытка найти способ объяснения — соединение разных сторон в непротиворечивое целое.

Если теоретические предположения в науке вступают в противоречие с результатами эксперимента, то теория не отбрасывается как неверная — вначале ученые делают попытки найти непротиворечивое объяснение этому факту. И. Лакатос называет это защитным поясом теории. Точно так же люди ведут себя и в жизни, и в экспериментальных ситуациях.

Например, подобные явления наблюдаются в условиях бинокулярной конкуренции. Если разные изображения, предъявленные на разные глаза, можно непротиворечиво соединить, то испытуемый именно так и действует. Предъявим на один глаз красный круг, а на другой — черный треугольник. Испытуемый увидит черный треугольник на красном фоне. Если по-

казать испытуемому видеозапись, на которой снят человек, произносящий одними губами слоги «ga-ga», и при этом сопроводить эту видеозапись звуковой дорожкой, на которой будут записаны слоги «ba-ba», испытуемый увидит и услышит слоги «da-da» — это явление получило название эффекта Мак Гурка [McGurk, MacDonald 1976]. Важно, что по отдельности испытуемый воспринимает и видеозапись, и звук правильно — как «ga-ga» и «ba-ba» соответственно, но при совмещении этих двух противоречащих друг другу потоков информации ему приходится трансформировать их в нечто третье (само несоответствие при этом может не осознаваться).

Иногда результатом работы сознания над противоречивой информацией является конструирование нового контекста, в рамках которого могут быть найдены связи между элементами, ранее воспринимаемыми как несовместимые или, по крайней мере, не связанные. Яркое проявление того, как человек объединяет разные смыслы в непротиворечивое сообщение, — процесс понимания метафор. Метафоричность формируется при отождествлении двух несовместимых категорий. В одном из экспериментов [Glucksberg et al. 1982] было показано, что людям очень трудно игнорировать метафорическое значение высказывания и воспринимать его как буквальное — процесс конструирования обобщающего метафорического контекста происходит автоматически. В недавнем исследовании М. О. Аванесян [Аванесян 2015] использовались три изобразительные метафоры, связанные с темой чтения (в одном рисунке совмещались элементы основного и вспомогательного понятия). Испытуемым нужно было выразить смысл понятой картинке в словесной форме. Оказалось, что в процессе построения и описания смысла изобразительной метафоры человек стремится непротиворечиво объединить в общем контексте *все* (даже не имеющие отношения к задаче) элементы воспринимаемой ситуации, в том числе свои собственные реакции на нее. Схожие результаты были ранее получены О. В. Щербаковой [Щербакова 2008; 2009] на материале понимания вербальных шуток.

Конструирование новых контекстов и обобщенных смыслов — один из продуктивных способов работы с противоречием. Так совершаются творческие открытия, но так же иногда и порождаются заблуждения. Пример последнего — приписывание неожиданному поведению другого человека скрытых злых намерений, что часто приводит к межличностным конфликтам.

6. Если наличие противоречия осознается, а объяснить его не удастся, то либо само противоречие, либо одна из сторон противоречия обесценивается и/или доводится до полного абсурда.

Если человек пьет кофе, а его любимая чашка вдруг пожелает ему приятного аппетита, то, скорее всего, он начнет озираясь в поисках того, кто это сказал, или искать иной источник звука. В случае если этот поиск не приведет к результату, человек либо решит, что он ослышался (т. е. обесценит услышанное), либо даже задумается, не сошел ли он с ума (доведет ситуацию до абсурда), но вряд ли поверит, что чашка умеет разговаривать.

Если дать человеку запоминать нормальные предложения и предложения, содержащие явное противоречие, то при воспроизведении можно наблюдать не

только сглаживание противоречий (как уже упоминалось, неосознанно человек старается не замечать наличие противоречия), но и их усиление. Если человек заметил нестыковку, то может сам пытаться ее сознательно реконструировать, а это и ведет к усилению противоречия. По данным А. С. Стародубцева, даже некоторые нормальные предложения воспроизводятся как противоречивые.

О. В. Щербакова [Щербакова 2008; 2009; 2010] показала, что комический эффект тесно связан с осознанием явных или скрытых противоречий в воспринимаемом материале. Иногда человек чувствует: есть противоречие, но непонятно, где именно. Тогда он может приписать противоречивость вполне однозначным элементам текста. Например, в ответ на просьбу кратко пересказать суть предьявленной шутки люди, испытывающие затруднения с пониманием сути комического текста, приписывали «странность» элементам, не имевшим отношения к сути шутки, и настаивали на том, что именно это делает шутку смешной.

7. Если человеку не удастся справиться с противоречием (в том числе с нарушением привычного контекста), то он испытывает эмоциональные переживания или временное «отключение» сознательного контроля.

Противоречие может возникать тогда, когда человеку приходится осознавать привычный контекст ситуации (что обычно является фоном), т. е. то, что осознавать в данной ситуации вообще-то «не полагается», и тем самым изменить его и в некотором смысле разрушить. Сознанию требуется время, чтобы выстроить новый контекст, до того же, как это произойдет, человек испытывает крайне неприятные переживания.

Г. Гарфинкель, например, во время разговора со своей невестой задавал ей вопросы о значении различных слов, которые она использовала. В итоге «первые минуты полторы испытуемая отвечала на вопросы, как будто эти вопросы были вполне закономерными. Потом она спросила: “Зачем ты задаешь мне такие вопросы?” и повторяла его еще дважды или трижды после следующих вопросов. Она занервничала и перепугалась. Ее лицо и руки задергались. Она запуталась, пожаловалась, что я заставляю ее нервничать, и потребовала, чтобы я прекратил это. Затем она взяла журнал и закрылась им от меня» [Гарфинкель 2002: 47–48].

Психологи-практики отмечают разнообразные негативные реакции в случаях, когда противоречие по каким-то причинам не успевает быстро сглаживаться. Неожиданное прерывание автоматического действия как нарушение привычного контекста даже используется в качестве эффективного приема психологического воздействия. Вот экспериментатор протягивает испытуемому руку для рукопожатия. Тот, в соответствии с имеющимся шаблоном поведения, автоматически отвечает тем же. В ответ экспериментатор обхватывает его запястье левой рукой и внезапно приподнимает протянутую для рукопожатия руку вверх. В течение короткого времени (не больше 10 секунд) испытуемый оказывается без программы действий. В этот момент он легко поддается разнообразным внушениям экспериментатора [Ксендзюк 1995: 271–273].

Если впечатления человека резко противоречат его жизненному опыту, они приводят его в состояние шока, даже если он заранее знает, что с ним должно произойти что-то необычное. Так, оказавшись на короткое время в состоянии невесомости, созданном в земных условиях, даже предупрежденный об этом человек испытывает эмоциональное потрясение и состояние ужаса [Китаев-Смык 2009: 122–123].

Люди могут испытывать негативные переживания при столкновении с противоречием даже в тех случаях, когда события, нарушающие ожидания, сами по себе позитивны. Представители национальных меньшинств, убежденные в том, что социальная дискриминация по отношению к ним чрезвычайно велика, переживают сильную тревогу в случае, если партнер в общении с ними не проявляет никакой дискриминации [Townsend et al. 2010]. В другом исследовании показано, что люди по-настоящему тревожатся, когда всего лишь узнают, что их показатели в задаче научения улучшились, если эта информация нарушает их знания по поводу закономерностей научения [Plaks, Stecher 2007]. По-видимому, переживание эмоционального дискомфорта заставляет людей активно искать способы разрешения противоречий [Proulx et al. 2012].

Однако иногда человек реагирует на противоречие не тревогой или шоком, а смехом. В некотором смысле такую реакцию можно рассматривать как временное «опустошение» сознания от предшествующих ожиданий и, возможно, как один из способов отключения сознательного контроля над ситуацией, которая внезапно перестала этим ожиданиям соответствовать.

Обсуждение

В данной статье сформулированы некоторые способы работы психики и сознания с противоречиями и проиллюстрирован основной тезис: сознание не терпит противоречий и пытается сложить все осознаваемые представления в непротиворечивую картину. Здесь не обсуждались конкретные алгоритмы решения этой задачи психикой и сознанием. Но мы уверены, что такие алгоритмы тесно связаны с проблемой классификации (или — что то же — с проблемой значения). Любой знак всегда появляется в сознании лишь в качестве члена некоего класса; именно отнесение к классу придает знаку актуальное осознанное значение. Поэтому все, что осознается, всегда может быть отождествлено с другими членами этого класса. Любой знак также может быть всегда отнесен к разным конкретным классам и тем самым в разных контекстах может обозначать разное.

Любой воспринятый стимул вначале относится к максимально широкому возможному классу (появилось *нечто*, аморфное пятно), так как тогда он, скорее всего, ничему не может противоречить. Дальнейшая работа с этим стимулом прежде всего включает его во все более узкие классы (см. закон Ланге в: [Аллахвердов 2000]). Любой класс характеризуется диапазоном и границами. Изменение этих диапазонов и границ, создание новых классов — это как раз то, что делают психика и сознание для того, чтобы добиться непротиворечивости. В недавнем исследовании Е. Ю. Воскресенской (не опубликовано) было показано влияние

самого испытуемого на установление диапазона класса принадлежности стимула (к которому испытуемый этот стимул относит) при оценке его противоречивости. В эксперименте последовательно предъявлялись пары: вначале существительное, а затем прилагательное, например: «собака — злая». Нужно было как можно быстрее определить, подходит ли по смыслу с его точки зрения данное прилагательное к существительному. Использовались два условия предъявления первого слова: условие чтения (например, «собака») и условие генерации, предполагающее самостоятельное достраивание фрагментированного слова (например, «со-а-а») до его полной формы. Второе условие требует больше психической работы со стороны испытуемого и, согласно вышесказанному, предполагает отнесение к более узкому классу. Действительно, оказалось, что испытуемые в условиях генерации больше сужали диапазон класса, к которому они относили существительное, и потому в два раза чаще давали ошибочные ответы «не подходит», чем в случае, если слово до этого было просто прочтено ими.

Все указанные в статье способы работы с противоречием в принципе должны быть описаны на языке образования классов. Но решение этой задачи требует дальнейших исследований.

Как видно, имеющийся у человека арсенал способов борьбы с противоречиями велик. Но если все противоречия устранены, оказывается, что сознанию как будто больше нечего делать. И тогда человек сам стремится наполнить свою жизнь противоречиями, чтобы затем их преодолевать.

Литература / References

1. Аванесян М. О. (2015). Понимание рисованных метафор // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 16. 2015. Вып. 2 (в печати).
- Avanesian, M. O. (2015). Ponimanie risovannykh metafor [Understanding of pictorial metaphors]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta* [St. Petersburg State University Bulletin], ser. 16, issue 2 (forthcoming). (In Russian).
2. Аллахвердов В. М. (1993). Опыт теоретической психологии (в жанре научной революции). СПб.: Печатный двор, 1993. 325 с.
- Allakhverdov, V. M. (1993). *Opyt teoreticheskoi psikhologii* [Experience of theoretical psychology (in the genre of scientific revolution)]. St. Petersburg: Pechatnyi Dvor. 325 p. (In Russian).
3. Аллахвердов В. М. (2000). Сознание как парадокс. СПб.: ДНК, 2000. 528 с.
- Allakhverdov, V. M. (2000). *Soznanie kak paradoks* [Consciousness as a paradox]. St. Petersburg: DNK. 528 p. (In Russian).
4. Волохонский В. Л., Вишнякова Е. А. (2006). Эффект привязки и когнитивный диссонанс // Экспериментальная психология сознания: когнитивная логика сознательного и бессознательного / Под ред. В. М. Аллахвердова. СПб.: СПбГУ, 2006. С. 229–236.
- Volokhonskii, V. L., Vishniakova, E. A. (2006). Effekt privyazki i kognitivnyi dissonans [Anchoring effect and cognitive dissonance]. In V. M. Allakhverdov (ed.). *Eksperimental'naiia psikhologiia soznaniia: kognitivnaia logika soznatel'nogo i bessoznatel'nogo* [Experimental psychology of consciousness: Cognitive logic of consciousness and the unconscious], 229–236. St. Petersburg: SPbGU. (In Russian).

5. Гарфинкель Г. (2002). Исследование привычных оснований повседневных действий // Социологическое обозрение. Т. 2. № 1. 2002. С. 42–70.
- Garfinkel, H. (2002). Issledovanie privychnykh osnovanii povsednevnykh deistvii [Studies of the routine grounds of everyday activities]. *Sotsiologicheskoe obozrenie* [Sociological review], 2(1), 42–70. (In Russian, transl. from: Garfinkel, H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*, 35–75 (ch. 2). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall).
6. Карпинская В. Ю. (2003). Влияние иллюзорного изменения величины объекта на порог его обнаружения // Ежегодник Российского психологического общества: Материалы III Всерос. съезда психологов 25–28 июня 2003 г. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. Т. 4. С. 184–187.
- Karpinskaia, V. Ju. (2003). Vliianie illiuzornogo izmeneniia velichiny ob'ekta na porog ego obnaruzheniia [Influence of the illusory changes of object's size on the threshold of its detection]. *Ezhagodnik Rossiiskogo psikhologicheskogo obshestva: Materialy III Vserossiiskogo s'ezda psikhologov 25–28 iunია 2003 goda* [Annual of Russian Psychological Society: Materials of All-Russian Congress of Psychologists June 25–28 2003], 4, 184–187. St. Petersburg: SPbGU. (In Russian).
7. Китаев-Смык Л. А. (2009). Психология стресса. Психологическая антропология стресса. М.: Академический Проект, 2009. 943 с.
- Kitaev-Smyk, L. A. (2009). *Psikhologiya stressa. Psikhologicheskaya antropologiya stressa* [Psychology of stress. Psychological anthropology of stress]. Moscow: Akademicheskii Proekt. 943 p. (In Russian).
8. Коффа К. (1975). Восприятие: введение в гештальтпсихологию // Хрестоматия по ощущению и восприятию. М.: МГУ, 1975. С. 96–113.
- Koffka, K. (1975). *Vospriiatie: vvedenie v geshalt'psikhologiiu* [Perception: Introduction to gestalt-psychology]. In *Khrestomatia po oshchushcheniiu i vospriiatiiu* [A reader on sensation and perception], 96–113. Moscow: MGU. (In Russian).
9. Ксендзюк О. (1995). Трансформация личности: нейролингвистическое программирование. Одесса: Хаджибей, 1995. 351 с.
- Ksendziuk, O. (1995). *Transformatsiia lichnosti: neirolingvisticheskoe programmirovaniie* [Transformation of personality: Neurolinguistic programming]. Odessa: Khadzhibei. 351 p. (In Russian).
10. Причисленко А. Г. (2009). Сглаживание когнитивного диссонанса при иллюзорном восприятии // Сборник статей по материалам лучших дипломных работ выпускников факультета психологии СПбГУ 2008 года. СПб: СПбГУ, 2009. С. 95–100.
- Prichislenko, A. G. (2009). Sglazhivanie kognitivnogo dissonansa pri illiuzornom vospriatii [Cognitive dissonance reduction in illusory perception]. In *Sbornik statei po materialam luchshikh diplomnykh rabot vypusknikov fakul'teta psikhologii SPbGU 2008 goda* [Collection of articles based on the best theses of SPbGU Department of Psychology graduates in 2008], 95–100. St. Petersburg: SPbGU. (In Russian).
11. Тихомиров О. К., Ключко В. Е. (1976). Обнаружение противоречий как начальный этап формирования задачи // Искусственный интеллект и психология. М.: Наука, 1976. С. 176–205.
- Tikhomirov, O. K., Klochko, V. E. (1976). Obnaruzhenie protivorechii kak nachal'nyi etap formirovaniia zadachi [Detecting conflict as the first stage in problem forming]. In *Iskusstvennyi intellekt i psikhologiya* [Artificial intelligence and psychology], 176–205. Moscow: Nauka. (In Russian).
12. Филиппова М. Г. (2006). Роль неосознаваемых значений в процессе восприятия многозначных изображений: Дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2006. 142 с.
- Filippova, M. G. (2006). *Rol' neosoznavaemykh znachenii v protsesse vospriatii mnogoznachnykh izobrazhenii* [Role of unconscious meanings in ambiguous pictures perception]. A thesis submitted for the PhD degree. St. Petersburg. 142 p. (In Russian).

13. Филиппова М. Г. (2009). **Осознаваемые и неосознаваемые компоненты восприятия многозначных изображений** // Психологические исследования: Сб. науч. тр. / Под ред. В.В. Шпунтовой. Самара: Универс-групп, 2009. Вып. 7. С. 73–91.
Filippova, M. G. (2009). Osoznavaemye i neosoznavaemye komponenty vospriiatiia mnogoznachnykh izobrazhenii [Conscious and unconscious components of ambiguous pictures perception]. In V. V. Shpuntova (ed.) *Psikhologicheskie issledovaniia* [Psychological research], 7, 73–91. Samara: Univers-grupp. (In Russian).
14. Филиппова М. Г., Чернов Р. В. (2013). Психологические и психофизиологические корреляты восприятия двойственных изображений // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 12. 2013. Вып. 2. С. 21—33.
Filippova, M. G., Chernov, R. V. (2013). Psikhologicheskie i psikhofiziologicheskie korreliaty vospriiatiia dvoistvennykh izobrazhenii [Psychological and psychophysiological correlates of ambiguous pictures perception]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta* [St. Petersburg State University Bulletin], ser. 12, issue 2, 21–33. (In Russian).
15. Хок Р. Р. (2003). **40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экспериментов**. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 416 с.
Hok, R. R. (2003). *40 issledovani, kotorye potriasli psikhologiiu. Sekrety vydaiushchikhsia eksperimentov* [Forty studies that changed psychology: Explorations into the history of psychological research]. St. Petersburg: Praim-Evroznak. 416 p. (In Russian).
16. Шибутани Т. (1969). Социальная психология. М.: Прогресс, 1969. 535 с.
Shibutani, T. (1969). *Sotsial'naia psikhologiia* [Social psychology]. Moscow: Progress. 535 p. (In Russian).
17. Щербакова О. В. (2008). Феномен понимания как интрапсихический межъязыковой обратимый перевод (на примере комических текстов) // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 12. 2008. Вып. 4. С. 215–225.
Shcherbakova, O. V. (2008). Fenomen ponimaniia kak intrapsikhicheskii mezh'iazykovoii obratimyyi perevod (na primere komicheskikh tekstov) [Phenomenon of understanding as intrapsychic interlingual reversible translation (by the example of comic texts)]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta* [St. Petersburg State University Bulletin], ser. 12, issue 4, 215–225. (In Russian).
18. Щербакова О. В. (2009). Когнитивные механизмы понимания комического: Дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2009. 234 с.
Shcherbakova, O. V. (2009). *Kognitivnye mekhanizmy ponimaniia komicheskogo* [Cognitive mechanisms of understanding humor]. A thesis submitted for the PhD degree. St. Petersburg. 234 p. (In Russian).
19. Щербакова О.В. (2010). Интеллектуальные действия, опосредующие понимание комического // Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 13. СПб.: СПбГУ, 2010. С. 224–235.
Shcherbakova, O. V. (2010). Intellektual'nye deistviia, oposreduiushchie ponimanie komicheskogo [Intellectual activities mediating understanding of humor]. *Psikhologicheskie problemy samorealizatsii lichnosti* [Psychological problems of personality self-actualization], 13, 224–235. St. Petersburg: SPbGU. (In Russian).
20. Элиава Н. Л. (1966). Мыслительная деятельность и установка // Исследования мышления в советской психологии. М.: Наука, 1966. С. 278–319.
Eliava, N. L. (1966). Myslitel'naia deiatel'nost' i ustanovka [Mental activity and the set]. In *Issledovaniia myshleniia v sovetskoi psikhologii* [Studies of thinking in Soviet psychology], 278–319. Moscow: Nauka. (In Russian).
21. Eagle, M., Wolitzky, D., Klein, G. (1966). Imagery: effect of a concealed figure in stimulus. *Science*, 151, 837–839.

22. Filippova, M. G. (2011). Does unconscious information affect cognitive activity: A study using experimental priming. *The Spanish Journal of Psychology*, 14(1), 17–33.
23. Gawronski, B., Rydell, R. J., Vervliet, B., De Houwer, J. (2010). Generalization versus contextualization in automatic evaluation. *Journal of Experimental Psychology: General*, 139(4), 683.
24. Glucksberg, S., Gildea, P., Bookin, H. B. (1982). On understanding nonliteral speech: Can people ignore metaphors? *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 21(1), 85–98.
25. McGurk, H., MacDonald, J. (1976). Hearing lips and seeing voices. *Nature*, 264, 746–748.
26. Naumenko, O. V., Kostina, D. I. (forthcoming). Aftereffects in solving dual-meaning anagrams. 21st annual international interdisciplinary conference «Toward a Science of Consciousness (TSC) 2015», Finland, Helsinki, 2015, June, 9–13.
27. O'Shea, R. P. (1999). *Translation of Dutour* (1760). [On-line]: http://psy.otago.ac.nz/r_oshea/dutour60.html.
28. Pieszek, M., Widmann, A., Gruber, T., Schröger, E. (2013). The human brain maintains contradictory and redundant auditory sensory predictions. *PLoS ONE* 8:e53634. 10.1371/journal.pone.0053634.
29. Plaks, J. E., Stecher, K. (2007). Unexpected improvement, decline, and stasis: a prediction confidence perspective on achievement success and failure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 93(4), 667–684.
30. Proulx, T., Inzlicht, M., Harmon-Jones, E. (2012). Understanding all inconsistency compensation as a palliative response to violated expectations. *Trends in Cognitive Sciences*, 16(5), 285–291.
31. Rydell, R. J., Gawronski, B. (2009). I like you, I like you not: Understanding the formation of context-dependent automatic attitudes. *Cognition and Emotion*, 23(6), 1118–1152.
32. Townsend, S. S. M., Major, B., Sawyer, P. J., Mendes, W. B. (2010). Can the absence of prejudice be more threatening than its presence? It depends on one's worldview. *Journal of Personality and Social Psychology*, 99(6), 933–947.
33. Van Gaal, S., Naccache, L., Meuwese, J. D. I., Van Loon, A. M., Leighton, A. H., Cohen, L., Dehaene, S. (2013). Can the meaning of multiple words be integrated unconsciously? *Philosophical Transactions of the Royal Society. B: Biological Sciences*, 369(1641), 20130212.

HOW CONSCIOUSNESS GETS RID OF CONTRADICTIONS

Allakhverdov, Viktor M.

Doctor of Psychology, Professor, Head, Department of General Psychology

E-mail: vimiall@gmail.com

Naumenko, Olga V.

PhD (Candidate of Science in Psychology), Postdoctorate

Filippova, Margarita G.

PhD (Candidate of Science in Psychology), Researcher

Shcherbakova, Olga V.

PhD (Candidate of Science in Psychology), Associate Professor

Avanesyan, Marina O.

PhD (Candidate of Science in Psychology), Senior Lecturer

Voskresenskaya, Elena Yu.

PhD (Candidate of Science in Psychology), Senior Lecturer

Starodubtsev, Alexei S.

Postgraduate student

Saint-Petersburg State University

Russia, Saint-Petersburg, Universitetskaya nab.

Tel.: 7/9, +7 (812) 328-94-13

Abstract. The article maintains that the mechanism of consciousness endures no contradictions and tries its best to construct a consistent picture from conscious representations. If one cannot manage with contradiction he/she experiences strong feelings or even temporarily loses his/her conscious control.

Classical and present-day experimental results are considered, including research by the St. Petersburg cognitive psychology group, which provide examples of the following main ways of eliminating contradictions:

1. Being aware of only one of possible interpretations and at the same time rejecting all the other ones, which are inconsistent with the former one.
2. Being alternately conscious of inconsistent meanings — no one can be simultaneously conscious of inconsistent meanings.
3. Unconscious distortion of information, so that the contradiction is reduced or totally disappears.
4. Constructing a unified context that transforms the contradiction into the consistent whole.
5. Depreciating either the contradiction itself or one of its parts and/or reducing it to an absurdity.

Keywords: Consciousness, contradictions, cognitive dissonance, classification, meaning, context, positive choice, negative choice.

ALLAKHVERDOV, V. M., NAUMENKO, O. V., FILIPPOVA, M. G., SHCHERBAKOVA, O. V., AVANESYAN, M. O., VOSKRESENSKAYA, E. YU., STARODUBTSEV, A. S. (2015) HOW CONSCIOUSNESS GETS RID OF CONTRADICTIONS. SHAGI / STEPS, 1 (1), 165–181

В. Ф. СПИРИДОНОВ, Э. В. ЭЗРИНА

Спирidonов Владимир Феликсович
доктор психол. наук, заведующий лабораторией
E-mail: vfspiridonov@yandex.ru

Эзрина Эмилия Валерьевна
научный сотрудник
E-mail: ezrina@yandex.ru

Лаборатория когнитивных исследований, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ БИЛИНГВА

Аннотация. Эта статья представляет собой краткий обзор моделей языковой системы билингва, сделанный на основе публикаций из американских и европейских источников. Модели, рассмотренные в данной работе, являются либо наиболее актуальными в современной экспериментальной психолингвистике, либо оказали и продолжают оказывать значимое влияние на развитие этой области. Мы приводим краткие описания и примеры экспериментальной проверки моделей семантической организации языков в когнитивной системе билингвов, моделей восприятия (или лексического доступа) и моделей порождения речи.

Ключевые слова: билингвы, сетевая модель, параллельный неизбирательный доступ, семантические узлы, синтаксические узлы, неосознаваемый прайминг.

Одной из самых дискуссионных тем в психологической литературе последних десятилетий является функционирование и взаимодействие нескольких языков в когнитивной системе одного человека: организация у него лексикона, семантической памяти и синтаксических структур. Большинство соответствующих исследований выполнено на билингвах — людях, владеющих двумя языками, — причем не только на сбалансированных билингвах (свободно говорящих на двух языках с раннего детства), но и на людях, выучивших второй язык в школьном или даже

взрослом возрасте. Полученные результаты демонстрируют тесную связь двух языков в данном случае [Grosjean 1989; Francis 1999; Kroll et al. 2012a; Kroll et al. 2012b; Kroll et al. (Forthcoming)].

Принципиальным открытием в этой области является то обстоятельство, что разные языки в языковой системе билингва активно взаимодействуют между собой. Причем такое взаимодействие разворачивается на разных уровнях: лексическом [Dijkstra, Van Heuven 2002; Brysbaert 1998; De Bruijn et al. 2001; Dijkstra et al. 2000b; Gollan, Kroll 2001; Jared, Kroll 2001; Jared, Szucs 2002; Marian et al. 2003; Schwartz et al. 2007; Von Studnitz, Green 2002; Duyck et al. 2007], семантическом [Schwanenflugel, Rey 1986; Grainger 1998; Potter et al. 1984] и синтаксическом [Bock 1986; Hartsuiker et al. 2004; Loebell, Bock 2003; Bernolet et al. 2007]. Языки довольно пластичны и проницаемы друг для друга: они взаимодействуют в ходе чтения, говорения, слушания [Marian, Spivey 2003; Van Heuven et al. 2001; Kroll et al. 2006; Schwartz, Kroll 2006; Dijkstra 2005; Strijkers et al. 2010; Misra et al. 2012]. Взаимодействие имеет место как между достаточно близкими европейскими, так и между существенно более далекими языками (например, английским и японским, английским и китайским), а также между разными «модальностями» использования одного языка (скажем, письменной и жестовой) [Gollan et al. 1997; Hoshino, Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Morford et al. 2011; Emmorey et al. 2008]. Оба языка активируются даже тогда, когда реально используется только один из них (см., например, [Schwartz, Kroll 2006; Duyck et al. 2007; Dijkstra 2005]).

Родной язык оказывает существенное влияние на использование второго языка. Однако вопреки интуитивным ожиданиям, второй язык также оказывает значимое влияние на использование первого, даже если он усвоен значительно позже, чем первый [Sunderman, Kroll 2006; Misra et al. 2012; Titone et al. 2011; Dussias, Sagarra 2007; Van Hell, Dijkstra 2002; Van Wijnendaele, Brysbaert 2002; Grosjean 1989; Linck et al. 2009].

В данном обзоре мы кратко охарактеризуем формы межъязыкового взаимодействия и существующие теоретические модели, описывающие и объясняющие в этой связи устройство языковой системы билингва. Сначала мы рассмотрим модели, которые посвящены возможным семантическим связям между двумя языками, затем — лексическим и синтаксическим связям, и, наконец, некоторые модели порождения речи билингвом.

Модели семантической организации

В большинстве исследований постулируется наличие единого семантического хранилища для обоих языков билингва. Этот тезис опирается на результаты достаточно ранних экспериментальных работ [Caramazza, Brones 1980; Schwanenflugel, Rey 1986; Duyck, Brysbaert 2004; De Bot 1992; Costa et al. 1999; Potter et al. 1984; Francis 1999] и положен в основание нескольких известных теоретических конструкций, объясняющих доступ к значениям слов, — например, Модели связи слов (*Word Association*) и Мо-

дели семантического опосредования (*Concept Mediation*) [Potter et al. 1984], а также Переработанной иерархической модели (*Revised Hierarchical Model*) [Kroll, Stewart 1994]. Более поздние исследования с применением семантического прайминга также указывают на общую систему языковых значений у билингвов. Об этом говорит положительный прайминг-эффект, возникающий между семантически связанными стимулами; причем подобное влияние было обнаружено как со стороны слов родного языка на слова неродного, так и в обратном направлении [Duñabeitia et al. 2010; Duyck 2005; Francis et al. 2003; Grainger 1998]. Этот вывод требует определенных уточнений. Так, в исследованиях с применением семантического прайминга было обнаружено, что неродной язык оказывает на родной более слабое влияние. Для объяснения этой асимметрии была предложена Модель распределенной репрезентации (*Distributed Representation Model*) [Van Hell, De Groot 1998; Duyck, Brysbaert 2004], предлагающая единое семантическое хранилище, которое содержит не понятия как таковые, а набор признаков или совокупность семантических примитивов. Таким образом, семантические репрезентации слов разных языков совпадают настолько, насколько сильно пересекаются соответствующие им множества признаков. При этом слово на языке, выученном позже, активирует меньше компонентов значения; этим и может объясняться асимметрия прайминг-эффекта. Другая модель — *Sense* [Finkbeiner et al. 2004] объясняет обсуждаемую асимметрию наличием смыслов (оттенков значения, полисемии), набор которых очевидным образом богаче у слов родного языка, чем неродного [Schoonbaert et al. 2007]. Несмотря на асимметрию прайминг-эффекта, само его наличие говорит о сильном взаимодействии разных языков на семантическом уровне в языковой системе билингва.

Модели лексического доступа. Иерархические модели

Вопрос доступа из лексического хранилища (или лексических хранилищ) в единое семантическое в языковой системе билингвов активно обсуждается в литературе. Среди первых исследований этого вопроса можно назвать работу М. Поттер и коллег [Potter et al. 1984], в которой рассматриваются уже упомянутые выше модели семантического опосредования и связи слов. Модель семантического опосредования предполагает доступ в семантическое хранилище из лексиконов обоих языков, т. е. лексические единицы обоих языков билингва имеют непосредственные связи с общим семантическим хранилищем (рис. 1). В противовес этому модель связи слов предполагает связь языков на лексическом уровне, причем доступ в семантическое хранилище осуществляется только через родной язык (рис. 2). Экспериментальная проверка показала верность модели семантического опосредования для билингвов, владеющих вторым языком на высоком уровне. При этом модель связи слов больше подходит для описания организации памяти билингвов на более раннем этапе изучения второго языка [Kroll, Curley 1988].

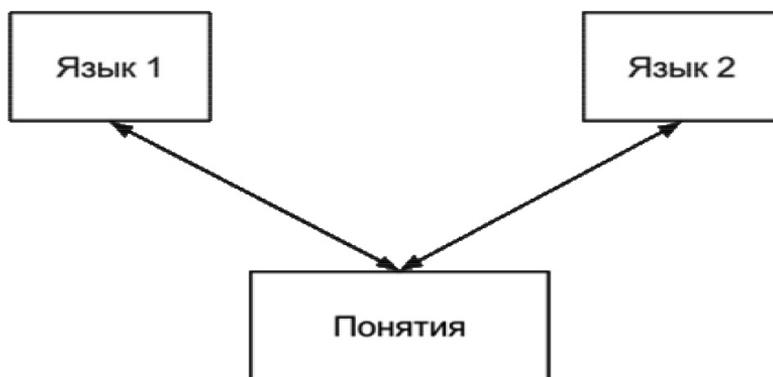


Рис. 1. Модель семантического опосредования (адаптировано из: [Potter et al. 1984])

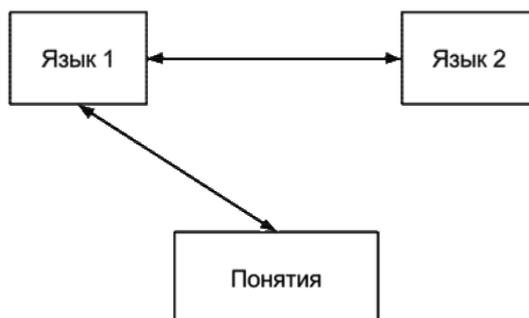


Рис. 2. Модель связи слов (адаптировано из: [Potter et al. 1984])

Компромиссным вариантом стала Переработанная иерархическая модель (рис. 3) [Kroll, Stewart 1994]. Авторы ввели понятие силы связи, предположив, что лексикон первого языка связан с семантическим хранилищем, а лексикон второго языка сильнее связан с лексиконом первого, чем с хранилищем. Они предположили, что перевод с первого языка на второй осуществляется опосредованно, через обращение к семантическому хранилищу, а значит, требует больше времени, чем перевод в обратном направлении, который осуществляется лексически. Эта асимметрия уменьшается по мере возрастания уровня владения вторым языком (за счет укрепления связей его лексикона с семантическим хранилищем). Чтобы проверить гипотезу о силе связей, авторы провели эксперимент, в котором нидерландско-английские билингвы, относительно хорошо владеющие вторым языком, переводили списки слов в обоих направлениях. Одни списки были организованы семантически, другие подобраны случайным образом, при этом свойства списков оказали влияние только на перевод с первого языка на второй. Этот результат свидетельствует в пользу того, что перевод на второй язык требует обращения к семантическому хранилищу, и подтверждает тезис о том, что сила связи с семантическим хранилищем различается для разных лексиконов [Kroll, Stewart 1994].

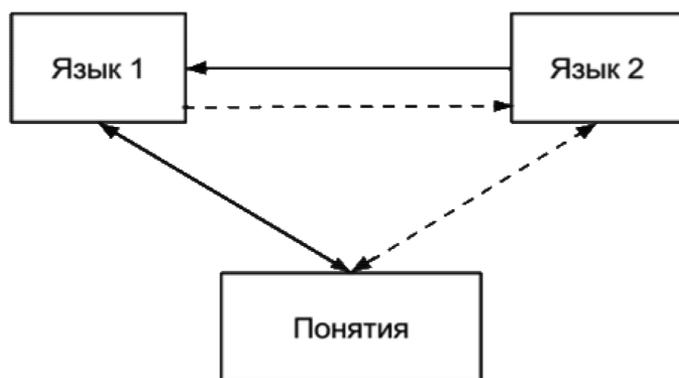


Рис. 3. Переработанная иерархическая модель
(адаптировано из: [Kroll, Stewart 1994])

В ряде работ был обнаружен и исследован факт одновременной активации лексических единиц обоих языков. Тот факт, что доступ к лексике первого языка не обязателен для понимания слов второго языка, опровергает ряд положений Переработанной иерархической модели. Тем не менее, ее авторы считают, что в ходе обучения второму языку более сильными являются связи лексиконов. При этом связь лексикона второго языка с семантическим хранилищем укрепляется по мере совершенствования второго языка [Kroll et al. 2010].

Эта модель дополняется работами, в которых замедление перевода на второй язык объясняется необходимостью подавлять более сильную активацию более прочных связей между лексикой родного языка и семантическими представлениями [Green 1986; 1998].

Модели параллельного доступа

Пожалуй, наиболее цитируемыми моделями организации лексикона билингвов являются ВІА и ВІА+ (*Bilingual Interactive Activation*) (рис. 4) [Dijkstra, Van Heuven, 1998; 2002]. Основная идея авторов этих моделей заключается в том, что лексиконы обоих языков хранятся совместно внутри единой сети, а доступ к ним осуществляется параллельно и неизбирательно. Для того чтобы сделать выбор в пользу конкретного языка, в модели ВІА **предусмотрен специальный набор языковых узлов**, с помощью которого активируется целевой и подавляется нецелевой язык. Это значит, что когда билингву предъявляется последовательность букв или звуков, у него активируется сразу несколько лексических кандидатов независимо от их языковой принадлежности. Активация кандидатов определяется их поверхностным сходством со стимулом и частотностью их употребления. Затем система выбирает одну из лексических единиц, тормозя все остальные.

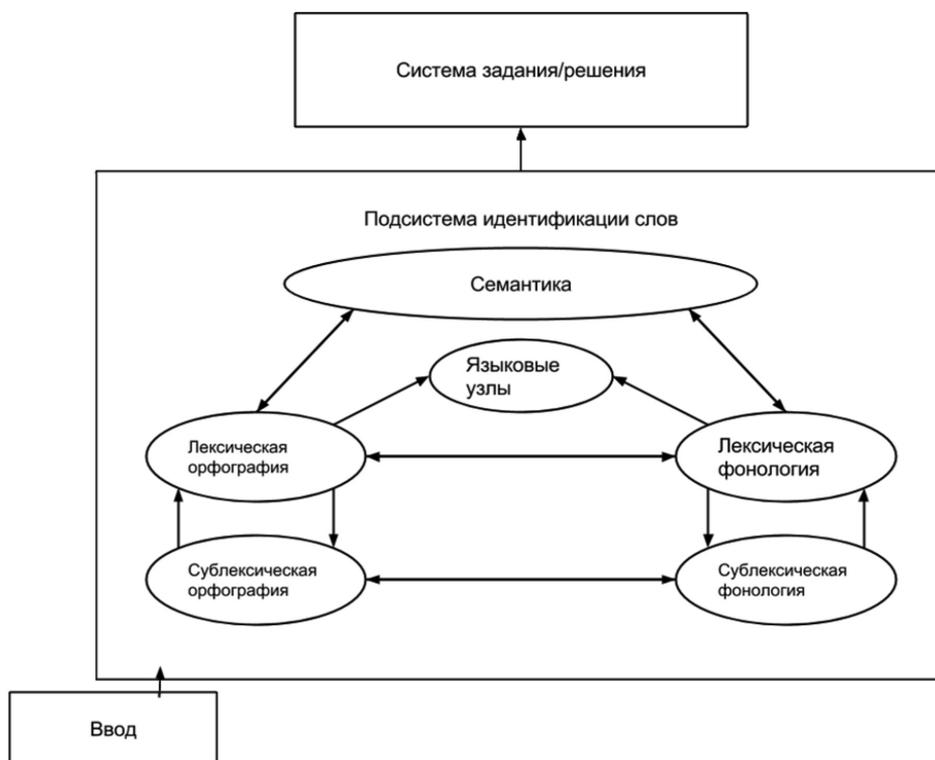


Рис. 4. Модель BIA+ (адаптировано из: [Dijkstra, Van Heuven 2002])

Модель проверялась в экспериментах с использованием различного материала: на словах с похожим написанием (например, *work* — *cork*), омографах — словах с одинаковым написанием, но разным значением (например, *root* англ. ‘комната’, нидерл. ‘крем’, ‘сливки’) и когнатах — словах с одинаковым значением и похожим написанием (например, *hospital* англ., исп. ‘больница’) и была подтверждена во всех названных случаях [Dijkstra, Van Heuven 1998].

В более поздней модели BIA+ были добавлены фонологические и семантические характеристики лексических единиц, на обработку которых также распространяются принципы параллельности и неизбирательности. Выбор конкретного языка определяется в ней системой принятия решения (task/decision) [Dijkstra, Van Heuven 2002]. Соответствующие предсказания модели BIA+ хорошо подтверждаются экспериментально [Van Hell, Dijkstra 2002; Dijkstra et al. 2000a; Jared, Szucs 2002; Von Studnitz, Green 2002; Gullifer et al. 2013; De Bruijn et al. 2001].

Таким образом, идея о едином лексическом хранилище у билингвов имеет большое число сторонников и существенные эмпирические подтверждения.

Синтаксические структуры в моделях языковой системы билингва

По сравнению с весьма существенным количеством работ, посвященных организации лексикона и семантических представлений билингвов, исследований о связи между синтаксисами двух языков значительно меньше (см., например: [Bock 1986; Hartsuiker et al. 2004; Schoonbaert et al. 2007]). Предметом интереса в данном случае является общее или раздельное хранение синтаксисов двух языков и их возможное взаимодействие в ходе использования.

Довольно часто методом изучения названных вопросов выступает синтаксический прайминг. Испытуемому предъявляется какая-либо синтаксическая конструкция и измеряется тенденция воспроизводить ее при выполнении последующего задания. Наличие межязыкового положительного прайминг-эффекта, т. е. воспроизведение аналогичной структуры на другом языке, интерпретируется как наличие связи между синтаксическими структурами. Так, в исследовании Х. Лебелл и К. Бок немецко-английские билингвы повторяли предложение-прайм на своем первом (немецком) или на втором (английском) языках, а затем должны были описать на другом языке картинку, никак не связанную с праймом. В качестве праймов были использованы дативные конструкции с двойным дополнением, предлож-ные дативные конструкции, активные и пассивные конструкции с переходным глаголом. В ситуации с обеими дативными конструкциями отмечался прайминг-эффект: испытуемые чаще повторяли эти конструкции в целевых фразах. При предъявлении пассивных конструкций эффект отсутствовал. Авторы объясняют это тем, что в случае с пассивом в разных языках используются различные синтаксические конструкции (смысловой глагол в немецком ставится в конце предложения), в то время как в дативных конструкциях — одинаковые. Предположительно, аналогичные для двух языков синтаксические конструкции хранятся в памяти билингва совместно, а остальные — раздельно [Loebell, Bock 2003].

В работе Р. Хартсуйкера и его коллег эффект такого рода был обнаружен в языковой паре английский–испанский. В экспериментах с испано- и англоговорящими билингвами было установлено, что испытуемые часто повторяют на одном языке синтаксическую конструкцию, услышанную ими недавно на другом языке (собственно, это и есть прайминг-эффект). Это говорит о совместном хранении синтаксических репрезентаций [Hartsuiker et al. 2004]. Данный тезис подтверждается явлением *code-switching*, в ходе которого билингв переходит с одного языка на другой внутри одной фразы, не нарушая ее синтаксической целостности.

В исследовании [Desmet, Declerq 2006] авторы использовали в качестве стимульного материала предложения с релятивными клаузами, которые можно было интерпретировать неоднозначно (например: *Someone shot the servant of the actress who was on the balcony*). В этом предложении непонятно, к какому слову относится конструкция, открывающаяся словом *who*, — к *servant* или к *actress*. В нидерландском языке эта неоднозначность снимается

за счет согласования по роду. В эксперименте нидерландские праймы оказали влияние на разрешение неоднозначности в английских предложениях. Таким образом, было получено еще одно свидетельство взаимодействия и, по-видимому, совместного хранения синтаксических конструкций. Число подобных исследований растет, и в них преобладает мнение о том, что некоторые синтаксические структуры действительно являются общими для двух языков у билингвов (см. обзор: [Kroll, Dussais 2013]).

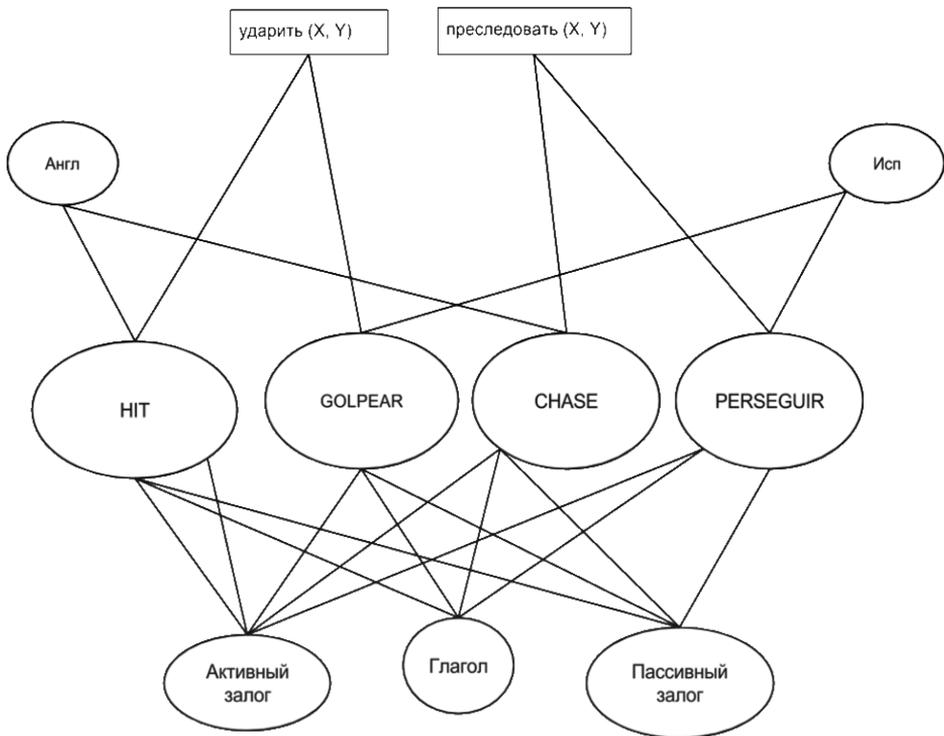


Рис. 5. Модель Хартсуйкера (адаптировано из: [Hartsuiker et al. 2004])

В уже цитированной работе Хартсуйкера и коллег предложена в некотором смысле обобщающая модель (рис. 5), включающая взаимодействие семантики и синтаксиса в языковой системе билингва [Hartsuiker et al. 2004]. Эта модель представляет собой многоуровневую сеть, содержащую узлы следующих видов: общие для обоих языков узлы значений, леммы — единицы, содержащие как семантическую, так и синтаксическую информацию, языковые узлы (языковые тэги), определяющие принадлежность слова к тому или иному языку, категориальные узлы, содержащие информацию о принадлежности слова к грамматической категории (глагол, существительное и т. п.), и комбинаторные узлы, содержащие информацию о конструкциях, в которых слово может употребляться. Леммы являются про-

межуточным уровнем: они связаны с семантическими и языковыми узлами, с одной стороны, и с категориальными и комбинаторными узлами — с другой. Модель позаимствовала ряд идей из VIA+ и была расширена посредством добавления путей переработки синтаксической информации. Таким образом, активация через уровень лемм распространяется на узлы других типов, что объясняет проницаемость языковых систем друг для друга на различных уровнях. Одним из важных следствий такого положения дел является возможность оказывать непосредственное влияние на использование синтаксической конструкции с опорой на синтаксические свойства отдельных слов [Schoonbaert et al. 2007].

В исследовании [Hartsuiker, Pickering 2008] предсказания описанной модели были сопоставлены с конкурирующими теориями [De Bot 1992; Ullman 2001]. Оказалось, что модель Р. Хартсуйкера и коллег лучше соответствует имеющимся экспериментальным данным (так, внутриязыковой прайминг по силе практически не отличается от межъязыкового, а схожесть используемых синтаксических конструкций оказывается фактором, намного более значимым для возникновения прайминга, чем генетическая близость используемых в эксперименте языков).

Несмотря на наличие разноплановых экспериментальных подтверждений, можно сформулировать ряд критических замечаний в адрес синтаксической составляющей обсуждаемой модели. В первую очередь, сомнения вызывает излишне простая двухслойная структура языковой сети, в которой узлы-леммы непосредственно связаны с разнотипными синтаксическими узлами, что не предполагает никакой иерархии на синтаксическом уровне и не позволяет кодировать синтаксическую иерархию реальных предложений. Кроме того, легко сделать невозможным срабатывание подобной «плоской» сети. Так, узлы пассива и актива, анализируемые авторами модели, по-видимому, должны быть устроены реципрокно, т.е. не могут быть активированы одновременно. (Если это не так, то выделение узлов актива, пассива и глагола избыточно: узел-глагол несет в себе всю необходимую информацию.) Однако при предъявлении прайма — отдельного слова — должны активироваться все связанные с ним синтаксические узлы, кодирующие разноплановые возможности его использования. Если мы предъявим в качестве прайма глагол в неопределенной форме, который может быть использован и в активном, и в пассивом залоге, то обсуждаемая модель не имеет способов адекватного реагирования. Значит, нужен особый механизм, который регулирует работу синтаксических узлов. Насколько мы можем судить, в обсуждаемой модели он не предусмотрен.

Модели порождения речи

Рассмотрим коротко основные модели порождения речи. Большинство из них содержат по меньшей мере следующие компоненты: замысел, выбор слов, формулировку синтаксической конструкции (порядок осуществления билингвом двух предыдущих пунктов дискутируется), артикуляцию.

У билингвов выбор из нескольких альтернатив происходит как минимум на уровне выбора слов или лемм и артикуляции. Наиболее распространенная модель порождения речи у билингвов описана в работах [Hermans 2000; Poulisse, Bongaerts 1994] и схематично может быть представлена следующим образом (см. *рис. 6*).

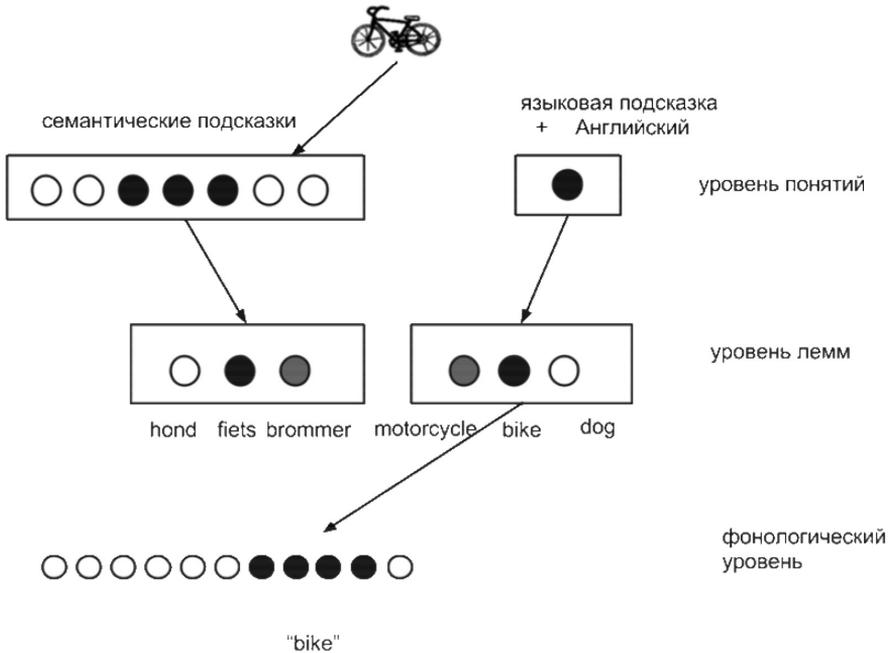


Рис. 6. Модель порождения речи
(адаптировано из: [Hermans 2000; Poulisse, Bongaerts 1994])

Две главные конкурирующие теоретические точки зрения, существующие в области моделей порождения речи, в целом сводятся к следующему: приверженцы одной из них считают, что речь порождается последовательно и дискретно, т.е. перечисленные процессы происходят строго один за другим, сторонники другой доказывают интерактивный характер ее порождения, т.е. информация на любом уровне взаимодействует с информацией на всех остальных. Примерами здесь могут быть модели В. Левелта [Levelt 1999] (*рис. 7*) и Дж. Делла [Dell 1986] (*рис. 8*), соответственно.

Порождение речи у билингвов осложнено тем, что возникает необходимость выбрать язык, на котором этот процесс будет осуществляться. В этой связи возникает вопрос, когда именно происходит выбор языка. Исследователи сходятся в том, что в ходе планирования высказывания активируются оба доступных языка. Целый ряд работ на материале разнообразных заданий доказывает, что языки взаимодействуют друг с другом на всех уровнях: например, выполнение заданий

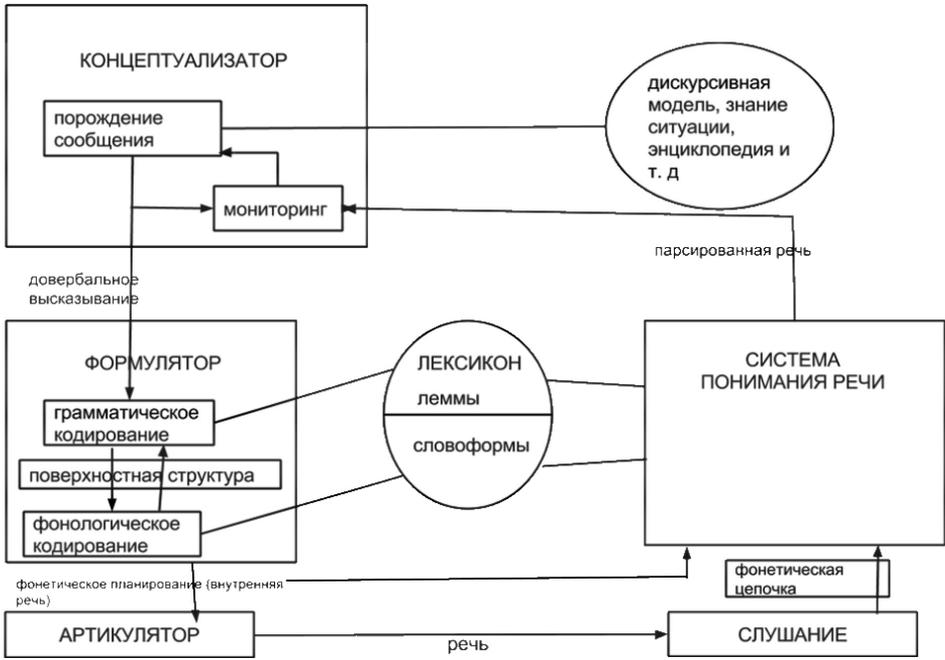


Рис. 7. Модель В. Левелта (адаптировано из: [Levelt 1999])

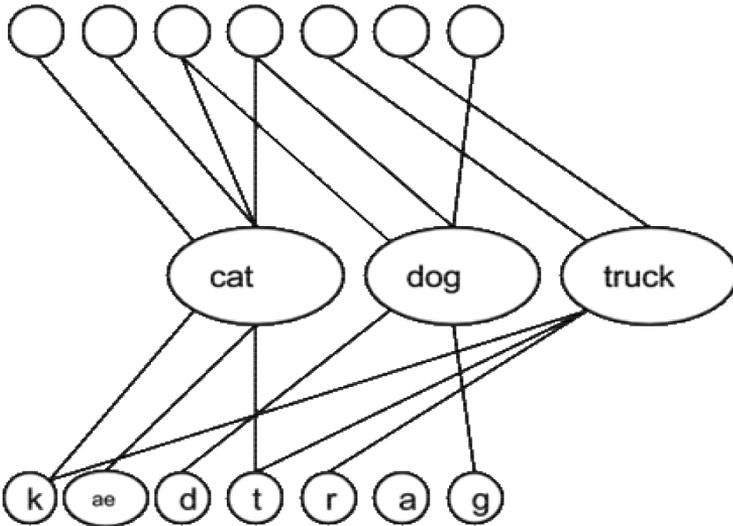


Рис. 8. Модель Дж. Делла (адаптировано из: [Dell 1986])

на интерференцию слова и изображения (по типу феномена Струпа) показывает, что при назывании картинок активируются сразу несколько кандидатов из разных языков [Costa et al. 1999; Hermans et al. 1998]; переход с одного языка на другой требует затрат времени и приводит к трудностям, связанным с извлечением слов [Meuter, Allport 1999; Misra et al. 2012]; феномен «на кончике языка» чаще встречается у билингвов [Gollan, Silverberg 2001].

Эта проблемная ситуация разрешается в рамках Модели соревнования (*Competition for Selection Model*), которая постулирует, что проблема выбора слов-кандидатов, с которой сталкивается билингв, решается с помощью подавления одного из языков [Misra et al. 2012]. Эта модель также хорошо объясняет причины, по которым билингвы говорят медленнее, чем монолингвы на втором языке, а иногда даже и на первом [Kroll, Gollan 2014].

Однако в этом случае существует теоретическая альтернатива — гипотеза запаздывания по причине частотности (*Frequency Lag Hypothesis*), также известная как гипотеза слабых звеньев. Согласно ей второй язык используется реже доминирующего языка, поэтому актуализация его элементов занимает больше времени. Аналогично, каждый из двух языков билингва используется реже по сравнению с одним языком монолингва в сходных условиях, т. е. частота употребления каждого слова распределяется между двумя языками, и, как следствие, каждый из них «работает» медленнее.

* * *

В этой статье мы кратко рассмотрели наиболее известные на данный момент теоретические модели языковой системы билингвов, которые описывают ее организацию, а также участие в порождении речи. Большой частью в обзор вошли разнотипные сетевые модели. Заметим, что в настоящее время существует относительный консенсус исследователей в вопросах, связанных с совместным хранением и использованием двух разных языков. В теоретических и экспериментальных работах защищается и обосновывается тезис о параллельности и неизбирательности доступа к семантике, лексике и синтаксическим структурам, относящимся к двум разным языкам, и предлагаются объяснения существенных особенностей работы подобной языковой системы при порождении речи. При этом внимание исследователей постепенно сдвигается в сторону выявления ограничений данных моделей, т. е. языкового поведения билингвов, с которыми они не справляются. Но это тема другой статьи.

Литература / References

1. Bernolet, S., Hartsuiker, R. J., Pickering, M. J. (2007). Shared syntactic representations in bilinguals: Evidence for the role of word-order repetition. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 33(5), 931–949.
2. Bock, J. K. (1986). Syntactic persistence in language production. *Cognitive Psychology*, 18, 355–387.
3. Brysbaert, M. (1998). Word recognition in bilinguals: Evidence against the existence of two separate lexicons. *Psychologica Belgica*, 38, 163–175.
4. Caramazza, A., Brones, I. (1980). Semantic classification by bilinguals. *Canadian Journal of Psychology = Revue canadienne de psychologie*, 34(1), 77–81.
5. Costa, A., Miozzo, M., Caramazza, A. (1999). Lexical selection in bilinguals: Do words in the bilingual's two lexicons compete for selection? *Journal of Memory & Language*, 41(3), 365–397.
6. De Bot, K. (1992). Applied Linguistics. *Applied Linguistics*, 13(1), 1–24.
7. De Bruijn, E. R., Dijkstra, T., Chwilla, D. J., Schriefers, H. J. (2001). Language context effects on interlingual homograph recognition: evidence from event-related potentials and response times in semantic priming. *Bilingualism: Language and Cognition*, 4(2), 155–168.
8. Dell G. S. (1986). A Spreading activation theory of retrieval and sentence production. *Psychological Review*, 93, 283–321
9. Desmet, T., Declercq, M. (2006). Cross-linguistic priming of syntactic hierarchical configuration information. *Journal of Memory and Language*, 54(4), 610–632.
10. Dijkstra, T. (2005). Bilingual visual word recognition and lexical access. *Handbook of Bilingualism Psycholinguistic Approaches*, 54, 179–201.
11. Dijkstra, T., Van Heuven, W. J. (1998). The BIA model and bilingual word recognition. In *Localist Connectionist Approaches to Human Cognition*, 189–225. Mahwah, NJ: Erlbaum.
12. Dijkstra, T., Van Heuven, W. J. (2002). The architecture of the bilingual word recognition system: From identification to decision. *Bilingualism: Language and Cognition*, 5(3), 175–197.
13. Dijkstra, T., De Bruijn, E., Schriefers, H., Ten Brinke, S. (2000a). More on interlingual homograph recognition: Language intermixing versus explicitness of instruction. *Bilingualism: Language and Cognition*, 3(1), 69–78.
14. Dijkstra, T., Timmermans, M., Schriefers, H. (2000b). On being blinded by your other language: Effects of task demands on interlingual homograph recognition. *Journal of Memory and Language*, 42(4), 445–464.
15. Duñabeitia, J. A., Perea, M., Carreiras, M. (2010). Masked translation priming effects with highly proficient simultaneous bilinguals. *Experimental Psychology*, 57(2), 98–107.
16. Dussias, P. E., Sagarra, N. (2007). The effect of exposure on syntactic parsing in Spanish-English bilinguals. *Bilingualism: Language and Cognition*, 10(1), 101–116.
17. Duyck, W. (2005). Translation and associative priming with cross-lingual pseudohomophones: evidence for nonselective phonological activation in bilinguals. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 31(6), 1340–1359.
18. Duyck, W., Brysbaert, M. (2004). Forward and backward number translation requires conceptual mediation in both balanced and unbalanced bilinguals. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 30(5), 889–906.

19. Duyck, W., Assche, E. V., Drieghe, D., Hartsuiker, R. J. (2007). Visual word recognition by bilinguals in a sentence context: evidence for nonselective lexical access. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 33(4), 663–679.
20. Emmorey, K., Luk, G., Pyers, J. E., Bialystok, E. (2008). The source of enhanced cognitive control in bilinguals: evidence from bimodal bilinguals. *Psychological Science*, 19(12), 1201–1206.
21. Finkbeiner, M., Forster, K., Nicol, J., Nakamura, K. (2004). The role of polysemy in masked semantic and translation priming. *Journal of Memory and Language*, 51(1), 1–22.
22. Francis, W. S. (1999). Cognitive integration of language and memory in bilinguals: Semantic representation. *Psychological Bulletin*, 125(2), 193–222.
23. Francis, W. S., Augustini, B. K., Sáenz, S. P. (2003). Repetition priming in picture naming and translation depends on shared processes and their difficulty: Evidence from Spanish-English bilinguals. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 29(6), 1283–1297.
24. Gollan, T. H., Silverberg, N. B. (2001). Tip-of-the-tongue states in Hebrew-English bilinguals. *Bilingualism: Language and Cognition*, 4(1), 63–83.
25. Gollan, T. H., Kroll, J. F. (2001). Bilingual lexical access. In *The Handbook of Cognitive Neuropsychology: What Deficits Reveal about the Human Mind*, 321–345. Philadelphia: Taylor and Francis.
26. Gollan, T. H., Forster, K. I., Frost, R. (1997). Translation priming with different scripts: Masked priming with cognates and noncognates in Hebrew-English bilinguals. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 23(5), 1122–1139.
27. Grainger, J. (1998). Masked priming by translation equivalents in proficient bilinguals. *Language and Cognitive Processes*, 13(6), 601–623.
28. Green, D. W. (1986). Control, activation, and resource: A framework and a model for the control of speech in bilinguals. *Brain and Language*, 27(2), 210–223.
29. Green, D. W. (1998). Mental control of the bilingual lexico-semantic system. *Bilingualism: Language and Cognition*, 1(2), 67–81.
30. Grosjean, F. (1989). Neurolinguists, beware! The bilingual is not two monolinguals in one person. *Brain and Language*, 36(1), 3–15.
31. Gullifer, J. W., Kroll, J. F., Dussias, P. E. (2013) When language switching has no apparent cost: Lexical access in sentence context. *Frontiers in Psychology*, 4 (May), article 278.
32. Hartsuiker, R. J., Pickering, M. J. (2008). Language integration in bilingual sentence production. *Acta Psychologica*, 128(3), 479–489.
33. Hartsuiker, R. J., Pickering, M. J., Veltkamp, E. (2004). Is syntax separate or shared between languages? Cross-linguistic syntactic priming in Spanish-English bilinguals. *Psychological Science*, 15(6), 409–414.
34. Hermans, D. (2000). *Word Production in a Foreign Language*. Unpublished doctoral dissertation, University of Nijmegen, The Netherlands.
35. Hermans, D., Bongaerts, T., De Bot, K., Schreuder, R. (1998). Producing words in a foreign language: Can speakers prevent interference from their first language? *Bilingualism: Language and Cognition*, 1(3), 213–229.
36. Hoshino, N., Kroll, J. F. (2008). Cognate effects in picture naming: Does cross-language activation survive a change of script? *Cognition*, 106(1), 501–511.
37. Jared, D., Kroll, J. F. (2001). Do bilinguals activate phonological representations in one or both of their languages when naming words? *Journal of Memory and Language*, 44(1), 2–31.

38. Jared, D., Szucs, C. (2002). Phonological activation in bilinguals: Evidence from interlingual homograph naming. *Bilingualism: Language and Cognition*, 5(3), 225–239.
39. Kroll, J. F., Curley, J. (1988). Lexical memory in novice bilinguals: The role of concepts in retrieving second language words. *Practical Aspects of Memory*, 2, 389–395.
40. Kroll, J. F., Dussias, P. E. (2013). The comprehension of words and sentences in two languages. In Bhatia T., Ritchie, W. (eds.), *The Handbook of Bilingualism and Multilingualism*, 2nd ed., 216–243. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
41. Kroll, J. F., Gollan, H. (2014). Speech planning in two languages: What bilinguals tell us about language production. In *The Oxford Handbook of Language Production*, 165–227. Oxford: Oxford Univ. Press.
42. Kroll, J. F., Stewart, E. (1994). Category interference in translation and picture naming: Evidence for asymmetric connections between bilingual memory representations. *Journal of Memory and Language*, 33(2), 149–174.
43. Kroll, J. F., Bobb, S. C., Wodniecka, Z. (2006). Language selectivity is the exception, not the rule: Arguments against a fixed locus of language selection in bilingual speech. *Bilingualism: Language and Cognition*, 9(2), 119–135.
44. Kroll, J. F., Bogulski, C. A., McClain, R. (2012a). Psycholinguistic perspectives on second language learning and bilingualism: The course and consequence of cross-language competition. *Linguistic Approaches to Bilingualism*, 2(1), 1–24.
45. Kroll, J. F., Dussias, P. E., Bice, K., Perrotti, L. (Forthcoming). Bilingualism, mind, and brain. In M. Liberman, B. H. Partee (eds.), *Annual Review of Linguistics*.
46. Kroll, J. F., Dussias, P. E., Bogulski, C. A., Valdes Kroff, J. R. (2012b). Juggling two languages in one mind: What bilinguals tell us about language processing and its consequences for cognition. *Psychology of Learning and Motivation-Advances in Research and Theory*, 56, 229–262.
47. Kroll, J. F., Van Hell, J. G., Tokowicz, N., Green, D. W. (2010). The Revised Hierarchical Model: A critical review and assessment. *Bilingualism: Language and Cognition*, 13(3), 373–381.
48. Levelt, W. J. (1999). Producing spoken language: A blueprint of the speaker. In *The Neurocognition of Language*, 83–122. Oxford Univ. Press.
49. Linck, J. A., Kroll, J. F., Sunderman, G. (2009). Losing access to the native language while immersed in a second language: Evidence for the role of inhibition in second-language learning. *Psychological Science*, 20(12), 1507–1515.
50. Loebell, H., Bock, K. (2003). Structural priming across languages. *Linguistics*, 41(5; issue 387), 791–824.
51. Marian, V., Spivey, M. (2003). Competing activation in bilingual language processing: Within- and between-language competition. *Bilingualism: Language and Cognition*, 6(2), 97–115.
52. Marian, V., Spivey, M., Hirsch, J. (2003). Shared and separate systems in bilingual language processing: Converging evidence from eye tracking and brain imaging. *Brain and Language*, 86(1), 70–82.
53. Meuter, R. F., Allport, A. (1999). Bilingual language switching in naming: Asymmetrical costs of language selection. *Journal of Memory and Language*, 40(1), 25–40.
54. Misra, M., Guo, T., Bobb, S. C., Kroll, J. F. (2012). When bilinguals choose a single word to speak: Electrophysiological evidence for inhibition of the native language. *Journal of Memory and Language*, 67(1), 1–27.
55. Morford, J. P., Wilkinson, E., Villwock, A., Piñar, P., Kroll, J. F. (2011). When deaf signers read English: Do written words activate their sign translations? *Cognition*, 118(2), 286–292.

56. Potter, M. C., So, K. F., Eckardt, B. V., Feldman, L. B. (1984). Lexical and conceptual representation in beginning and proficient bilinguals. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 23(1), 23–38.
57. Poulisse, N., Bongaerts, T. (1994). First language use in second language production. *Applied linguistics*, 15(1), 36–57.
58. Schoonbaert, S., Hartsuiker, R. J., Pickering, M. J. (2007). The representation of lexical and syntactic information in bilinguals: Evidence from syntactic priming. *Journal of Memory and Language*, 56(2), 153–171.
59. Schwanenflugel, P. J., Rey, M. (1986). Interlingual semantic facilitation: Evidence for a common representational system in the bilingual lexicon. *Journal of Memory and Language*, 25(5), 605–618.
60. Schwartz, A. I., Kroll, J. F. (2006). Bilingual lexical activation in sentence context. *Journal of Memory and Language*, 55(2), 197–212.
61. Schwartz, A. I., Kroll, J. F., Diaz, M. (2007). Reading words in Spanish and English: Mapping orthography to phonology in two languages. *Language and Cognitive Processes*, 22(1), 106–129.
62. Strijkers, K., Costa, A., Thierry, G. (2010). Tracking lexical access in speech production: electrophysiological correlates of word frequency and cognate effects. *Cerebral Cortex*, 20, 912–928.
63. Sunderman, G., Kroll, J. F. (2006). First language activation during second language lexical processing: An investigation of lexical form, meaning, and grammatical class. *Studies in Second Language Acquisition*, 28(3), 387–422.
64. Thierry, G., Wu, Y. J. (2007). Brain potentials reveal unconscious translation during foreign-language comprehension. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(30), 12530–12535.
65. Titone, D., Libben, M., Mercier, J., Whitford, V., Pivneva, I. (2011). Bilingual lexical access during L1 sentence reading: The effects of L2 knowledge, semantic constraint, and L1–L2 intermixing. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 37(6), 1412–1431.
66. Ullman, M. T. (2001). The neural basis of lexicon and grammar in first and second language: The declarative/procedural model. *Bilingualism: Language and Cognition*, 4(2), 105–122.
67. Van Hell, J. G., De Groot, A. (1998). Conceptual representation in bilingual memory: Effects of concreteness and cognate status in word association. *Bilingualism: Language and Cognition*, 1(3), 193–211.
68. Van Hell, J. G., Dijkstra, T. (2002). Foreign language knowledge can influence native language performance in exclusively native contexts. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9(4), 780–789.
69. Van Heuven, W. J., Dijkstra, T., Grainger, J., Schriefers, H. (2001). Shared neighborhood effects in masked orthographic priming. *Psychonomic Bulletin and Review*, 8(1), 96–101.
70. Van Wijnendaele, I., Brysbaert, M. (2002). Visual word recognition in bilinguals: phonological priming from the second to the first language. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 28(3), 616.
71. Von Studnitz, R. E., Green, D. W. (2002). Interlingual homograph interference in German–English bilinguals: Its modulation and locus of control. *Bilingualism: Language and Cognition*, 5(1), 1–23.

PSYCHOLOGICAL MODELS OF A BILINGUAL LANGUAGE SYSTEM

Spiridonov, Vladimir F.

Doctor of Psychology, Head of Laboratory

E-mail: vspiridonov@yandex.ru

Ezrina, Emily V.

Researcher

E-mail: ezrina@yandex.ru

*Cognitive Research Lab, School of Advanced Studies for the Humanities,
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-96-47*

Abstract. In this paper we provide a brief overview of models of a bilingual language system based on publications from American and European sources. Models reviewed in this article are either of great importance in contemporary experimental psycholinguistics or had a significant impact on the development of this field. We give brief descriptions and examples of experimental studies of models of semantic organization of bilinguals' two languages, comprehension (lexical access) and production models.

Keywords: bilinguals, network model, parallel non-selective access, semantic nodes, syntactic nodes, subliminal priming.

SPIRIDONOV, V. F., EZRINA, E. V. (2015) PSYCHOLOGICAL MODELS OF A BILINGUAL LANGUAGE SYSTEM. SHAGI / STEPS, 1 (1), 182–198

В. Ф. СПИРИДОНОВ

Спиридонов Владимир Феликсович
доктор психол. наук,
заведующий Лабораторией
когнитивных исследований, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: vspiridonov@yandex.ru

О КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПРОЕКТАХ

Аннотация. Одним из основных направлений исследований нашей Лаборатории является изучение экспертов и экспертности в решении различных задач и проблем. Под экспертами мы понимаем людей, достигших значительных успехов в той или иной сфере деятельности. Причем эта сфера может быть сколь угодно узкой: скажем, можно быть экспертом в решении только одного типа задач (или даже одной задачи). Основной интерес здесь представляют отличия экспертов, специалистов в какой-либо области знания, от новичков: интересно понять, что позволяет экспертам быстро, эффективно и с несопоставимо маленьким по сравнению с новичками количеством ошибок решить задачу. Проблемные ситуации, процесс решения которых мы изучаем, самые разные – от текстовых арифметических и алгебраических задач из курса школьной математики до сложных слабоструктурированных управленческих проблем.

Ключевые слова: эксперты и новички, когнитивные исследования, решение задач и проблем.

Лаборатория когнитивных исследований ШАГИ объединяет специалистов из разных областей, в первую очередь психологов и лингвистов. В круг научных интересов Лаборатории входят процессы мышления в ходе решения задач и проблем (от простеньких головоломок до сложных слабоструктурированных управленческих проблем); развитие понятийной сферы и знаковых средств у детей; психологические механизмы обучения, в том числе изучения языка; взаимодействие нескольких языков (родного и иностранных) в мышлении одного человека; когнитивные механизмы экспертности (высокого уровня до-

стижений в решении каких-либо задач — интеллектуальных, управленческих, коммуникативных, обучающих, языковых, профессиональных и т. п.); решение перцептивных задач.

Проект с длинным названием «Когнитивные механизмы экспертного и профессионального знания. Механизмы и стратегии решения задач различных типов (на материале решения перцептивных, мыслительных и языковых задач)» осуществляется силами сотрудников Лаборатории и целого ряда коллег из дружественных организаций. Это исследование направлено на изучение когнитивных механизмов, которые обеспечивают высокий уровень достижений в различных сферах и областях. Речь идет о самых разных психологических процессах, связанных с получением и переработкой информации человеком, т. е. с получением им новых знаний и их применением для успешного решения разноплановых (перцептивных, мыслительных, языковых и т. д.) задач. (Под «знаниями» здесь подразумевается широкий круг явлений (как осознаваемых, так и нет), снижающих неопределенность в ходе мышления или при планировании и организации поведения.)

Основной интерес исследователей направлен на те когнитивные факторы, которые отличают экспертов, специалистов в какой-либо сфере, от новичков. Этот подход предполагает выявление основных направлений психологических изменений, которые происходят со специалистами по мере их профессионального развития, а затем поиски объяснения этих трансформаций с точки зрения работы или становления тех или иных психологических механизмов. Данное направление поисков в рамках описываемой исследовательской программы является для нас ключевым.

При этом параллельно приходится искать ответ на еще один критически важный вопрос — насколько универсальной (или, наоборот, предметно специфичной) является профессиональная компетентность: умение ставить и решать определенные типы задач, понимать, как устроена «своя» область, что относится к ней, а что лежит за ее пределами, что в ней возможно, а что не может существовать или не может быть сделано. В целом требуется определить, в какой степени высокий уровень достижений в одной области может быть перенесен на близкие сферы деятельности или даже на совсем другие, «чужие» задачи. Эта проблема чрезвычайно важна, поскольку именно на основе положительного или отрицательного ее решения должны строиться программы обучения и подготовки специалистов высокой квалификации, а также методов развития способностей решения разноплановых задач у людей разного возраста и уровня подготовки.

Когнитивные исследователи ориентированы на строгие критерии научности. Поэтому основными методами изучения различий между экспертами и новичками служат различные варианты экспериментов, результаты которых дополняются иными источниками информации. Полученные данные и теоретические идеи, сформулированные для их объяснения, регулярно представляются в докладах на российских и международных конференциях и публикуются в российских и зарубежных реферируемых научных изданиях.

ABOUT COGNITIVE STUDIES AND PROJECTS

Spiridonov, Vladimir F.

Doctor of Psychology, Head, Cognitive Research Lab, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: vfspiridonov@yandex.ru

Abstract. One of the major areas of research in our Lab is the study of experts and expertise in solving different problems. The “experts” are people that achieved considerable success in any activity. It is worth noting that it does not matter how narrow is the field of activity: it could be only one type of problems or even just one problem.

The main interest in this area involves the differences between experts — specialists in some field of knowledge, and novices. The main goal is to understand what exactly allows the experts to solve the problems quickly, efficiently and with a far smaller number of errors compared to the novices. We are interested in a wide variety of problem situations — from arithmetic and mathematical word problems included in the school program to complex and poorly structured management problems.

Keywords: experts and novices, cognitive studies, solving problems.

SPIRIDONOV, V. F. (2015). ABOUT COGNITIVE STUDIES AND PROJECTS. SHAGI / STEPS, 1 (1), 199–201

Старостин Георгий Сергеевич

*канд. филол. наук, заведующий Лабораторией востоковедения и
сравнительно-исторического языкознания, ШАГИ РАНХиГС*

Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82

Тел.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: gstarst1@gmail.com

ЛАБОРАТОРИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Аннотация. В заметке рассматриваются структура и задачи Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания ШАГИ РАНХиГС.

Ключевые слова: востоковедение, сравнительно-историческое языкознание.

Объединение в рамках единого подразделения ШАГИ востоковедческого (точнее, сразу нескольких востоковедческих) и сравнительно-исторического направления в какой-то степени можно считать исторической случайностью (эта традиция «унаследована» ШАГИ от аналогичного объединения в рамках Института восточных культур и античности РГГУ), но случайностью чрезвычайно удачной и полезной, так как цели и задачи фундаментального востоковедения и лингвистической компаративистики во многом сходны, а некоторые из исследовательских методов, разработанных для этих дисциплин, в перспективе могут быть использованы как на чисто лингвистическом уровне, так и на уровне литературно-филологического анализа текста, в том числе и «восточного».

Глобальную цель, стоящую перед Лабораторией, можно было бы обозначить как реконструкцию (в широком смысле слова) тех исходных исторических, лингвистических и общекультурных смыслов, которые либо лежат непосредственно в основе классических цивилизаций, либо могли бы считаться диагностическими для этих цивилизаций. Теоретически эти смыслы способны консервироваться в культурной памяти без существенных изменений, но, как правило, с течением времени они почти неизбежно подвергаются трансформациям, вызванным как эволюцией язы-

ковых структур, так и культурно-историческим процессом. Поэтому «реконструкция смыслов» необходима в том числе и для того, чтобы наглядно выявить механизмы образования «новых» смыслов на базе «старых» — в конечном итоге ведущие к постепенной трансформации традиционного общества в современное.

На уровне решения конкретных задач деятельность сотрудников Лаборатории связана в первую очередь с исследовательским анализом, комментированием и переводом классических памятников восточной словесности (китайской, японской, персидской, индийской), а также с различными обобщающими исследованиями, также в первую очередь основанными на опыте сопоставительного анализа текстов. В качестве «реперных точек» отбираются как классические тексты, уже имевшие опыт осмысления в отечественной традиции (например, китайская поэтическая антология «Шицзин»), но требующие гораздо более глубокого и методологически скорректированного анализа, так и тексты, до сих пор оставшиеся за рамками внимания отечественных специалистов (например, японский поэтический корпус «Кайфусо», персидский сборник «Поминания друзей Божьих» Фарид ад-Дина ‘Аттара, буддийская сутра «Лалитавистара» и др.).

Параллельно с обработкой текстов идет работа и над усовершенствованием аналитического аппарата — так, в рамках Лаборатории планируется в ближайшее время апробировать принципиально новую структуру для цифрового словаря классического китайского языка, что помогло бы вывести синологические исследования на кардинально новый уровень. Корпусный подход к языковому и литературному материалу, в полной мере использующий современные компьютерные возможности для решения казавшихся ранее неразрешимыми задач, может позволить современному востоковедению совершить качественный скачок, при котором в качестве лексикографической опоры исследователь использует не традиционный «словарь», а большой массив оцифрованных (и по возможности глоссированных) текстов, оперативно предоставляющий на порядок больше информации, чем самый полный и детализированный словарь.

В области сравнительно-исторического языкознания Лаборатория также озабочена вопросами рабочего аппарата (разработка и тестирование новых филогенетических методов, усовершенствование «классических» глоттохронологических формул лингвистической датировки, разработанных М. Сводешем, С. А. Старостиным и т. д.), но основные усилия занятых в ней компаративистов направлены на праязыковую реконструкцию; в частности, тематика проводимых исследований включает задачу формальной верификации спорных, но чрезвычайно интересных и перспективных гипотез макроязыкового родства, таких как ностратическая теория В. М. Иллич-Свитыча и сино-кавказская теория С. А. Старостина. Поскольку для того, чтобы дать убедительные результаты, такая верификация в обязательном порядке должна включать и работу на «нижних» уров-

нях языкового родства, включая аспекты фонетической, грамматической и семантической реконструкции праязыковых состояний классических языков Востока (например, праапонского, прасино-тибетского, праиндоевропейского и др.), очевидно, что полученные результаты будут оказывать непосредственное влияние и на исследования в области классического востоковедения.

В целом можно сказать, что востоковедение в ШАГИ одновременно пытается «сохранить прошлое», сберегая все то ценное, что оставило нам в наследство советское востоковедение с его сильнейшими традициями, и «заглянуть в будущее», по возможности интегрируясь с наиболее прогрессивными течениями в современной зарубежной науке, отставание от достижений которой не только не замедлилось, но даже ускорилось после падения «железного занавеса» — в основном за счет нехватки кадров. На повестке дня стоит нелегкая задача привести отечественное востоковедение в соответствие с основными достижениями его фундаментальных субдисциплин — языкознания, археологии, истории, этнографии, религиоведения — за последнее столетие. Сделать это быстро, тем более скромными силами одной лишь Лаборатории востоковедения, разумеется, не удастся, но, вспомнив знаменитую китайскую притчу, ни в коем случае нельзя недооценивать и эффект «Юй-гуна, передвигающего гору»: мы надеемся, что чем плодотворнее и успешнее окажется деятельность Лаборатории, тем сильнее она сможет повлиять и на востоковедческую среду в целом.

*LABORATORY OF ORIENTAL STUDIES AND COMPARATIVE
LINGUISTICS*

Starostin, George S.

*PhD (Candidate of Science in Philology), Head, Laboratory of Oriental Studies and Comparative Linguistics, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: gstarst1@gmail.com*

Abstract. In this brief presentation of the structure and goals of the newly formed Laboratory of Oriental Studies and comparative linguistics (School for Advanced Studies in the Humanities, RANEP), it is emphasized that, since all the research projects of the department have to do with historical purposes, its main activity can be loosely defined as «reconstruction of concepts». Our studies in various spheres of Orientalistics (Sinology, Japanology, Buddhology, Iranology) mostly center around translation, analysis, and clarification of various culturally important texts of the respective civilizations, whereas our comparative-linguistic studies deal with reconstruction of basic and cultural lexicon for protolanguages on various levels of time depth, many of which can be considered as direct ancestors to those Oriental languages that are well known today as major «concept vehicles» for highly influential cultures of the East. It may be said that Oriental and historical-linguistic studies at SASH are at the same time trying to «preserve the past», salvaging all the positive legacy left behind by the formerly impressive Soviet Orientalistics, and to «look into the future» by integrating with the most progressive currents in modern Oriental humanities and comparative linguistics abroad.

Keywords: Oriental studies, comparative linguistics.

STAROSTIN, G. S. (2015). LABORATORY OF ORIENTAL STUDIES AND COMPARATIVE LINGUISTICS. SHAGI / STEPS, 1 (1), 202–205

А. С. КАСЬЯН, Г. С. СТАРОСТИН

Касьян Алексей Сергеевич

канд. филол. наук, старший научный сотрудник

E-mail: a.kassian@gmail.com

Старостин Георгий Сергеевич

канд. филол. наук, заведующий лабораторией

E-mail: gstarst1@gmail.com

Лаборатория востоковедения и

сравнительно-исторического

языкознания, ШАГИ РАНХиГС

Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82

Тел.: +7 (499) 956-96-47

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Аннотация. В заметке описывается проект Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания ШАГИ РАНХиГС, связанный с формализацией генетической классификации языков.

Ключевые слова: сравнительно-историческое языкознание, Глобальная лексико-статистическая база данных, языковые семьи.

Одним из наиболее актуальных вопросов современного исторического языкознания как дисциплины, составляющей комплекс наук о предыстории человечества, является обоснование гипотез так называемого дальнего родства языковых семей, которые претендуют на реконструкцию языковой, а в связке с молекулярной биологией и генетикой — и этнополитической истории человечества на отрезках, превышающих пять-шесть тысяч лет. Пять-шесть тысяч лет до настоящего времени — это традиционно принимаемая глубина общепризнанных и хорошо изученных языковых семей, например индоевропейской, уральской, сино-тибетской (видимо, тут мы имеем дело с временным порогом, после которого очевидность языкового родства начинает резко утрачиваться).

Традиционные методы сравнительно-исторического языкознания, разработанные для семей менее глубокого уровня, оказываются недостаточными для надежного обоснования таких гипотез и требуют серьезной работы как на базе опыта, накопленного в ходе исторического изучения различных языковых семей планеты, так и с учетом новейших достижений в области филогенетического моделирования.

В последние десятилетия формальные методы филогенетической классификации, перенесенные в лингвистику из молекулярной биологии, переживают научный бум. См., например, такие обзоры применения современных филогенетических алгоритмов в сравнительно-исторической лингвистике (в основном речь идет именно о лексикостатистике и глоттохронологии): [McMahon, McMahon 2005; Nichols, Warnow 2008; Heggarty et al. 2010]. В частности, в связи с удешевлением и распространением мощных компьютерных станций все большую популярность приобретают признаковые методы филогении (вроде байесовской техники Монте-Карло с цепями Маркова и алгоритма максимальной парсимонии), а дистантные методы (вроде метода ближайших соседей или попарного внутригруппового невзвешенного среднего) отчасти отходят на второй план. Подробнее об этих методах см.: [Makarenkov et al. 2006]. Входным материалом при таком анализе служат многозначные или бинарные матрицы, т. е. двумерные таблицы, где каждый таксон (язык) охарактеризован по всему набору признаков. Бинарные матрицы содержат только бинарные признаки (с состояниями 0 или 1), а многозначные матрицы имеют хотя бы один многозначный признак. Признаки на практике используются самые разные: от лексических до культурно-антропологических, хотя предпочтение, конечно, отдается базисной лексике (так называемому списку Сводеша).

Задача формализации генетической классификации языков может быть разделена на несколько принципиальных этапов.

Подготовка максимально качественного языкового материала, который будет подаваться на вход. Важность очистки входных данных ни в коем случае нельзя недооценивать, как бы ни хотелось сэкономить человеко-часы на данной процедуре. Дело в том, что компьютерная программа породит генетическую классификацию из любого подаваемого материала, но робастность получаемых дендрограмм и их историческая надежность зависят от адекватности лингвистических данных (как это правило традиционно формулируется для биологической филогении, «Garbage in, garbage out»).

Апробация биологических методов на конвенциональных группах и семьях языков, т. е. на языках, о факте родства которых и о внутренней классификации которых среди специалистов наблюдается научный консенсус. Это, к примеру, такие группы, как славянская, германская, лезгинская, с некоторыми оговорками — уральская семья. Индоевропейская семья в этот список уже не входит: ее состав учеными не оспаривается, но общепринятой классификации групп внутри индоевропейской семьи пока

нет. Серия таких тестов должна указать на слабые и сильные стороны того или иного метода и выявить основные подводные камни при переносе биологических приемов на лингвистический материал.

Построение гипотез дальнего языкового родства, т. е. родства между языковыми семьями, относящегося к доисторической эпохе.

Несмотря на десятки регулярно появляющихся статей по формальной классификации тех или иных языковых групп, в мировой практике наблюдаются существенные лакуны.

Во-первых, многие, если не большинство авторов не вполне осознают важность тщательной подготовки входных данных (в основном лексических списков Сводеша). Например, классификации индоевропейской семьи, предложенные в [Gray, Atkinson 2003; Bouckaert et al. 2012], некритически базируются на 200-словных списках из [Dyen et al. 1997]. Однако база данных [Ibid.] **содержит множество лексикографических ошибок** (см.: [Kushniarevich et al. (forthcoming)]). **Как результат**, в указанных классификациях мы видим явно неприемлемые узлы вроде белорусско-польского единства.

Связано это с разницей узусов биологии и лингвистики. В биологии опубликованные данные, скажем, по морфологии того или иного вида или по секвенированию генома, считаются надежными, их можно непосредственно использовать в филогении. Совершенно иначе обстоит дело в лингвистике, где, например, категорически не рекомендуется использовать лексические списки, механически извлеченные из обратных словарей. Напротив, качественная подготовка стословного списка одного языка под стандарт конкретного исследования может занять несколько недель работы квалифицированного лингвиста.

Во-вторых, довольно плохо обстоит дело с тестированием различных методов на консенсусном материале. Например, в работе [Nakhleh et al. 2005] **основные филогенетические методы применены к индоевропейской семье**. Они дают различающиеся деревья, но мы не можем сказать, какой из методов лучше других справился с реконструкцией филогении, так как общепринятой классификации индоевропейской семьи не существует. Пока полноценным тестированием можно считать такие публикации, как [Barbañon et al. 2013] (на вход подавались искусственно смоделированные лингвистические данные) и [Kassian 2015] (110-словники лезгинских языков).

Исходя из необходимости закрыть вышеописанные лакуны, основную цель исследований нашей Лаборатории мы можем сформулировать так: разработать и апробировать усовершенствованную методику построения оптимального сценария генетического родства языковых семей на средних и глубоких хронологических уровнях, сочетающую элементы традиционного сравнительно-исторического метода с новейшими достижениями исторической типологии, лексикостатистики и формальных алгоритмов.

Исследования Лаборатории базируются на лексических данных нашего активно развивающегося онлайн-проекта «Глобальная лексикостатистическая база данных / The Global Lexicostatistical Database» (сокращенно ГЛБД/GLD; см.: [Starostin et al. 2011]). Идеологическую основу проекта составляют следующие положения.

Сравнение лексики — это надежный инструмент для генеалогической классификации языков. Иногда утверждается, что приоритет в подобных задачах должны иметь грамматические (фонетические, морфологические, синтаксические) признаки. Однако мы предполагаем, что грамматические данные следует использовать с осторожностью, так как, во-первых, эти признаки не универсальны; во-вторых, они легко могут образовывать вторичные ареальные изоглоссы (особенно если речь идет о языках, родство которых еще ощущается носителями), причем выявить источник инновации часто оказывается затруднительно; в-третьих, грамматические признаки образуют систему, т. е. изменение одного признака с высокой вероятностью влечет за собой изменение других признаков. Для лексических же признаков эти недостатки характерны в значительно меньшей степени.

Точность реконструкции филогенетического дерева зависит в первую очередь не от математического метода, а от степени очистки входных данных, иными словами, не от труда компьютера, а от труда лингвиста, кропотливо анкетирующего индивидуальные диалекты по принятому списку признаков.

По своей форме ГЛБД не представляет собой одну, единую базу данных — это иерархическая система, включающая списки слов разных уровней, от высшего до низших. Такая структура не только облегчает работу с огромнейшим объемом информации, но и находится в строгом соответствии с концепцией генеалогического древа, согласно которой из языков-предков произрастают многочисленные языки-потомки, на основе которых методами исторической лингвистики можно реконструировать их общий язык-предок.

Первый уровень составляют сравнительно небольшие базы данных, каждая из которых содержит списки слов языков, разделившихся, по предположительным оценкам, не более трех тысяч лет назад, близкое родство которых не вызывает сомнений, а также список слов праязыка, являющегося их общим предком. Типичные примеры таких баз — германская, тюркская, полинезийская, севернокойсанская и т. п. За генетическими общностями такого уровня закреплено традиционное название языковой группы.

Второй уровень — базы, содержащие списки только реконструированных слов праязыков, которые достоверно или хотя бы предположительно родственны между собой. Реальность существования таких праязыков обычно не подвергается сомнению в лингвистическом сообществе, а время их выделения из общего языка-предка — не более шести тысяч лет назад. Базы второго уровня включают также список слов праязыка, являющегося

общим предком представленных в данной базе праязыков. К числу типичных примеров относятся индоевропейские, уральские, австронезийские, северно-кавказские и др. общности. Такие генетические общности мы, опять-таки традиционно, называем языковыми с е м ь я м и.

Третий уровень составляют базы, в которых сопоставляется лексика нескольких праязыков разных с е м е й — в случае, если существует предположение, что между этими семьями имеется очень глубокое генетическое родство. Поскольку такие сверхглубокие генетические связи часто подвергаются серьезному сомнению (особенно специалистами, убежденными в том, что ни сравнительно-исторический метод, ни какие-либо альтернативные подходы не позволяют получить убедительных результатов, когда речь идет о хронологической глубине, превышающей шесть-восемь тысяч лет), создание и анализ гипотетических прасписков для столь глубоких таксонов является неременным условием подтверждения их исторической реальности. Типичные примеры — ностратические, сино-кавказские, афразиатские, нигер-конголезские и т. п. языки; такого рода общности мы называем м а к р о с е м ь я м и.

На данный момент в онлайн-компоненте ГЛБД представлены почти исключительно базы первого уровня, но со временем, по мере увеличения числа обработанного материала и формально верифицированных гипотез языкового родства, планируется последовательная интеграция их сначала в базы второго, а затем и третьего уровня. Конечная цель — сведение всех языков планеты к абсолютному минимуму таксонов, которые могут быть обоснованы с помощью лексикостатистической методологии и, тем самым, тестирование хронологических пределов действия лексикостатистического метода как такового.

Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования в нашей Лаборатории, можно сформулировать так:

- интеграция данных историко-фонетической и историко-семантической типологии в процедуру доказательства глубинного языкового родства;
- совершенствование используемых в компаративистской практике алгоритмов статистического анализа сравнительных данных базисной лексики;
- внедрение полученных результатов в программную оболочку компьютерной лингвистической среды STARLING и их апробация на базах данных по крупным языковым семьям Евразии, Африки и Америки.

В результате исследования планируется значительно усовершенствовать формальную методологию языковой классификации, что позволит предлагать достоверные сценарии исторического развития современной языковой ситуации на протяжении последних 10–12 тысяч лет. Разрабатываемая методология, интегрирующая достижения классического сравнительно-исторического языкознания, данные лингвистической типологии и современные статистические алгоритмы, не имеет реальных прецедентов в мировом языкознании.

Литература / References

1. Barbañon, F., Evans, S. N., Nakhleh, L., Ringe, D., Warnow, T. (2013). An experimental study comparing linguistic phylogenetic reconstruction methods. *Diachronica*, 30(2), 143–170.
2. Bouckaert, R., Lemey, P., Dunn, M., Greenhill, S. J., Alekseyenko, A. V., Drummond, A. J., Gray, R. D., Suchard, M. A., Atkinson, Q. D. (2012). Mapping the origins and expansion of the Indo-European language family. *Science*, 337, 957–960. [With corrections and revised supplementary materials in: *Science*, 342. 2013, December 20, 1446].
3. Dyen, I., Kruskal, J., Black, P. (1997). Comparative Indo-European Database. Last modified on Feb 5, 1997. <http://www.wordgumbo.com/ie/cmp> [accessed 15.04.2015].
4. Gray, R. D., Atkinson, Q. D. (2003). Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin. *Nature*, 426, 435–439.
5. Heggarty, P., Maguire, W., McMahon, A. (2010). Splits or waves? Trees or webs? How divergence measures and network analysis can unravel language histories. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 365, 3829–3843.
6. Kassian, A. (2015). Towards a formal genealogical classification of the Lezgian languages (North Caucasus): testing various phylogenetic methods on lexical data. *PLoS ONE* 10(2): e0116950, 2015. DOI:10.1371/journal.pone.0116950.
7. Kushniarevich, A., Utevska, O., Dibirova, K., Uktverite, I., Agdzhoyan, A., Chuhryaeva, M., Möls, M., Kovačević, L., Pshenichnov, A., Frolova, S., Shanko, A., Metspalu, E., Reidla, M., Tambets, K., Tamm, E., Koshel, S., Atramentova, L., Churmosov, M., Kucinckas, V., Evseeva, I., Davydenko, O., Tegako, L., Yunusbaev, B., Khusnutdinova, E., Marjanović, D., Rudan, P., Rootsi, S., Zaporozhchenko, V., Yankovsky, N., Kassian, A., Dybo, A., The Genographic Consortium, Tyler-Smith, Ch., Balanovska, E., Metspalu, M., Kivisild, T., Villems, R., Balanovsky, O. Genetic heritage of the Balto-Slavic speaking populations: a synthesis of autosomal, mitochondrial and Y-chromosomal data (forthcoming).
8. Makarenkov, V., Kevorkov, D., Legendre, P. (2006). Phylogenetic network construction approaches. In D. K. Arora, R. M. Berka, G. B. Singh (eds.). *Applied Mycology and Biotechnology*, 6: *Bioinformatics*, 61–98. Amsterdam; Boston: Elsevier.
9. McMahon, A., McMahon, R. (2005). *Language classification by numbers*. Oxford: Oxford Univ. Press. xviii + 265 p.
10. Nakhleh, L., Warnow, T., Ringe, D., Evans, S. N. (2005). A comparison of phylogenetic reconstruction methods on an IE dataset. *Transactions of the Philological Society*, 103, 171–192.
11. Nichols, J., Warnow, T. (2008). Tutorial on computational linguistic phylogeny. *Language and Linguistics Compass*, 2(5), 760–820.
12. Starostin, G. et al. (2011). The Global Lexicostatistical Database. <http://starling.rinet.ru/new100> [accessed 15.04.2015].

*NEW METHODS IN GENEALOGICAL CLASSIFICATION
OF LANGUAGES AND LINGUISTIC RECONSTRUCTION*

Kassian, Alexei S.

PhD (Candidate of Science in Philology), Senior Researcher

E-mail: a.kassian@gmail.com

Starostin, George S.

PhD (Candidate of Science in Philology), Head of Laboratory

E-mail: gstarst1@gmail.com

Laboratory of Oriental studies and comparative linguistics, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (499) 956-96-47

Abstract. One of the most important issues in modern historical linguistics is that of verification of hypotheses of deep level relationship between various linguistic families. Most non-controversial theories of genetic relationship do not deal with time depths that surpass 5 or 6 thousand years ago, and the classic comparative method is often found insufficient to reliably justify suggestions of macrofamily level relationship (such as “Nostratic”). It is therefore necessary to supplement the comparative method with additional techniques, particularly based on progress in the area of phylogenetic modeling, as well as with empirical typological evidence on language change that has been accumulated over several decades of intense research.

In this short paper, we briefly describe the main goals and perspectives of the project upon which a team of our researchers is currently working at the Laboratory of Oriental Studies and comparative linguistics: (a) integration of significant data on the typology of phonetic and semantic change into the procedure of verification of language relationship; (b) improvement of the currently employed algorithms for statistical analysis of the basic lexicon; (c) inclusion of the results of our research in the computer software STARLING, originally designed by Sergei Starostin as a basic tool for historical linguistics purposes, and their approbation on linguistic databases for major linguistic families of Eurasia, Africa, and America that are currently being compiled for the related Web project “The Global Lexicostatistical Database”.

Keywords: comparative linguistics, The Global Lexicostatistical Database, linguistic families.

KASSIAN, A. S., STAROSTIN, S. A. (2015). NEW METHODS IN GENEALOGICAL CLASSIFICATION OF LANGUAGES AND LINGUISTIC RECONSTRUCTION. SHAGI / STEPS, 1 (1), 206–2012

Шумилин Михаил Владимирович

канд. филол. наук,

старший научный сотрудник,

Лаборатория античной культуры, ШАГИ РАНХиГС

Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82

Тел.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: mvlshumilin@gmail.com

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ РИМСКОЙ ПОЭЗИИ

Аннотация. После Второй мировой войны латинистика сконцентрировалась на таком подходе к изучению политического контекста римской поэзии, который склонен выделять в поэтическом тексте либо провластные высказывания, либо противоречащие им детали. Следует, вероятно, сместить внимание на художественный текст как своего рода описание устройства мира во всей его сложности, подразумевающее в том числе и некоторую политическую философию, и перейти от обобщений к детальной работе с тем, как ведет себя политическое в каждом конкретном месте римского поэтического произведения.

Ключевые слова: политика, римская поэзия, Вергилий.

В настоящей статье мы представим содержание проекта Лаборатории античной культуры ШАГИ РАНХиГС «Литература и политика в становлении европейской культуры» в той его части, которая посвящена литературе Древнего Рима.

Римская поэзия, как и греческая, никогда не была полностью изолирована от политической жизни и заперта в «башне из слоновой кости». Даже в эпоху эллинизма, когда, на первый взгляд, поэты углубились в самодостаточное эстетство, такой изоляции не было [Cameron 1995]. Точно так же и в Риме — даже тогда, когда поэты увлеклись демонстрацией утонченной учености на греческий манер, литература все равно взаимодействовала с политикой [Griffin 1985], и неотирики Катулл и Кальв писали злобные эпиграммы на актуально-политические темы. Однако ситуация, в которой игнорировать политику даже в поэзии стало невозможно, была создана гражданскими войнами 40–30-х годов до н. э., и потому порожденная этим и позднейшим временем литература (которая и без того заработала себе

статус бессмертной классики) парадигматична для осмысления взаимодействия поэзии и политики в целом. Прежде всего речь идет о так называемой поэзии «Золотого века», эпохи Августа, однако к последующей имперской литературе эти соображения часто тоже применимы.

Не случайно именно вокруг литературы эпохи Августа сконцентрированы споры об отношениях между поэтом и властью в Риме. В этой области на протяжении XX–XXI вв. было сломано множество копий, но модель, которая устроила бы всех ученых, так и не была найдена. Наука Нового времени обычно описывала это время как период идиллических идеально-меценатских и взаимовосторженных отношений между правителем и писателями¹, пока Рональд Сайм в своей очень влиятельной в англоязычном мире книге 1939 г. «Римская революция» не дополнил эту картину образом циничного и беспринципного «фюрера» Августа, при котором купленные поэты играли роль элемента государственной пропаганды [Syme 1939: 459–475]. Сайм даже объяснял эту новую политизированность поэзии непосредственным вмешательством власти: «Предполагалось, что новая римская литература будет скорее гражданской, чем индивидуальной, скорее полезной, чем орнаментальной» [Ibid: 461] — подразумевалось, наподобие идеалов социалистического реализма или нацифицированной культуры.

Послевоенная наука об августовской (и поставгустовской) культуре по-разному относилась к построениям Сайма, но так или иначе реагировала на них и в любом случае отмежевывалась от распространенных в 1930-е годы попыток трактовать аналогию между Августом и европейскими диктаторами в пользу последних [Thomas 2001: 222–259; Ziolkowski 2005: 155–156]. Сам Сайм, конечно, просто поменял в этом дискурсе знак с плюса на минус [Momigliano 1994: 72–73].

Ситуация развивалась по-разному в исследованиях визуальных аспектов культуры и собственно литературы. Литературоведы, принимая саймовское описание власти само по себе, оказались перед вытекающим из него неприятным вопросом: неужели в этом случае Вергилия, Горация и прочих следует считать, может быть, очень одаренными, но все же Демьянами Бедными своего времени? Ведь, и правда, мало кто из римских поэтов ранней империи обошелся без прямых восхвалений императора. По преимуществу ответом литературоведов стала полная инверсия модели

¹ Ср., например: «Nihil mirum hoc felicissimo literatorum aevo, omnium artium scriptores sua quaeque non nisi maxima cura et elegantia dedisse: cum Imperatores ipsi disciplinas non solum foverent et benevole quosvis exciperent doctos; verum etiam, gravissimarum occupationum vix habita ratione, aliquando maxima cum voluptate praeberent aures suos monumenta recitantibus» (Ничего удивительного, что в этот счастливейший для литераторов век писатели во всех областях искусства творили не иначе как с величайшим старанием и изяществом: ведь императоры сами не только поощряли науки и благосклонно принимали всех ученых людей, но иногда даже, чуть ли не пренебрегая своими серьезнейшими занятиями, с величайшим удовольствием представляли свой слух декламирующим собственные произведения авторам) [Funck 1727: 29].

Сайма: несмотря на открытые восхваления власти, чуть ли не у каждого римского поэта стали находить ее критику. Получившееся противоречие разрешалось за счет предположения, что открытые похвалы были неискренним «отбыванием номера» и включались в тексты только из-за внешней необходимости, в то время как настоящее отношение к власти, которое у всех поэтов было негативным, выражалось скрытым образом, в зашифрованном виде. Действительно, как же можно допустить, что великие римские поэты (которых и старая традиция наделяла статусом непререкаемых мудрецов, а иногда нравственных авторитетов², и новые литературоведческие школы вроде американской «новой критики» склонны были все больше защищать от любых упреков³) искренне хвалили власть, — спрашивала западная наука начиная с 1960-х годов? Место образца в ней заняло изучение Вергилия. Здесь стала доминировать «гарвардская», или «пессимистическая», школа, настаивавшая на том, что по тексту Вергилия рассеяны тревожащие читателя намеки на то, что создаваемая на поверхностный взгляд картина триумфального воцарения справедливого государя не так уж однозначна⁴. Попытки отдельных ученых, которых окрестили «новыми августовцами», вставить отрезвляющие возражения и вернуться к более или менее буквальному пониманию восхваляющей составляющей поэм мантуанца были сравнительно малочисленны (см.: [Hardie 1986; Galinsky 1988]; ср.: [Гринцер 2008]). «Гарвардская» модель оказалась легко применима и к другим авторам, и поиск скрытых диссидентских сообщений в римских поэтических текстах стал доминирующей тенденцией латинистики (см., например: [Benker 1987; Dominik 1994; Bartsch 1997; Putnam 2000]) и, по сути дела, продолжает занимать эту позицию.

В исследованиях других аспектов августовской культуры, однако, события развивались иначе. После войны сперва просто наступило затишье, которое потом сменилось новым бумом, изначально отталкивавшимся от саймовской идеи «пропаганды» (действительно, в случае с постройкой храма или с чеканкой монеты прямое вмешательство принцепса на первый взгляд представляется более логичным, чем в случае с литературным произведением), однако затем предложившим более динамическую модель сложных и не прямо «приказных» отношений между проповедуемыми властью ценностями и миром образов, в котором жил римлянин эпохи Августа [Zanker 1987; Galinsky 1996]. Показательно, что главным идеологом новой модели стал Карл Галински, который также знаменит как один из главных «новых августовцев».

Идея нашего проекта заключается в том, что продуктивным подходом к политическому аспекту римской поэзии будет снятие самой оппозиции между прямолинейно провластной и прямолинейно оппозиционной поэ-

² См., например: [Comparetti 1872].

³ См., например: [Brogan 1993].

⁴ Начало было положено работой [Parry 1963], см. также [Johnson 1976; Boyle 1986; Lyne 1987; Putnam 1995], по-русски: [Васильева 2008].

зией. В каком-то смысле разумнее будет ввести в литературу ту идею, которую Галински отстаивал применительно к августовской культуре в целом: перед нами явно не плоские высказывания в пользу или против Августа как такового, а сложная сеть, сплетаемая, среди прочего, из по-разному трактуемых политических (или имеющих политические ассоциации) тем. Впрочем, сам Галински, вероятно, применяет эту идею к литературе слишком грубо. Действительно, у него писатели творчески жонглируют различными темами, связанными с Августом, но делают это примерно таким же образом, как магистраты, ответственные за чеканку монет, — конечно, не по указанию какого-нибудь августовского аналога Геббельса, но без сопротивления принимая систему взглядов и образов, предлагаемую принципом [Galinsky 1996: 225–287]. Не факт, что в случае поэтов это действительно так.

Вообще обе школы изучения Вергилия, по сути, довольно сильно примитивизируют психологию писателей и в результате лишают изучение отношений политики и поэзии в Риме его парадигматического значения: если те же самые модели можно при желании применить к равно далеким от нас и непонятым древним текстам, то к современности они применимы очень плохо. Откровенно пропагандистский или просто сводящийся к провластному тезису текст сегодня представить, конечно, несложно, но, как правило, он будет иметь мало общего с качественной (или хотя бы просто статусной) художественной литературой. Странно было бы всерьез предполагать, что «Энеида» написана, в соответствии с формулировкой античного комментатора, только для того, «чтобы подражать Гомеру и восхвалить Августа, прославляя его предков», — странно хотя бы потому, что весь текст подчинялся бы тогда одной-единственной вполне примитивной идее (а сконструировать такой текст из «Энеиды», приравняв ее героя к принцепсу, конечно, легко — хотя это и требует, наверное, определенного насилия над текстом). За последние полстолетия науке удалось показать, что на уровне отдельного небольшого отрывка августовские поэты, включая Вергилия, были способны довести текст до поразительной, граничащей с извращенной степени технической усложненности. Вероятно, следует все-таки видеть противоречие в той идее, чтобы римский поэт писал сверхсложно на техническом уровне и при этом сверхпросто на содержательном — хотя бы потому, что технический и содержательный уровни на самом деле невозможно полностью разделить, а нагромождение аллюзий и спрятанных в каждой мелочи хитростей всегда заставляет задуматься и о содержании присоединяемых к поверхностному смыслу дополнительных ассоциаций.

Странно было бы всерьез предполагать, что все римские писатели будут равно лояльны власти, — равно как и что все римские писатели относились к любой власти плохо. Идея, что писатель не может относиться к власти хорошо, больше говорит об ученых второй половины XX и, может быть, начала XXI в., чем собственно о римлянах. Логичнее предположить, что универсальных правил в этой области нет и разные люди имели разные

взгляды. Критики «гарвардской школы» правы в том, что абсурдно возводить в правило недоверие к тому, что прямо говорят о политике поэты; в то же время неправильно делать вместе с тем же Галински вывод о том, что любой включающий в себя похвалу императору текст панегиричен по замыслу, — и не только в том смысле, что не стоит сводить текст к одной фразе.

Художественный текст, строго говоря, не является высказыванием тезиса. Если бы Тургенев хотел написать, что нигилизм — зло, он написал бы предложение «Нигилизм — зло», а не роман «Отцы и дети», ведь все, кроме этой фразы, было бы избыточным для выражения этой мысли. Это не значит, конечно, что Тургенев считал нигилизм добром или не хотел сказать, что нигилизм есть зло; это просто вопрос из другой плоскости. Художественный текст в принципе не сводим ни к какому другому замещающему тексту, даже к очень хорошему пересказу (пересказ всегда будет неадекватной заменой для текста из-за тех самых мелких деталей, которые пропущены), даже к пересказу, который будет отличаться только двумя словами (именно отсутствие этих двух слов будет создавать не вполне точное представление об оригинале). Полностью адекватно передать содержание текста можно, только в точности воспроизведя этот текст, и, конечно, каждое слово на самом деле участвует также и в создании совокупного содержания. Соответственно, художественный текст как раз специфичен и интересен тем, что он по определению не высказывает никакого тезиса, но предлагает читателю наблюдать за некой необъясненной сетью образов и происшествий⁵. Это не значит, что автор не может сам приложить к тексту

⁵ Легко заметить сходство этих утверждений с взглядами, которые защищали неокритицисты, ср. [Brooks 1947]. Хотя о неокритицизме принято говорить как о прошлом событии в истории литературоведения, наиболее удачные новые черты англоязычной науки о литературе второй половины XX – начала XXI в., остающиеся актуальными и сегодня, на самом деле связаны именно с этим направлением. Это, во-первых, отказ от литературоведения, которое боится по-настоящему обсуждать именно те стороны произведения, что делают его ценным с художественной точки зрения, и потому прячется в разборе множества других вопросов, только косвенно связанных с поэзией как таковой. Во-вторых, внимание к тому, что ценного видел в своем произведении сам автор, к тем «правилам игры», которые он подразумевал. В-третьих, отказ от того, чтобы огульно осуждать произведение после первого прочтения, не попытавшись сперва подойти к нему с симпатией и доверием. В-четвертых, акцент на детальной интерпретации текста, на которой (а не на абстрактных обобщениях) должно строиться обсуждение произведения в целом. Сегодня, когда предложенные структурализмом и постструктурализмом модели работы с римской литературой, по-видимому, все более истощают свой потенциал (содержание новых книг становится все более предсказуемым), разумнее не воспроизводить эти модели, пытаясь догнать то, что скоро само станет прошлым, а искать новые подходы, возвращаясь, в том числе, к успешным сторонам подходов прежних поколений, ресурсы которых не были исчерпаны полностью. Мы полагаем, что в этом контексте отдельные стороны подхода неокритицистов будут в числе первых кандидатов на реабилитацию. Парадоксальным образом, именно неокритицистский взгляд на устройство поэзии будет, на наш взгляд, наиболее применим к освобожденной от упрощающих оппозиций работе с римской поэзией в историко-политическом контексте, несмотря на знаменитую нелюбовь неокритицистов к изучению исторического контекста

или даже включить в текст прямое высказывание тезиса (либо объяснение того, что имеется в виду в тексте, — но это, скорее, не случай античной литературы). Это даже не значит, что тезис, прямо высказанный внутри художественного текста, нужно обязательно воспринимать как всего лишь один из голосов, одну из реплик, которую нельзя приписывать автору. Но в данном случае мы имеем дело с разными вещами, и рассматривать прямо высказанные в художественном произведении политические взгляды и политическую составляющую содержания собственно художественной части произведения следует р а з д е л ь н о.

Это первая вещь, которую, мы полагаем, нужно сделать, чтобы разговор о политике в римской поэзии стал продуктивным. Вопросы о том, искренне ли поэты восхваляют императоров, нужно рассматривать сами по себе, вне связи с обсуждением художественных произведений как художественных произведений (причем, конечно, как цельных художественных произведений, неотъемлемой частью которых являются и эти самые восхваления, но только уже рассматриваемые не как тезисы). В большинстве случаев точно выяснить, искренне ли пишет живший две тысячи лет назад человек, вероятно, просто невозможно. Но самое интересное — это рассмотреть отсылки к политической реальности как составляющую часть художественного целого.

Довольно очевидно, что результаты здесь будут другими: не случайно «новые августовцы» обычно исходят из перспективы более широкого исторического контекста, а не из замкнутого на себя разбора литературного текста в духе «новой критики», в то время как «гарвардцы», наоборот, всегда исходят в первую очередь именно из текстов Вергилия. Хотя Вергилий явно восхваляет Августа, сам текст «Энеиды», как и другие произведения Вергилия и прочих поэтов, устроен сложнее и безусловно содержит детали, «тревожащие» читателя и в общем противоречащие идее, что поэт намерен просто восхвалять Энея, Августа и созданную обоими великой римскую державу. Всякий художественный текст является своего рода описанием устройства мира, и в этом мире есть своя философия отношений между людьми и властью, как в узком, так и в самом широком смысле. Эта философия, скорее всего, устроена сложным образом, примерно столь же сложным, как и, скажем, нагромождения комбинированных аллюзий. И для описания ее требуется какой-то новый язык, поскольку подобный вопрос, по сути дела, почти не ставился⁶.

Мы предлагаем сместить внимание с упрощенных вопросов о политическом лагере, к которому принадлежит писатель, на содержащиеся в худо-

поэзии (ср. высказывание Элиота: «Мой личный опыт вникания в ценность поэзии всегда показывал, что чем меньше я знаю о поэте и его труде до того, как начну читать этот труд, тем лучше... Подробная подготовка в области исторических и биографических сведений всегда была для меня препятствием» [Eliot 1932: 199]. Характерным образом, продолжение цитаты, которое не всегда приводят, звучит так: «Я признаю, что такой опыт, возведенный в правило, было бы очень трудно применить к изучению латыни и греческого»).

⁶ Из попыток, отчасти схожих с нашей, можно назвать работу [Feldherr 2010]. Многие конкретные интерпретации Фельдхерра, однако, нуждаются в уточнении.

жественных произведениях описания устройства мира во всей их полноте. Другими словами, сложную организацию связанных с властью тем в «Энеиде» не следует считать лишь доказательством простого тезиса, противоположного тезису о восхвалении Августа: в сущности, даже теории о «множественности голосов» в «Энеиде» подразумевали именно этот простой тезис [Lyne 1987; Fowler 1990; Schiesaro 2008]. Организацию тем, связанных с властью, следует, как мы полагаем, изучать саму по себе, абстрагируясь от вопроса о непосредственно панегирической составляющей «Энеиды». Основой проекта должны стать не попытки найти ту или иную политическую формулу для, условно говоря, «Энеиды», но, наоборот, детальное комментирование в актуально-политическом свете ключевых с точки зрения соотношения поэзии и политики текстов. Политические интерпретации поэзии обычно страдают от чрезмерного внимания к целому и к обобщающим теориям, за счет которых теряется внимание к частностям, — проект предполагается построить противоположным образом, работая с мелкими деталями без стремления обязательно подчинить их чему-то крупному либо масштабным теориям. Только так мы, наконец, позволим тексту самому говорить о политике столько, сколько он захочет, вместо того чтобы заставлять его просто ставить галочку в графе «за» либо в графе «против».

Предполагается включить в сферу рассмотрения следующие группы текстов.

Набор классических текстов августовского времени, привлекаемых к обсуждению вопроса в первую очередь, достаточно стандартен: это «Энеида» Вергилия (особенно книги, в которых вопрос отношения к Энею и его исторической роли встает особенно остро: VI, VIII, XII), отдельные тексты Горация, элегии Проперция (прежде всего посвященная Риму и в то же время образующая особенно сложно устроенное целое IV книга). Отдельно мы рассмотрим «Метаморфозы» Овидия — текст, который выделяется в августовской литературе своим парадоксальным положением: с одной стороны, многие поколения воспринимали его как созидание прекрасного самодостаточного мира греческого мифа, т. е. опять же что-то вроде «искусства ради искусства»; с другой стороны, этот текст пронизан «августовскими» темами и отсылками, и заключительные его книги непосредственно подводят к власти династии Юлиев. Часто это ставили поэме в укор, обвиняя Овидия в том, что «римские» вставки сделаны им неорганично и без интереса (например: [Otis 1966: 280–281]). Как кажется, к колоссальному полотну этой поэмы особенно уместно подойти с вопросами о природе политического и с нашим подходом: двигаясь от фрагментарного комментария, мы должны будем объяснить, каким образом целое все-таки является единым.

Из поставгустовской литературы предполагается обратить внимание на тексты, посвященные крайней популярным в I в. н. э. сюжетам о римских гражданских войнах («Гражданская война» Лукана, вставная поэма о гражданской войне из «Сатирикона» Петрония, эпиграммы из сборника

Anthologia Vossiana, фрагментарные тексты) и сюжетам, отсылающим к римским гражданским войнам (вроде «Фиваиды» Стация). Предполагается описать эту навязчиво присутствующую в литературе эпохи тему как элемент того мира, который создают поэты, и объяснить место политического в этом мире.

В качестве параллельного случая следует также рассмотреть устойчивое доминирование одних и тех же теолого-политических моделей (посланный вышними богами спасать Рим хороший правитель, посланный богами преисподней дурной правитель) в позднеантичном панегирическом эпосе: у Клавдиана и его подражателей Меробауда и Сидония Аполлинария. Клавдиан близок поэтам I в. н. э. своей сосредоточенностью на одних и тех же моделях, но в то же время специфичен тем, что, по-видимому, является первым античным поэтом, про которого мы достоверно знаем, что он писал политические тексты по конкретному заказу правителя и даже под конкретное заказанное содержание [Cameron 1970]. Это должно сделать его случай особенно интересным с точки зрения методики работы с политическим содержанием поэзии.

Литература / References

1. Васильева Т. В. (2008) О герое «Энеиды» // Васильева Т. В. Поэтика античной философии. М.: Академический Проект; Трикста, 2008. С. 681–686.
Vasil'eva, T. V. (2008). O geroe "Eneidy" [About the hero of the Aeneid]. In T. V. Vasil'eva. *Poetika antichnoi filosofii* [Poetics of ancient philosophy], 681–686. Moscow: Akademicheskii Proekt; Triksta. (In Russian).
2. Гринцер Н. П. (2008). Статья Ахиллом, оставшись Энеем. Имя героя в финале «Энеиды» // *Natales grate numeras? Сб. ст. к 60-летию Г. А. Левинтона* / Под ред. А. К. Байбурина, А. Л. Осповата. СПб.: Изд-во Европейского Дома, 2008. С. 213–229.
Grintser, N. P. (2008). Stat' Akhillom, ostavshis' Eneem. Imia geroya v finale "Eneidy" [To become Achilles, being Aeneas: Name of the hero in the finale of the Aeneid]. In A. K. Baiburin, A. L. Ospovat (eds.). *Natales grate numeras? Sb. st. k 60-letiiu G. A. Levintona* [Natales grate numeras? Studies presented to G. A. Levinton on the occasion of his 60th Birthday], 213–229. St. Petersburg: Izd-vo Evropeiskogo Doma. (In Russian).
3. Bartsch, S. (1997). *Ideology in cold blood: A reading of Lucan's Civil War*. Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press. x + 224 p.
4. Benker, M. (1987). *Achill und Domitian: Herrscherkritik in der "Achilleis" des Statius* [Achilles and Domitian: Ruler-criticism in Statius' *Achilleid*]. Erlangen; Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität. 177 p. (In German).
5. Boyle, A. (1986). *The Chaonian dove: Studies in the Eclogues, the Georgics and the Aeneid*. Leiden: Brill. x + 196 p.
6. Brogan, T. V. F. (1993). New Criticism, The. In A. Preminger, T. V. F. Brogan (eds.). *The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*, 833–834. Princeton: Princeton Univ. Press.
7. Brooks, C. (1947). *The well wrought urn*. New York: Hartcourt, Brace and World. xiv + 300 p.

8. Cameron, A. (1995). *Callimachus and his Critics*. Princeton: Princeton Univ. Press. xiv + 534 p.
9. Cameron, A. (1970). *Claudian: Poetry and propaganda at the court of Honorius*. Oxford: Clarendon Press. xvi + 508 p.
10. Comparetti, D. (1872). *Virgilio nel Medio Evo* [Vergil in the Middle Ages], in 2 vols. Livorno: Francesco Vigo. (In Italian).
11. Dominik, W. J. (1994). *The mythic voice of Statius: Power and politics in the Thebaid*. Leiden: Brill. xiv + 198 p.
12. Eliot, T. S. (1932). *Selected Essays 1917–1932*. New York: Harcourt, Brace and Company. x + 415 p.
13. Feldherr, A. (2010). *Playing gods: Ovid's Metamorphoses and the politics of fiction*. Princeton; Princeton Univ. Press. x + 377 p.
14. Fowler, D. (1990). Deviant focalisation in Virgil's Aeneid. *Proceedings of the Cambridge Philological Society*, 36, 42–63.
15. Funck, J. N. (1727). *De virili aetate Latinae linguae tractatus* [A Treatise on the Virile Age of the Latin Language]. Marburgi Cattorum: Ex Officina Philippi Casimiri Mulleri. 336 p. (In Latin).
16. Hardie, P. R. (1986). *Virgil's Aeneid: Cosmos and imperium*. Oxford: Clarendon Press. x + 405 p.
17. Galinsky, K. (1988). The anger of Aeneas. *The American Journal of Philology*, 109, 321–348.
18. Galinsky, K. (1996). *Augustan culture*. Princeton: Princeton Univ. Press. xi + 474 p.
19. Griffin, J. (1985). *Latin poets and Roman life*. London: Duckworth. xiv + 226 p.
20. Johnson, W. R. (1976). *Darkness visible: A Study of Vergil's Aeneid*. Berkeley: Univ. of California Press. x + 179 p.
21. Lyne, R. O. A. M. (1987). *Further voices in Vergil's Aeneid*. Oxford: Clarendon Press. ix + 252 p.
22. Momigliano, A. D. (1994). *Studies on modern scholarship*. Ed. by G. W. Bowersock, T. J. Cornell. Berkeley: Univ. of California Press. xxi + 341 p.
23. Otis, B. (1966). *Ovid as an epic poet*. Cambridge: Cambridge Univ. Press. xiv + 411 p.
24. Parry, A. M. (1963). The two voices of Virgil's Aeneid. *Arion*, 2, 66–80.
25. Putnam, M. C. J. (1995). *Virgil and the Aeneid: Interpretation and influence*. Chapel Hill; London: Univ. of North Carolina Press. 332 p.
26. Putnam, M. C. J. (2000). *Horace's Carmen Saeculare: Ritual magic and the poet's art*. New Haven: Yale Univ. Press. x + 182 p.
27. Schiesaro, A. (2008). Furthest voices in Virgil's Dido. *Studi italiani di filologia classica*, 6, 60–109, 194–245.
28. Syme, R. (1939). *The Roman Revolution*. Oxford: Clarendon Press. xii + 568 p.
29. Thomas, R. F. (2001). *Virgil and the Augustan Reception*. Cambridge: Cambridge Univ. Press. xx + 324 p.
30. Zanker, P. (1987). *Augustus und die Macht der Bilder* [The Power of images in the age of Augustus]. München: Beck. 368 p. (In German).
31. Ziolkowski, T. (2005). *Ovid and the Moderns*. Ithaca: Cornell Univ. Press. xvi + 252 p.

POLITICAL CONTEXT OF ROMAN POETRY

Shumilin, Mikhail V.

PhD (Candidate of Science in Philology), Senior Researcher, Laboratory of Antique Culture, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: mvshumilin@gmail.com

Abstract. The focus of post-war Latin studies on the political context of Roman poetry has been largely on identifying in a poetic text either a statement supporting the ruler or some details subverting this statement. It is perhaps sensible to direct attention rather to the text as a complex description of the world, including some kind of implicit political philosophy, and to turn from generalizations to working with minute details of how the political aspect functions in each particular passage of Roman poetry.

Keywords: politics, Roman poetry, Virgil.

SHUMILIN, M. V. (2015). POLITICAL CONTEXT OF ROMAN POETRY. SHAGI / STEPS, 1 (1), 213–222

А. С. АРХИПОВА, Д. А. РАДЧЕНКО

Архипова Александра Сергеевна
канд. филол. наук, старший научный сотрудник
E-mail: alexandra.arkhipova@gmail.com

Радченко Дарья Александровна
канд. культурологии, старший научный сотрудник
E-mail: darya_radchenko@mail.ru

Лаборатория теоретической
фольклористики, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47

СОБЫТИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: МОНИТОРИНГ АКТУАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ТЕКСТОВ

Аннотация. Реакция общества на происходящие события часто находит отражение в фольклорных текстах. Эти тексты выполняют важные социальные функции, такие как адаптация к меняющимся условиям, компенсации фрустрации, выстраивание групповой идентичности в кризисных ситуациях. Более того, они в определенной степени формируют представление сообщества о текущих процессах и отношении к ним. В заметке представлен научный проект Лаборатории теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС, связанный с изучением актуального (в том числе медиазависимого) фольклора.

Ключевые слова: фольклор, ньюслор, городской фольклор, Интернет, интернет-фольклор, медиа.

Проjekt «Событие и общественное мнение: мониторинг актуальных городских текстов» исследует городские тексты и практики, с помощью которых современное российское общество реагирует на изменение актуальной социально-политической ситуации.

Кроме прямой реакции на событие, традиционно являющейся предметом социологических исследований, горожане могут реагировать на происходящее опосредованно. Зачастую индивид, не выражающий прямо своего мнения по поводу некоторого социально-политического события, тем не

менее косвенно проявляет его, становясь активным участником «цепочки» трансмиссии фольклорных текстов. Реакция на актуальное событие облекается в форму фольклорных жанров-«реагентов» (слухи, стишки, анекдоты, легенды и т. п.). В результате складывается большая и довольно разнородная группа фольклорных форм, которые могут откликаться на любые изменения социально-политического контекста, продуцируя тексты, нацеленные на осмысление актуальной реальности, — то, что можно было бы обозначить термином «актуальный фольклор».

Безусловно, «реактивность» присуща не всем фольклорным жанрам. Так, современная городская песня практически не восприимчива к текущим общественным событиям, а жанр анекдота в значительной степени живет за их счет; если интернет-мем является в некотором роде квинтэссенцией социально-политического события, то для традиционных пословиц и поговорок это малоактуально.

Выбор подобных коммуникативных каналов для оформления реакции на событие обусловлен тем фактом, что производство фольклорных текстов является имманентным свойством городской среды. Более того, границы любых социальных ячеек (включая «закрытые») неизбежно проницаемы, что предопределяет циркуляцию принадлежащих им текстов далеко за пределами изначальной среды; ср. популярность в советском и постсоветском обществе уголовных («блатных») песен. Поэтому тексты городского фольклора легко и быстро расходятся по стране — и в устной, и в письменной форме, в чем не последнюю роль играет доступность современных технических средств их тиражирования и распространения. В результате фольклор оказывается способен к максимальной оперативности реагирования (нередки случаи, когда в течение нескольких минут после публикации в СМИ информации о некотором событии появляется фольклорная реакция на нее).

Однако фольклорные тексты не просто отражают реакцию общества на актуальные события. С одной стороны, они сами являются реакцией и в этом качестве выполняют важнейшие социальные функции: адаптируют членов общества к изменившемуся социально-политическому контексту, компенсируют возможную фрустрацию в связи с этими событиями, способствуют становлению групповой идентичности (в рамках как узких групп единомышленников, так и более широких сообществ). С другой стороны, фольклорные тексты в определенной степени формируют представление сообщества о текущих процессах и отношении к ним (нередки случаи, когда анекдоты становятся едва ли не основным источником информации о политических процессах или фигурах). Это свойство фольклора нередко эксплуатируется самыми различными социальными агентами, что необходимо учитывать в процессе изучения актуального фольклора.

Контекстуальное исследование фольклорных форм как в устном бытовании, так и в интернет-среде позволяет сделать выводы об отношении носителей актуального фольклора к текущей ситуации, о путях и скорости его распространения в социальных сетях, о флуктуации интенсивности интереса к нему.

Актуальность научной проблемы

В условиях современного общества фрагментация социальных страт, с одной стороны, и глобализация информационных процессов, с другой, делают неформальную коммуникацию больших групп людей не только возможной, но и востребованной более чем когда-либо. Люди склонны увеличивать круг своего общения (от узкого круга семьи, друзей и сослуживцев к широким пространствам социальных сетей) и доверять свидетельствам лиц, принадлежащих к этому кругу «дистанционно знакомых», больше, чем сообщениям СМИ. В этой ситуации фольклорные тексты не только продуцируются и распространяются с высокой скоростью, но и оказывают значительное влияние на формирование общественного мнения. Таким образом, актуальные фольклорные и речевые формы, являющиеся не только реакцией на общественные события, но и способом формировать или, по крайней мере, направлять общественное мнение в нужную сторону, нуждаются в самом пристальном внимании со стороны исследователей современных процессов в российском обществе.

Научная новизна исследования

До определенного времени объектом изучения российской науки были почти исключительно образцы «классического» фольклора, записанные у сельского населения, и некоторые архаические традиции бесписьменных обществ, а не новации, рожденные меняющейся реальностью и связанные с городской культурой. Именно «традиционный» материал признавался предметом, достойным исследования, а обращенность фольклора к старине проецировалась на шкалу научных приоритетов, порождая свои научные задачи и аналитические приемы. Однако «фольклор на городском асфальте» не только произрастает, но и успешно развивается, порождая новые формы и жанровые разновидности. Но чтобы убедиться в этом, надо отказаться от устаревшего подхода к предмету, восходящего к романтической эстетике, и согласиться с тем, что исторически изменчиво не только понятие *фольклор*, но и сам объект нашего изучения.

Постфольклор функционирует иначе, чем традиционный фольклор, и занимает иное место как в культуре, так и в научном знании. При этом включение его в число объектов фольклористики позволяет обогатить наше знание и о традиционных формах фольклора, используя новый аналитический инструментарий для их исследования. Как и всякая синкретическая традиция, постфольклор не существует в виде чистого репертуара текстов, его «словесность» неотделима от семиотических ансамблей «низовых», официально не санкционированных («спонтанных») культур» (орнаментика и содержимое рукописных альбомов, посвятительные обряды, украшения, жесты, татуировки, граффити, тюремные поделки и т. п.) [Неклюдов 2005].

Термин *фольклор* требует нового понимания отчасти в связи с необходимостью освоения этих новых синкретических предметных областей, отчасти под влиянием западного гуманитарного знания, где антропологические дис-

циплины сегментируются иначе, и сама дефиниция является более широкой. Такое переосмысление приводит к расширению исследовательского поля и в отечественной фольклористике, причем используются как фольклорно-этнографический опыт российской науки, так и мировые достижения культурной антропологии нашего времени.

Наконец, исследования, посвященные регулярному мониторингу актуального фольклора и его реакции на общественно-политические события, вообще никогда не проводились в России, а научный интерес к тому, как устные тексты порождают наше восприятие социально-политической действительности, долгое время был на периферии исследовательского поля. В постсоветский период, после вынужденного пятидесятилетнего прекращения собирательской и исследовательской деятельности, отечественные фольклористы только начали обживать эти новые для себя территории гуманитарного знания, тогда как в западноевропейской и американской науке уже достаточно давно проводятся исследования современных легенд, анекдотов и т. д.; зарубежный опыт изучения городского фольклора (точнее, того предмета, который мы обозначаем этим термином) имеет гораздо более обширный и долговременный характер.

Однако «фольклорный ландшафт» России, с его «классическими» жанрами устной словесности, дожившими в сельской среде до XXI в., **сильно отличается** от западноевропейского и особенно от североамериканского, что обуславливает и разные подходы к изучению современного городского фольклора. В этом плане эмпирический багаж зарубежной науки не сходен с нашими опытом, исследовательскими ракурсами и приоритетами, для нее гораздо естественнее рассматривать семиотические тексты постфольклора в одном ряду с массовой культурой или культурой повседневности, тогда как для российской традиции привычнее фольклорно-этнографические аспекты его изучения.

Строгой методики записи и систематизации текстов, практик и артефактов постфольклора, апробированной и соответствующей требованиям современной науки, до настоящего времени до конца не выработано, поэтому при обращении к нему приходится корректировать не только методологию исследования, но и принципы собирательской деятельности, сложившиеся на основе изучения архаических и «классических» традиций, — речь в первую очередь идет о погружении в знаковый мир иной культуры, обретении общего с ней опыта и общего языка. Одной из целей данного проекта является отработка такой методологии — с опорой на традиции отечественной фольклористики и на достижения современных зарубежных исследований в области культурной антропологии, в особенности урбанистической.

Современное состояние исследований по данной проблеме

Городская антропология (urban anthropology), включающая, во-первых, тексты постфольклора и «низовой» словесности, а во-вторых, мифологию и ритуалистику современного города, относится к субдисциплинам социаль-

ной/культурной антропологии и фольклористики. Исследовательские центры базируются в Великобритании, России, Германии, Нидерландах, Австралии, Южной Африке: это в том числе Международное общество изучения современных легенд (**International Society for Contemporary Legend Research**), Международное общество изучения фольклорного нарратива (**International Society for Folk Narrative Research**), Общество по изучению городской антропологии при Американской антропологической ассоциации (**Society for Urban Anthropology**), Европейский университет в Санкт-Петербурге, Американское общество по изучению фольклора (**American Folklore Society**) и др). Собираем «речевых жанров» города (**urban legends**) в **Германии, Италии, Франции, Бельгии, Испании, Греции, Венгрии, Чехии, Польше, России, Канаде, Бразилии, Израиле, Камеруне, Сенегале, Японии**, Корею занимается группа в Немецком культурном центре имени Гёте (**Goethe-Institut, München**). Соответствующие исследования с 1960-х годов активно проводятся в Нью-Йорке (**P. Donovan, J.-H. Brunvand, E. Tucker**), Блумингтоне (**L. Degh**), Чикаго (**J. Enders**), Колумбии (**A.-B. Davis**) и т. д. **Исследования актуального фольклора сфокусированы**, в основном, на двух типах текстов: это а) городские легенды и слухи и б) юмор (как политический, так и посвященный катастрофам).

Хотя фольклористика и городская антропология, как мы видим из этого перечня, сформировали за вторую половину XX — первую четверть XXI в. богатую научную традицию, связанную с изучением городского фольклора, исследователи обращают внимание прежде всего либо на сам текст, либо на локальные практики. Социально-политический контекст их возникновения и бытования анализируется почти исключительно в связи с конкретными кейсами. Однако если мы хотим увидеть закономерности, согласно которым городские тексты и практики реагируют на социально-политические события и, некоторым образом, даже конструируют массовое ожидание, то необходимо учитывать всю динамику процессов в их совокупности. Именно поэтому наш проект посвящен не просто отслеживанию отдельных случаев такого взаимодействия, но и созданию постоянного аналитического мониторинга.

Задачи и направления проекта

В рамках данного проекта предполагается сосредоточиться на решении аналитических задач, посвященных функционированию городских текстов и практик в социуме и их взаимодействию с социально-политической реальностью:

- 1) определить формы и механизмы «фольклорной реакции» на актуальные события и их медийную репрезентацию, а также проследить динамику ее распространения;
- 2) проанализировать особенности функционирования городского фольклора и текстовых форм в современном обществе;
- 3) оценить степень участия актуального фольклора в восприятии социально-политических процессов.

Эти задачи укладываются в четыре основных исследовательских направления, каждый из которых закреплен за определенным участником проекта.

Направление I. Фольклор актуальной реальности

а) Возникновение этнических и конфессиональных фобий в городских речевых и фольклорных текстах и трансформация их в анекдотах, слухах, нарративах.

б) Распространение интернет-мемов, отражающих общественно-политические события.

с) Реакция на социально-политическое событие через призму мифологии и демонологии.

Направление II. Фольклор и СМИ

а) Возникновение новых речевых и фольклорных форм под воздействием СМИ и рекламы.

Направление III. Коллективная идентичность

а) Конструирование городскими сообществами своей идентичности с помощью речевых форм и фольклора.

б) Конструирование патриотических нарративов как реакция на актуальные политические и социальные события.

Направление IV. Антропология власти

а) Отношение к органам власти в речевых и фольклорных формах.

б) Пародирование текстов власти как способ взаимодействия с ней.

с) Восприятие реформ общества в текстах городского фольклора.

Методологические принципы

Исследовательский коллектив представлен социологами, антропологами, социолингвистами, этнографами, фольклористами и культурологами, что дает возможность оперировать методами целого ряда смежных научных дисциплин:

- антропологические и фольклористические методы сбора материала;
- социологические качественные и количественные приемы анализа полученных данных;
- структурно-типологический метод;
- этнографический метод;
- социолингвистические методы.

Рассмотрим их применение на каждом шаге исследовательской работы (следует обратить внимание на то, что мониторинг подразумевает фиксацию текстов континуально, в «режиме реального времени», и поэтому работы по сбору материала в рамках каждого исследовательского направления могут проходить параллельно с анализом уже накопленного массива данных).

Шаг 1. Поиск текстов постфольклора и их фиксация в тот момент, когда они появляются как реакция на социально-политическое или культурное событие.

Шаг 1.1. Производится мониторинг сетевых ресурсов (data mining). Выявляются тексты, бытующие в Сети, определяются популярные тексты, контекст их бытования, пути их миграции в Сети.

Шаг 1.2. Производится контекстный сбор фольклорных текстов с помощью методов городской антропологии: интервьюирования, закрытых опросов, включенного и не включенного наблюдения, визуальной фиксации и т. д.

Шаг 2. Уточнение данных. Для выявления «базовых» аттитудов и уточнения особенностей бытования текстов, выявленных на этапах 1.1. и 1.2., производятся глубинные неструктурированные интервью.

Шаг 3. Аналитический. Данный этап сочетает, с одной стороны, интерпретацию вербальных и невербальных текстов, распространенных в городской среде, с другой — анализ контекста, в котором они функционируют. Эта ситуация делает необходимым привлечение как качественных, так и количественных методов. Структура коммуникации, в процессе которой формируются и мигрируют тексты, изучается с помощью конверсационного и коммуникативного анализа. Изучение принципа генерирования вербальных текстов базируется на текстологическом и дискурсивном анализе, а также на контент-анализе, позволяющем дать формализованное описание имплицитного содержания текста и оценку его суггестивного воздействия. Исследование среды бытования текста требует анализа социальных сетей для оценки структуры и плотности текстопорождающего сообщества и определения пути миграции текста в нем, а также между кластерами сообществ. Определение сроков жизнедеятельности текста, уровня интереса к нему, скорости его распространения, корреляции между признаками текста и признаками его носителей требуют работы на больших объемах информации и применения количественных методов, в частности статистического инструментария.

Ожидаемые результаты

Научные результаты проекта за весь период исследования будут заключаться в решении вышеперечисленных задач: в выявлении связей между социально-политическими событиями, с одной стороны, а с другой — между текстами и практиками, с помощью которых жители мегаполисов и малых городов реагируют на эти события.

I. Аналитические результаты проекта представлены и будут представлены в дальнейшем следующим образом:

а) Апробация результатов проекта на международных конференциях и летних школах, например, в 2015 г.: 29 апреля — 4 мая на

Международной Школе-конференции по антропологии, фольклористике и социолингвистике (Переславль-Залесский); 7 мая в Институте исследований Восточной Европы (Бремен, Германия); 7–10 июля на XI Конгрессе антропологов и этнологов России (Екатеринбург).

б) Аналитический мониторинг, посвященный формированию новых форм актуального фольклора и преломлению в них общественного мнения в этот период. Всего предполагается опубликовать 6 мониторингов объемом 2–2,5 а. л. каждый. Периодичность мониторинга — раз в месяц.

с) Подготовка научных статей (объемом от 1 а. л.), для публикации в научных журналах, входящих в список ВАК и международные базы данных.

д) Подготовка в 2016 г. специального выпуска «Между новостью и анекдотом: фольклорная интерпретация актуальных событий» в научном журнале «Антропологический форум» (журнал входит в список ВАК), посвященном результатам проекта за два года.

е) Научно-популярная форма предоставления результатов для широкой аудитории: публикация в электронных СМИ с периодичностью раз в две недели научно-популярного обзора, посвященного тому, как актуальные формы фольклора взаимодействуют с социально-политическим контекстом и таким образом формируют общественное мнение.

ф) Финальным результатом проекта станет подготовленная к печати коллективная монография «Новостной фольклор: актуальные события через призму городских текстов и практик» (12 а. л.). Планируемый срок выхода из печати — декабрь 2017 г.

II. Практические результаты проекта:

а) База данных «Актуальный фольклор России» (фольклорные тексты, отражающие ключевые события общественно-политической жизни России последних нескольких лет), которая к середине 2017 г. будет открыта для исследователей, общественных деятелей и журналистов.

б) Материалы, собранные в ходе проекта, и аналитические разработки станут основой новаторских лекционных курсов «Общество, СМИ, фольклор: как мы видим друг друга», «Боязнь чужого: ксенофобии в большом городе, способы их выявления и коррекции» (2016–2017 гг.).

Литература / References

Неклюдов С. Ю. (2005). Фольклорные традиции современного города // *Этнология Urbana* / Ред. кол.: Н. Ненов (гл. ред.), Р. Малчев, К. Рангочев. София: Импресарско-издателска къща «РОД», 2005. С. 210—233. Цит. по электрон. версии: culture29.ru/upload/medialibrary/f67/f67211a724844c58553b17ad1374f56a.pdf.

Nekliudov, S. Yu. (2005). Fol'klornye traditsii sovremennogo goroda [Folklore traditions in the modern city]. N. Nenov et al. (eds.) *Etnologiya Urbana*, 210—233. Sofia: ROD, 2005. Republ.: culture29.ru/upload/medialibrary/f67/f67211a724844c58553b17ad1374f56a.pdf.

*FROM EVENT TO PUBLIC OPINION:
MONITORING CONTEMPORARY URBAN FOLKLORE*

Arkhipova, Alexandra S.

PhD (Candidate of Science in Philology), Senior Researcher

E-mail: alexandra.arkhipova@gmail.com

Radchenko, Daria A.

PhD (Candidate of Science in Culture Studies), Senior Researcher

E-mail: darya_radchenko@mail.ru

Laboratory of Theoretical Folklore Studies, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (499) 956-96-47

Abstract. Public reaction to ongoing events is frequently wrapped up in folklore models and texts belonging both to traditional and modern/urban genres. These texts are not just a manifestation of public reaction: they carry out important social functions like adaptation to the changing context, compensation of frustration, building group identity in crisis situations. More than that, they even become a news media themselves, informing the public about events and setting the frames of socially approved reaction to a current situation. This topical folklore can reflect the dynamics of attitudes and norms of contemporary society in a much more in-depth and sophisticated way than average sociological research. One of the challenges of studying media-dependent folklore is the vast corpus of very different texts (jokes, rumors, photoshops, videolore, etc) which are generated, changed and transmitted at an incredible speed. This means that researchers of newslore need to shift from case studies to a consistent monitoring. In the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) an interdisciplinary research group has been set up in 2014 in order to investigate these processes.

Keywords: folklore, newslore, urban folklore, Internet, Internet folklore, media.

ARKHIPOVA, A. S., RADCHENKO, D. A. (2015). FROM EVENT TO PUBLIC OPINION: MONITORING CONTEMPORARY URBAN FOLKLORE. SHAGI / STEPS, 1 (1), 223–231

**О. Н. ЗАПОРОЖЕЦ,
Е. Г. ЛАПИНА-КРАТАСЮК**

Запорожец Оксана Николаевна

*канд. социол. наук,
ведущий научный сотрудник,
Институт гуманитарных историко-теоретических
исследований им. А. В. Полетаева,
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)*

Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Тел.: +7 (495) 772-95-90

научный сотрудник,

*Лаборатория историко-культурных
исследований ШАГИ РАНХиГС*

Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82

Тел.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: ozaporozhets@gmail.com

Лапина-Кратасюк Екатерина Георгиевна

*канд. культурологии, доцент, факультет коммуникаций,
медиа и дизайна, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),*

Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Тел.: +7 (495) 772-95-90

зам. заведующего Лабораторией

историко-культурных исследований ШАГИ РАНХиГС

Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82

Тел.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: kratio@mail.ru

**ЛЮДИ В СЕТЕВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
ГОРОДА: О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА «МЕДИА
И ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ»**

Аннотация. В статье представлены теоретические и практические результаты, полученные в течение первого года исследований в рамках проекта «Медиа и технологии в современном городе». Эти результаты включают создание междисциплинарной методологии, объединяющей подходы исследований новых медиа и городских исследований (антропология цифрового города); а также результаты полевых исследований городской мобильности и дигитализации московских музеев.

Ключевые слова: цифровая антропология, гибридные пространства, сети, городской активизм, мобильность, цифровой музей.

Прежде чем перейти непосредственно к рассказу о проекте, упомянутом в названии нашей статьи, мы хотели бы обозначить дисциплинарный и интеллектуальный контекст наших исследований, так как наш проект существует и развивается в постоянном сотрудничестве с коллегами по Лаборатории историко-культурных исследований (ЛИКИ) ШАГИ РАНХиГС и под влиянием результатов, достигнутых в других проектах.

ЛИКИ была создана на базе Центра гуманитарных исследований (ЦГИ РАНХиГС), научные проекты в котором велись с 2011 г. В Лаборатории проводятся междисциплинарные исследования, объединенные темой «Взаимодействие интеллектуальных элит, государственных структур и экономических институтов». В 2015 г. сотрудники ЛИКИ работают над четырьмя проектами, в которых эта тема представлена в двух измерениях: диахронном и синхронном.

Так, **первое** направление исследований, разворачивающееся в дисциплинарном поле **экономической истории и истории институтов**, включает два проекта. Проект «Механизмы рецепции и переосмысления европейской теории и методик государственного управления в России на этапе формирования современных государственных институтов» посвящен выявлению соответствующих механизмов в России периода Нового времени (конец XVII — **первая половина XVIII в.) и определению их роли в формировании** ключевых государственных институтов. Проект основан на архивных изысканиях (одна из задач проекта — публикация и комментирование ранее неопубликованных источников), но, несмотря на исторический характер проекта (или, напротив, благодаря ему), результаты исследования позволяют пролить свет на актуальные проблемы и закономерности работы современных российских экономических институтов.

Проект «Стратегии институционального строительства в послесталинском СССР (образование, наука, культура)» посвящен изучению нескольких тесно связанных между собой научных проблем: изменениям в строительстве институтов — формальных и неформальных, публичных и «теневых»; их социальному и политическому (в том числе и международному) контексту. В фокусе внимания участников проекта — взаимовлияние общественных настроений и изменений в самосознании людей, с одной стороны, и институционального развития, с другой. Именно на этом направлении при исследовании других стран и периодов были получены наиболее важные результаты, позволяющие обсуждать общие закономерности социальной динамики современных обществ.

Второе направление исследований Лаборатории также включает два проекта, которые объединены дисциплинарным полем «**цифровой гуманитаристики**» (Digital Humanities).

Проект «Краудсорсинг в гуманитарных исследованиях: новые технологии и коммуникативные режимы производства знания в цифровую эпоху» развивает опыт и технологии реализации краудсорсинговых программ как в сфере гуманитаристики (программа Публичной библиотеки Нью-Йорка, проект обработки архива Бенгама), так и в других областях (космические программы, разработка свободного софта и т. д.). Основная цель исследования — выявить и описать устройство успешных и неудачных проектов организации и реализации краудсорсинга с последующей разработкой рекомендаций по организации таких работ в сфере гуманитарных исследований и экспертизы.

И, наконец, последний проект ЛИКИ «Медиа и технологии в современном городе» находится на пересечении дисциплинарных интересов урбанистики и исследований цифровых медиа и цифровой культуры. Основная цель этого проекта — изучить теоретические основания и практические возможности включения знаний о конструктивных, коммуникативных, технологических и других изменениях, происходящих в цифровую эпоху, в деятельность, направленную на изменение и улучшение облика и структуры современных российских городов. Именно об этом проекте мы хотели бы рассказать в нашей статье более подробно.

Развитие цифровых технологий и влияние сетей¹ стали одной из самых востребованных тем в социальных науках последнего десятилетия. Не меньшей популярностью пользуются и городские исследования, которые отражают множественные изменения современных мегаполисов. В проекте «Медиа и технологии в современном городе» эти направления объединены в разговор о требованиях, предъявляемых цифровой эпохой к современному городу и городским исследованиям.

Увлечение горожан цифровыми технологиями, гаджетами, появление технологически модифицированных стратегий навигации в городе позволяет исследователям [De Souza e Silva 2006; Gordon, De Souza e Silva 2011] говорить о переходе от киберпространства к пространству гибриднему, в котором разделение на «физическое» и «виртуальное» измерения оказывается более нерелевантным.

Взаимодействие города и цифровых технологий находит отражение в метафорах, активно циркулирующих как в городских исследованиях, так

¹ Под «сетями» в нашей работе, как и в других проектах, посвященных цифровой культуре, мы понимаем весь спектр гибридных явлений коммуникации: от «социальных сетей» в определении Б. Латура до определения Л. Рейни и Б. Веллманом «сети» как основы «третьей технологической революции», создающей условия для постоянно доступной мобильной связанности (always-available mobile connectivity), обеспечивающей сетевой индивидуализм (Networked Individualism). Подробнее об этом см.: [Латур 2014; Rainie, Wellman 2012].

и в исследованиях медиа. Виртуальные коммуникации нередко описываются с помощью «городских» метафор: «площади», «развязки» и прочие городские форматы пространства и общения обнаруживаются и в сетях. В свою очередь технологические метафоры — hardware, software, «пользователь», «кастомизация» — все чаще применяются для описания города. Предлагаемый проект стремится установить, при каких условиях отмеченная связь города и цифровых коммуникаций может стать больше, чем просто метафорой, а именно — как происходит гибридизация городских пространств и цифровых технологий? Какие компетенции горожан формируются активной технологизацией повседневной жизни? Как эти компетенции применяются в городской среде, и какую городскую среду они востребуют и формируют?

Вопросы, на которые отвечают участники проекта, разнородны так же, как элементы ассамбляжа городской мобильности. Точкой сборки для всех исследователей, участвующих в проекте, выступают люди, перемещающиеся по городу. Они меняют роли и агентность, за короткий промежуток времени выступая пешеходами, пассажирами, пользователями, писателями, читателями, бизнес-аналитиками, географами и игроками.

Именно поэтому основной метод проекта «Медиа и технологии в современном городе» его участники определяют как цифровую антропологию (**Digital Anthropology**) [Horst, Miller 2013], **несмотря на то что реализация этого метода в конкретных исследованиях предполагает некоторые отклонения от методов классической антропологии.**

К числу авторов, активно разрабатывающих подход, который используется в нашем проекте, следует отнести американских исследователей технологий Адриану де Соуза и Сильва и Эрика Гордона [De Souza e Silva 2006; Gordon, De Souza e Silva 2011], канадских медиа-социологов Барри Веллмана и Ли Рейни [Rainie, Wellman 2012] и ряд других. Отправной точкой данного подхода является сомнение в способности цифровых технологий выступать самостоятельными агентами действия и создавать особые типы городской реальности (тезис, являющийся ключевым для сторонников «цифрового техноцентризма»). «Цифровые антропологи» полагают, что разговоры о «дегуманизации» современного города и городских исследований, связанные с возрастанием роли технологий, преждевременны. Вполне предсказуемо, что на передний план они выводят пользователей технологий и культурные контексты, полагая, что креативность пользователей (а именно их способность адаптировать технологии под свои нужды), а также культурные контексты и социальная ткань общества образуют специфические сценарии использования современных технологий, не заложенные в них изначально. Таким образом, «цифровые антропологи» во многом основывают свои выводы на положениях, противоположных тезисам Л. Мановича: для них дигитализация является не универсальной логикой, а универсальным катализатором коммуникативных процессов.

Итак, используя в нашем проекте подходы цифровой антропологии, мы стремимся

- обозначить и концептуализировать отношения между физическим пространством и цифровой коммуникацией (взаимообогащение и/или конфликты);
- картографировать коммуникативный ландшафт города (пространство сосредоточения коммуникативных практик или следов коммуникации);
- рассмотреть возможности взаимодействия инициативных групп, озобоженных улучшением городской среды и местных органов управления, а также основания для такого диалога в рамках теорий информационного (сетевого) общества; изучить социальные последствия дигитализации: социальное исключение «неоцифрованных» социальных групп, проблемы «цифрового неравенства» и т.п.;
- выяснить, как меняется взаимосвязь между использованием личного времени и транспортным поведением горожан в связи с дигитализацией физического и виртуального городского пространства;
- рассмотреть цифровой музей как важный культурный узел городской сети;
- выработать концепции превращения Москвы в привлекательное туристическое пространство;
- обозначить пределы дигитализации, уделив внимание иллюзиям, надеждам и страхам цифровой эпохи.

Дигитализация города, понимаемая как многостороннее проникновение цифровых технологий, устройств и интерфейсов в жизнь горожанина и городскую среду, сегодня бесконечно привлекательна для исследователей, хотя еще совсем недавно могла казаться недостаточно серьезным феноменом для фундаментальных теорий общества и города.

Сегодня цифровые медиа меняют городское пространство столь стремительно, что производство знания иногда не успевает за объектом: новые гаджеты, приложения и технические стандарты влекут за собой динамичное переопределение социальных связей, дистанций и иерархий. Оснащенность технологиями предлагает новые критерии картографирования городского пространства. Цифровые медиа стирают границы между виртуальным и физическим проявлениями самых разных городских акторов, будь то пассажир, заявитель на получение услуги от госорганов, фланер или пользователь соцсети.

Бинарные оппозиции «основное–второстепенное», «субъект–объект» оказываются недостаточными для понимания хрупких, изменчивых, сложносочиненных порядков городской жизни. Музыка в наушниках дополняет образ города для слушателя-фланера (и даже может служить основной причиной прогулки); данные из приложения «Яндекс.Пробки» непредсказуемым образом изменяют ситуацию на дорогах; наличие Wi-Fi в публичных пространствах заставляет людей с гибким графиком работы обдумывать

этические аспекты проверки электронной почты; мобильное приложение Foursquare может определять скорость, маршрут прогулки, а также набор посещаемых мест и видов активности в них.

С другой стороны, привычки, эмоции, желания и другие формы «человеческого фактора» представляются не менее важными элементами топологии, чем плеер, Wi-Fi, **GPS-навигация или видеочамера в смартфоне**. Поэтому в дисциплинарном аспекте мы говорим в первую очередь об антропологии инфраструктуры — описании и анализе повседневных опытов и практик человека в технологизированном городе. Важный фокус нашего проекта — побочные и не замечаемые эффекты медиатизации/технологизации городского пространства. В то время как глобальные тренды цифровой эпохи широко освещаются в литературе, локальная специфика использования цифровых технологий дополняет, уточняет общие закономерности, а иногда и противоречит им. Мы обращаем внимание на исключения, маргинальные сценарии и региональную специфику в процессах дигитализации городского пространства.

Таким образом, исследование охватывает несколько тематических блоков.

1) Теория и методология социального изучения города в эпоху дигитализации. «Цифровая» тематика представляет вызов городским исследованиям, несмотря на то что последние являются традиционно широкими по своим интересам и находятся на пересечении наук. Как и что именно изучать социальному исследователю в условиях множащихся данных, потенциальных объектов и дисциплинарных гибридов? Мы избрали за точку отсчета человека. Другие измерения анализа — технология, история, экономика новых медиа в городе — «подключаются» к антропологическому «узлу»: повседневным практикам горожан, их переживаниям, коммуникациям, уникальности их городского опыта. Какие новые знания необходимы социологу и антропологу города? Какие новые возможности полевой работы открывает использование программ и мобильных приложений в ходе исследования? Остаются ли «большие теории» пригодными для анализа городской жизни, и что может прийти им на смену? Как не упустить за «общей тенденцией» частных особенностей?

2) Городская среда — носитель сообщения и способ сообщить. Технологии дополняют и трансформируют городское публичное пространство, создавая новые инструменты для (гражданского) участия и новые практики обитания в городе. Одновременно способы взаимодействия в сетевом пространстве переформируют физическую городскую среду, перенося в нее практики онлайн-высказывания. Параллельно город (городские поверхности, архитектурные объекты) заново открывается различными группами горожан как особый информационный канал, начинается его активное использование.

3) Новые медиа и аффективный менеджмент городских пользователей. Сегодня горожане приспосабливаются к стрессам от столкновения с цифровыми технологиями и преодолевают неуверенность перед ними, что еще недавно было преимуществом узких специалистов. Фигура пользователя наследует

многим другим ролям городского обывателя — пассажира, покупателя, жильца, сотрудника и т. д. Пользователь — это тот, кто управляет своим опытом, регулирует переживания и эмоции, режимы и степень собственного восприятия — во-первых, посредством выбора маршрутов, способов проводить время в пути или ожидании, способов переключать внимание; во-вторых, через выработку этикета для ситуаций, лишь недавно ставших обычными.

4) Транспорт и трансформации в сфере виртуальной и физической мобильности. Один из разделов нашего исследования посвящен городской мобильности и дигитализации транспортных систем города. Функционирование транспортных систем несет на себе отпечаток более общих изменений, которым подвергается городское пространство в связи с приходом новых медиа. Для горожан стали обычны беспроводные сети и портативные гаджеты с функциями телефона, плеера, карты, почты, библиотеки и т. д. В городе возникает новый коммуникационный слой, предлагающий горожанам по-новому сцеплять с местом свою повседневную деятельность. Как частный случай горожанина, пассажир тоже сталкивается с новшествами. В его жизни жетоны сменились на бесконтактные смарт-карты; найти нужный маршрут и расписание движения поездов и автобусов можно с помощью мобильного приложения; пробки поддаются обзору через надстройку к поисковой системе; проездной билет можно купить, отослав СМС, а на некоторых остановках появились электронные табло, извещающие о времени прибытия следующего трамвая, троллейбуса, автобуса. Кроме того, в пути можно проверять почту, обмениваться электронными сообщениями, слушать музыку и смотреть кино. Как осваивают городские пользователи новые опции «времени в пути»? Как мобильные возможности «повышения полезности» этого времени влияют на выбор маршрута? Эти перемены нам кажутся резонным основанием для междисциплинарного разговора о роли медиатизации в изменении практик городской мобильности.

5) Новые медиа, активные городские сообщества и гражданское общество. Оптимисты цифровой эпохи [Castells 2012; Jenkins 2006] предполагают, что массовая доступность цифровых технологий позволяет существенно улучшить качество жизни, в том числе и городской. В частности, расширение доступа к цифровым технологиям обеспечивает инклюзивность коммуникационной среды, предоставляет доступ к участию в политических и культурных процессах тем группам населения и индивидам, которые в отсутствие технологий оказываются в исключенном положении, создает возможность для самоорганизации городских сообществ и самостоятельного решения ряда городских проблем. Однако существует и обширная критика увлечения технологиями, связанная с возрастными, образовательными и другими особенностями, которые накладывают ограничения на возможности участия в технологичной коммуникации. Кроме того, технология не только обеспечивает свободу высказывания, но и делает горожан уязвимыми перед капиталистическими стратегиями, государственными структурами, собственно компьютерными программами, их логикой и новыми рисками, которые несет их широкое распространение [Manovich 2001].

6) Гражданский активизм в цифровом городе. Инициативы, представленные в сети Интернет и имеющие привязку к городскому пространству, часто способствуют формированию и продвижению определенного видения города, включающего критику существующего положения вещей вместо «дел» и позитивный образ, к которому необходимо стремиться. Использование интернет-технологий позволяет повысить эффективность и устойчивость активистских инициатив только в тех случаях, когда технологии связываются с локальностями, физическим городским пространством. В случае если появляется разрыв между медийной и «офлайновой» составляющей движения, возникает угроза нестабильности движения, а также сокращения его социальной базы. Обязательное присутствие в «офлайне» выражается в инспекциях, прогулках, разовых тематических акциях, смысл которых — закрепление сообщества и активистской группы как городской рутины, подкрепление репрезентаций в Интернете практикой участия. Поэтому происходит постепенная политизация тех практик городского активизма, которые раньше могли носить теоретический или краеведческий характер. Технологии действия, отработанные на «безобидных» темах, включаются в репертуар действий тех инициатив, которые открыто ставят перед собой задачу влияния на принятие политических решений.

7) Музей в пространстве города: цифровые технологии и сетевая коммуникация. Музей, традиционное пространство реификации культурных значений, одновременно является насыщенной образовательной и коммуникативной средой. Современный пользователь, для которого мультиплатформенная коммуникация является частью повседневности, предъявляет к музею все больше технологических и медийных требований. Одновременно эпоха «больших данных» позволяет музею, как и архиву, стать ключевыми культурными форматами, так как именно музей и архив исторически выработали формы хранения и презентации больших массивов информации. Таким образом, физическое пространство музея не только сливается с дигитальным пространством сетевого города, но и становится одним из важных узлов этой сети.

По окончании первого года проекта мы можем подвести некоторые итоги и сформулировать предварительные результаты исследования. Так, теоретические результаты проекта состоят в том, что впервые в российской академической традиции предпринят комплексный анализ научных работ, в которых рассматривается влияние мобильных технологий, сетевой коммуникации и дигитализации разного уровня на трансформацию экономических, (микро)политических, гражданских и «пользовательских» характеристик современного городского пространства. Городская среда рассмотрена в рамках теорий сетевого общества, новых медиа и цифровой культуры. В результате методология urban studies расширена, дополнена и уточнена за счет инкорпорирования в существующие практики городских исследований концепций

и методов (new) media studies. И, в свою очередь, найдены основания для использования теорий сетевого общества и новых медиа для решения конкретных городских проблем.

Не менее важными для проекта являются уже полученные эмпирические и практические результаты. Так, проведено полевое исследование, показавшее, как изменяются повседневные практики пассажиров общественного транспорта, которые имеют возможность пользоваться гаджетами во время пути, покупать билеты онлайн и смотреть расписание движения на мобильных приложениях. Результаты этого исследования могут быть учтены при планировании модернизации вагонов общественного транспорта, конструкций остановок, создании приложений для пассажиров, могут использоваться при проведении рекламных компаний и принести значительную экономическую пользу.

Исследование степени и форм дигитализации московских музеев, а также специфики музейного пространства, наполненного интерактивными экспонатами, позволило не только предложить ряд конкретных рекомендаций по созданию наиболее оптимальной сетевой музейной среды, но и обратить внимание на необходимость изменения внутреннего порядка и предписаний музея по отношению к новым активным посетителям.

Авторы благодарят участников проекта «Медиа и технологии в современном городе» Андрея Возьянова, Анну Желнину и Алису Максимову за ценный вклад в коллективное исследование.

Литература / References

1. Латур Б. (2014). Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 384 с.
Latour, B. (2014). *Peresborka sotsial'nogo: vvedenie v aktorno-setevuiu teoriiu*. Moscow: HSE Publishers. 384 p. (In Russian; transl. from: Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network theory*. Oxford: Oxford Univ. Press. 301 p.)
2. Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope. Social movements in the internet age*. Cambridge: Polity Press. 298 p.
3. De Souza e Silva, A. (2006). From cyber to hybrid: Mobile technologies as interfaces of hybrid spaces. *Space & Culture*, 9(3), 261–278.
4. Gordon, E., De Souza e Silva, A. (2011). *Net locality: Why location matters in a networked world*. Chichester: Wiley-Blackwell. 249 p.
5. Horst, H. A., Miller, D. (eds.) (2013). *Digital anthropology*. New York: Bloomsbury. 316 p.
6. Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York: New York Univ. Press. 353 p.
7. Manovich, L. (2001). *The language of new media*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001. 354 p.
8. Rainie, L., Wellman, B. (2012). Networked. *The new social operating system*. Cambridge, Mass.: MIT Press. 358 p.

*PEOPLE IN THE NETWORKED CITY: PRELIMINARY RESULTS
OF THE RESEARCH PROJECT “MEDIA & TECHNOLOGIES
IN CONTEMPORARY CITY”*

Zaporozhets, Oksana N.

PhD (Candidate of Science in Sociology), Senior Researcher, National Research University “Higher School of Economics”

Russia, 101000, Moscow, Myasnitskaya str., 20

Tel.: +7 (495) 772-95-90

Researcher, Laboratory of Historical and Cultural Studies, School of Advanced Studies in the Humanities, Russian Presidential Academy of National Academy and Public Administration

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: ozaporozhets@gmail.com

Lapina-Kratasyuk, Ekaterina G.

PhD (Candidate of Science in Culture Studies), Associate Professor in the Faculty of Communications, Media and Design at the National Research University “Higher School of Economics”

Russia, 101000, Moscow, Myasnitskaya str., 20

Tel.: +7 (495) 772-95-90

Deputy Director, Laboratory of Historical and Cultural Studies, School of Advanced Studies in the Humanities, Russian Presidential Academy of National Academy and Public Administration

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: kratio@mail.ru

Abstract. The article presents theoretical and empirical results of the first year of the research project “Media & Technologies in Contemporary City”. These results include the development of an interdisciplinary methodology that combines approaches of new media studies and urban studies (anthropology of digital city); as well as the results of field surveys of urban mobility and Moscow museums’ digitalization.

Keywords: digital anthropology, hybrid spaces, networks, urban activism, mobility, digital museum.

ZAPOROZHETS, O. N., LAPINA-KRATASYUK, E. G. (2015). PEOPLE IN THE NETWORKED CITY: PRELIMINARY RESULTS OF THE RESEARCH PROJECT “MEDIA & TECHNOLOGIES IN CONTEMPORARY CITY”. SHAGI / STEPS, 1 (1), 232–241

*Ахметова Мария Вячеславовна
канд. филол. наук, старший
научный сотрудник, Лаборатория
теоретической фольклористики, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: malinxi@rambler.ru*

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СИТУАЦИЯ ПОСТФОЛЬКЛОР: ГОРОДСКИЕ ТЕКСТЫ И ПРАКТИКИ»

Москва, ШАГИ РАНХиГС, 3–4 апреля 2014 г.

3-4 апреля 2014 г. Лаборатория теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС провела свою первую научную конференцию «Ситуация постфольклора: городские тексты и практики».

Двадцать лет назад парадигма изучения фольклора в России претерпела существенные изменения: интерес к традициям современного города (как провинциального, так и мегаполиса) способствовал возобновлению отечественной городской фольклористики, которая сформировалась в 1920-е годы, но к концу того же десятилетия прекратила свое существование. Возобновленная в 1990-е годы собирательская и исследовательская деятельность продемонстрировала, что в современной городской культуре, наряду с сохранением актуальности некоторых традиционных моделей, появляются тексты и ритуальные практики, сильно отличающиеся от соответствующих форм традиционного фольклора; именно их было предложено называть «постфольклором».

В задачи конференции входило объединить различные исследовательские подходы к описанию урбанистических традиций и подвести итоги исследованиям городского фольклора за последние 20 лет.

Значительный блок составили доклады, в которых рассматривались способы манифестации локальной идентичности горожан. **П. С. Куприянов** (Москва) проанализировал рефлексии жителей Калуги о местных памятниках в контексте городской символики и брендов. **М. Д. Алексеевский** (Москва) рассказал, как надпись «Галич — страна», сделанная на стене здания в Галиче Костромской области, превратилась в символ города. **М. И. Байдуж** (Тюмень) выделила основные образы, сюжеты и мотивы, связанные с демонизацией тюменского пространства. **М. В. Ахме-**

това (Москва) рассмотрела тамбовский дискурс о вариантных названиях местных жителей (*тамбовцы vs тамбовчане*). **М. А. Макарова** (Варшава) проанализировала способы манифестации этничности в культурном пространстве столицы Еврейской АО Биробиджана (микротопонимика, стилизация вывесок под еврейскую письменность, еврейские образы в скульптуре и др.).

Несколько докладов было посвящено городской песне. **М. Л. Лурье** (Санкт-Петербург) проследил, как менялись подходы к изучению городских песен с конца XIX в. по 1930-е годы. **Н. Н. Рычкова** (Москва) представила целостную картину бытования жестоких романсов в российском городе на рубеже XIX–XX вв. (эстрада, кино, грамзаписи, песенники и др.). **Р. И. Фахретдинов** (Санкт-Петербург) рассмотрел особенности формирования песенного репертуара красноармейских и белогвардейских отрядов во время Гражданской войны.

Практики, связанные с различными городскими локусами, были отражены в следующей группе докладов. Предметом внимания **А. Б. Мороза** (Москва) стали почитаемые места Москвы («Софьиная башня», могилы Ивана Корейши и Соньки Золотой Ручки и др.) и связанные с ними ритуалы. **Н. В. Петров** (Москва) представил проект «Фольклорная карта Москвы», направленный на картографирование значимых для фольклорной традиции локусов. **Д. В. Громов** и **А. В. Громова** (Москва) рассмотрели знаковые объекты (скульптуры, захоронения, камни-валуны и др.), которые осмысливаются как исполняющие желания.

Блок докладов был посвящен способам осмысления локальной истории. **А. К. Касаткина** (Санкт-Петербург / Москва) проанализировала нарративные стратегии в историко-биографических рассказах одной из старейших жительниц Обнинска. **Ф. С. Корандей** и **М. Г. Агапов** (Тюмень) показали, как менялся фокус внимания тюменских краеведов с 1950-х годов до наших дней. **Н. И. Антонова** (Москва) рассмотрела исторические микротопонимы Трубчевска с точки зрения устойчивости в памяти горожан разных поколений. **А. С. Давыдова** (Апатиты) проанализировала рассказы о строительстве в Кировске Мурманской области церкви в 1946 г.

Часть докладов была посвящена городским сообществам. **Г. В. Жарков** (Владимир / Санкт-Петербург) сопоставил молодежные неформальные и официозные субкультуры с точки зрения самоактуализации через осуществление рискованных практик, а также адаптации их представителей при переезде из провинции в метрополию. **В. А. Дымшиц** (Санкт-Петербург) проанализировал трансформацию социальной структуры в среде прихожан синагоги в украинском городе Могилёве-Подольском. **М. В. Васеха** (Москва) рассказала о сообществах посетителей московских общественных бань, а **А. А. Абрамова** (Москва) — о родительских сообществах.

Другие доклады были посвящены различным фольклорным и парафольклорным текстам и практикам, а также отражению фольклора в искусстве. **И. Б. Орлов** (Москва) рассмотрел слухи как народную версию

истории, обусловленную недоверием общества к власти. Предметом доклада **Н. Г. Комелиной** (Санкт-Петербург) стали письма с фронтов Первой мировой войны, инициированные стихотворными письмами Зинаиды Гиппиус. **Д. А. Радченко** (Москва) проанализировала дискурс СМИ, атеистической и педагогической печати о распространении детьми «святых писем» и «писем счастья» и сопоставила его с реальными представлениями детей об этой практике. **А. С. Архипова** (Москва / Умео, Швеция) выделила тематические группы анекдотов об Олимпиаде 2014 г. и проанализировала их запоминаемость в зависимости от гендера. **Е. В. Хаздан** (Санкт-Петербург) представила парафольклорные тексты, отражающие конфликт коллектива Российского института истории искусств с новым руководством. Доклад **А. Ф. Балашовой** (Москва) был посвящен топике и основным образам в песнях поисковиков. **С. В. Пахомова** (Москва) рассмотрела элементы традиционной индонезийской культуры в фильме Дж. Оппенгеймера «Act of killing».

Большой интерес вызвал доклад **Н. В. Гладких** (Москва), посвященный растянувшейся на десятилетие игре маленьких жителей новосибирского Академгородка. В письменных текстах, рожденных в процессе игры, опосредованно отразилась советская культура 1970-х годов.

По материалам конференции был издан сборник статей (Ситуация постфольклора: городские тексты и практики / Сост. М. В. Ахметова, Н. В. Петров. М.: Форум, 2015. 216 с.).

INTERNATIONAL CONFERENCE
“SITUATION OF POSTFOLKLORE:
URBAN TEXTS AND PRACTICES”

Akhmetova, Maria V.

PhD (Candidate of Science in Philology), Senior Researcher, Laboratory of Theoretical Folklore Studies, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-96-47
e-mail: malinxi@rambler.ru

Abstract. The short papers contains a review of the conference, which was held in the School of Actual Studies in the Humanities RANEPА, on 2014, April 3–4.

AKHMETOVA, M. V. (2015). INTERNATIONAL CONFERENCE “SITUATION OF POSTFOLKLORE: URBAN TEXTS AND PRACTICES”. SHAGI / STEPS, 1 (1), 242–244

А. В. ИВАНОВА, А. К. КАСАТКИНА

Иванова Александра Викторовна
Южный федеральный университет
Россия, Ростов-на-Дону,
344006, ул. Большая Садовая, 105/42
E-mail: sasha-vano@rambler.ru

Касаткина Александра Константиновна
младший научный сотрудник,
Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Россия, Санкт-Петербург,
199034, Университетская наб., 3
приглашенный исследователь,
Лаборатория историко-культурных
исследований, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: alexkasatkina@gmail.com

ЦИФРОВОЙ КОЛЛОКВИУМ «УСЛОЖНЕНИЕ ГУМАНИТАРИЯ: ДИГИТАЛЬНАЯ УЧЕНОСТЬ В ЭМПИРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ»

Москва, ШАГИ РАНХиГС, 12–13 сентября 2014 г.

Выводы цифрового мира для гуманитария уже давно не сводятся к освоению текстового редактора и интернет-браузера. Современная дигитальная ученость (digital scholarship) предлагает радикальную интенсификацию всего исследовательского цикла, от сбора и анализа данных до представления результатов. И все же в разговоре о перспективах своих исследований в условиях экспансии цифровых технологий гуманитарии склонны уходить от прагматической конкретики и рабочей рефлексии в общие культурологические рассуждения.

12–13 сентября 2014 г. Лаборатория историко-культурных исследований ШАГИ РАНХиГС в рамках проекта «Оцифрованная наука: методология, технология и этика создания гуманитариями открытых исследовательских баз данных» провела коллоквиум «Усложнение гуманитария: дигитальная ученость в эмпирическом исследовании», чтобы дать возможность тем, кто на практике осваивает цифровые инструменты в эмпирических гуманитарных исследованиях, поделиться

опытом обживания чужого интеллектуального поля. В подготовке и проведении коллоквиума участвовали Карамзинские стипендиаты и сотрудники проектов, реализуемых на базе Лаборатории.

Первую секцию, посвященную эпистемическим аспектам качественных исследований в ситуации их дигитализации, открыл **Ален Блюм** (Центр франко-российских исследований, Москва / *École des hautes études en sciences sociales* (Высшая школа социальных наук), Париж) с рассказом о работе над сайтом «Звуковые архивы — Европейская память о ГУЛАГе», на котором размещены базы архивных документов и записей интервью с жителями Центральной и Восточной Европы, пережившими депортацию в 1939–1953 гг. Унифицирующий и в то же время аналитичный цифровой медиум размещает в одной плоскости документы разного происхождения и лучше, чем текстовый, может показать прерывистость рассказанной биографии и сложные отношения между общеисторическим опытом и сингулярностью жизненного пути. Блюм, руководящий большим коллективным проектом, результаты которого отражены и в монографии, и на интернет-сайте, подчеркнул, что эти формы производства гуманитарных знаний не взаимозаменяемы, поскольку предлагают разные способы рассказывать и показывать истории.

Анна Котомина (Отделение социокультурных исследований РГГУ, Москва) представила медиа-анализ немецкого ресурса *Virtual Laboratory*, сотрудники которого более 15 лет собирают разнообразные материалы, относящиеся к «технологическим условиям физиологических исследований в XIX в.»: изображения, дневниковые записи, биографии, описания. Электронный архив открыт и предполагает использование в качестве энциклопедии или виртуального музея, а кроме того, функционирует как научный журнал, где публикуются статьи по истории физиологии, выполненные на основе архивных материалов ресурса. Этот гибридный опыт позволяет изучать способы встраивания новообразований цифровой эпохи в институциональную архитектуру современной академии.

Галина Орлова (Южный федеральный университет — ЮФУ, Ростов-на-Дону / Европейский гуманитарный университет, Вильнюс / РАНХиГС, Москва), опираясь на личный опыт «шоковой терапии» цифровым медиумом в Обнинском цифровом проекте, пыталась осмыслить, как изменяется исследовательское мышление и письмо, когда на смену привычной «качественнику» «штучной» аналитике уникальных объектов приходит пластичная аналитика множеств, а цифра и программный алгоритм становятся действенным способом повысить качество работы с неструктурированными и слабоструктурированными данными. Докладчица провела параллель между траекторией развития качественных исследований и освоением новых технологий фиксации и анализа данных. Особое внимание было уделено наметившемуся сегодня переходу от герметичных баз данных, имеющих жесткую структуру, к аналитическим платформам с гибкой архитектурой и интерактивными интерфейсами, где хранение неотделимо от

анализа. В этих обстоятельствах курирование «умных» данных становится новой формой исследовательского письма, а концептуальные поверхности сайтов имеют все шансы потеснить традиционные продукты академической науки — статьи и монографии.

Всеобщая дигитализация побуждает гуманитариев не только пробовать цифровые инструменты, но и пересматривать принципы работы со своими традиционными объектами, чтобы «ухватить» качества, которые возникают у них в результате очередного медиального расширения. На секции «Ловушки для новых медиа» **Екатерина Лапина-Кратасюк** (РАНХиГС / НИУ ВШЭ, Москва) начала свое выступление с двойного определения цифрового кинематографа: это и высокобюджетные фильмы с большим количеством спецэффектов, и любительские видео, снятые на цифровую камеру. Цифровое кино невозможно анализировать по традиционным киноведческим лекалам лишь как эстетический феномен. Необходима методология, восприимчивая к его техническим и социальным аспектам. Технологии создания цифрового фильма не только вносят свою эстетику и новые способы дигитального прорисовывания кинонарратива, но и ставят режиссера в зависимость от крупных компаний — разработчиков спецэффектов, а значит, в этой ситуации актуализируются аналитические парадигмы *software culture* (Л. Манович) и исследований неолиберальной ситуации.

Технологиям перераспределения усилий между исследователями и информантами, которые предложил цифровой мир, была посвящена секция «Контент от юзера: гаджеты и форумы». **Андрей Возьянов** (Европейский университет в Санкт-Петербурге / РАНХиГС, Москва) рассказал о своей попытке оптимизировать самонаблюдение информантов при помощи тайм-трекинговых приложений для смартфона в антропологическом исследовании практик ожидания в городской среде. Критерии эффективности и оптимизации, пришедшие из рыночной сферы, оказались настолько плотно встроены в логику цифровых продуктов, что незаметно проникли в исследовательские гипотезы антрополога, вынудив его навязывать информантам соответствующее отношение к своему времени. В своем полевом эксперименте докладчик обнаружил, что его информанты далеко не всегда охотно соглашались пользоваться «удобным» трекинговым софтом в своих смартфонах, а жесткость определений, задаваемых интерфейсом, мешает охватить разнообразие индивидуальных тактик обращения со временем.

На секции «Старый новый текст: цифровое преобразование аналитика» речь шла о новых техниках аналитической работы с текстами. **Кирилл Маслинский** (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) на примере своей работы с корпусом советских школьных повестей показал, как машинная обработка большой текстовой коллекции способна выявить ее тематическую структуру и подготовить выборку, доступную дальнейшему качественному анализу. Для этого используется программный инструментарий корпусной лингвисти-

ки, интеллектуального анализа данных и математического моделирования. По мнению докладчика, такая работа с текстами дает неочевидные комбинации тем и мотивов, недоступные при сплошном чтении, а значит, помогает даже самому убежденному «качественнику» «протереть» исследовательскую оптику и проложить нетривиальные аналитические траектории.

Доклад независимого исследователя **Егора Шевелева** и **Александры Ивановой** (ЮФУ, Ростов-на-Дону) был посвящен эксперименту с визуальной репрезентацией микроаналитики текста на материале четырех сессий интервью из большого биографического корпуса Обнинского проекта. Докладчики предложили вниманию аудитории три интерфейса, подготовленных для технического задания программистам: интерфейс наррации позволяет визуализировать события рассказанной жизни в двойной системе координат (время жизни и время рассказа); интерфейс ядерных кодов (ключевых концептов) экспонирует основные тематические гнезда дискурса в их связности и их соотношения; интерфейс пространства жизни, сопоставимый по формату с ментальной картографией, поддерживает и показывает пространственную логику опыта и идентичности информанта. Результатом этой работы должен стать софт, который не только обеспечит навигацию по большому массиву транскриптов, но и будет действенным инструментом его визуальной аналитики.

Докладчики утренней секции второго дня делились опытом существования в цифровых эмпирических проектах в разных режимах сотрудничества и вовлеченности. Первой выступила **Александра Касаткина** (Музей антропологии и этнографии РАН, Санкт-Петербург / РАНХиГС, Москва) с докладом о превращениях, которые претерпевает личный полевой дневник исследователя, когда попадает в формат коллективного форума или блога. Предметом ее анализа стали дневники, которые сотрудники Обнинского проекта в течение нескольких лет вели на платформе Basecamp. С позиции профессионального антрополога, работающего в новых медийных средах, докладчица проанализировала жанровые, аффективные, коммуникативные сдвиги, происходящие в письменной лаборатории исследователя, а также отследила трансформации в производстве и разделении знания, которые поддерживает этот формат коллективного письма.

Программист Обнинского цифрового проекта **Павел Колесников** (ЮФУ, Ростов-на-Дону) из латуровской перспективы проблематизировал личный опыт междискурсивного перевода в процессе создания исследовательского программного обеспечения. Докладчик описал процесс обоюдной подстройки «технаря» и гуманитариев; прояснил специфику коммуникативных стратегий программиста, ориентированного на диалог с кодом; рассказал о том, как в рамках проекта изобретался язык междисциплинарной коммуникации, как формулировались, усложнялись, становились все более понятными для программиста технические задания, приходившие от тех, кто не владеет программированием. Его доклад стал ценной и редкой возможностью увидеть жизнь коллективного цифрового проекта глазами программиста.

Алексей Куприянов (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) рассказал о работах неформальной группы по количественной истории науки, которая сформировалась вокруг двух больших проектов, посвященных исследованию биографий преподавателей российских императорских университетов и научной периодики России и СССР. Сердце обоих проектов — система баз данных, создаваемая силами преподавателей и студентов НИУ ВШЭ на основе разрозненного и порой трудно формализуемого материала. Участие студентов неизбежно прерывисто, неравномерно и нередко слабо мотивировано, поэтому было необходимо разработать простые и прозрачные процедуры сбора и обработки информации, а также продумать систему символического вознаграждения в условиях отсутствия возможности оплачивать работу (указание фамилий в базе, поддержка публикаций, в планах — выпуск регулярного вестника, отражающего актуальное состояние исследовательских баз и вклады в их создание).

На секции «Новый Сизиф: цифровой труд исследователя» речь шла об академической цифровой публикации и обработке документальных источников. **Андрей Володин** (МГУ им. М. В. Ломоносова), основываясь на своем опыте оцифровки документов фабричной инспекции в рамках проекта по изучению трудовых конфликтов на рубеже XIX–XX вв., подчеркнул, что ключевым критерием качества оцифрованного источника является возможность его дальнейшего использования в исследовании. Это значит, что для каждого вида документов должна вырабатываться соответствующая максимально прозрачная процедура оцифровки, а цифровой архив должен сопровождаться внятной информационно-поисковой системой. Таким образом, ручная работа со сканером или фотоаппаратом выходит за пределы исключительно технических компетенций и включается в репертуар исследовательских операций с источником.

Елена Корчмина (РАНХиГС / НИУ ВШЭ, Москва) обратилась к другой разновидности дигитализации архива — к переводу в электронные таблицы налоговых записей XVIII – начала XIX в. Ее опыт показал, что эта однообразная работа с массовыми архивными документами имеет серьезную исследовательскую составляющую: дает ощущение источника, которое конвертируется в уникальное практическое знание, гипотезы и насыщенную аналитику. Но чтобы таблицу архивных данных могли использовать другие, необходимо подробно документировать процесс ее создания, формирующие правила и процедуры.

Не единожды во время коллоквиума поднималась тема особых эмоциональных режимов отношений между гуманитариями и «цифрой». На секции, отведенной для обсуждения дигитального аффекта гуманитария, **Роман Кончаков** (Тамбовский государственный университет / РАНХиГС, Москва) проанализировал дискурсивное производство аффекта в виртуальных обсуждениях гуманитариев, одновременно осваивающих «цифру» и рефлексиирующих на эту тему, на форуме Обнинского цифрового проекта.

Доклады **Петра Сафронова** (НИУ ВШЭ, Москва) и **Елены Журавлевой** (Вологодский филиал РАНХиГС), представленные на заключительной секции коллоквиума, расширили горизонт дигитализации и датификации до масштабов глобального мира, в котором большие данные (big data) стали неотъемлемой частью механики рынка и политики.

Петр Сафронов, напомнив о том, что сегодня потребителями больших данных являются не только исследователи, но и люди, принимающие управленческие решения, артикулировал и полемически заострил парадоксальный тренд в работе с этими массивами. Анализ больших данных, делегируемый специфической профессиональной группе стратегических консультантов, по мысли докладчика, оказывается по сути интуитивным процессом, сводящимся к упаковке информации в серию волюнтаристски подобранных броских номинаций-индикаторов. Несмотря на то что характерный для стратегического консалтинга отказ от непосредственного контакта с предметом изучения вступает в явное противоречие с производством знания в исследовании, он все же оказывается в проблематичной близости к практикам аналитической репрезентации качественных данных в digital humanities, основанным на непрозрачных процедурах кодирования.

В фокус внимания Елены Журавлевой попал еще один серьезный конкурент слабеющей академической науки — гигантские корпорации (Google, Facebook и т. д.), на сегодняшний день выступающие главными, а подчас и монопольными разработчиками и пользователями цифровых технологий, и одновременно держателями и исследователями больших данных. Между тем независимая экспертиза их аналитических утверждений, сделанных на закрытых массивах данных при помощи засекреченных технологий, невозможна. Более того, академический мир вынужден пользоваться корпоративными платформами, принимая таким образом устанавливаемые корпорациями правила игры. По мнению Журавлевой, у социальных ученых не остается другого выхода, кроме как овладеть методами сбора и анализа больших данных, чтобы не допустить эксклюзивного закрепления этой задачи за большими игроками — правительственными и коммерческими организациями.

В стремительно дигитализирующемся мире без освоения и присвоения цифровых инструментов исследователь рискует оказаться в лучшем случае без новых способов представления данных, в худшем — остаться не услышанным и тривиальным. Освоение цифровых продуктов — сложный и почти интимный опыт современного гуманитария, в чем-то успешный, в чем-то травматичный, но в любом случае — обогащающий и расширяющий его возможности, что и показал коллоквиум.

*DIGITAL COLLOQUIUM “SOPHISTICATING THE HUMANIST:
DIGITAL SCHOLARSHIP IN EMPIRICAL RESEARCH”*

Ivanova, Alexandra V.

Southern Federal University

Russia, Rostov-on-Don, 244006, Bolshaya Sadovaya str., 105/42

E-mail: sasha-vano@rambler.ru

Kasatkina, Alexandra K.

*Junior Researcher, Peter the Great’s Museum of Anthropology and Ethnography
(Kunstkammer), RAS*

Russia, Sankt-Petersburg, 199034, Universitetskaya emb., 3

*Visiting Researcher, Laboratory of Historical and Cultural Studies, School of
Advanced Studies in the Humanities, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration*

Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82

Tel.: +7 (499) 956-96-47

E-mail: alexkasatkina@gmail.com

Abstract. The paper contains a review of the conference, which was held in the School of Advanced Studies in the Humanities, RANEPА, on 2014, September 12–13.

IVANOVA, A. V., KASATKINA, A. K. (2015). DIGITAL COLLOQUIUM “SOPHISTICATING THE HUMANIST: DIGITAL SCHOLARSHIP IN EMPIRICAL RESEARCH”. SHAGI / STEPS, 1 (1), 245–251

Зенкин Сергей Николаевич

доктор филол. наук,

главный научный сотрудник,

Российский государственный

гуманитарный университет

Россия, Москва, ГСП-3, 125993, Миусская пл., д. 6

Тел.: +7 (495) 259-66-68

E-mail: serge.zenkine@mtu-net.ru

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РУССКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ 1910–1930-х ГОДОВ»**

Москва, ШАГИ РАНХиГС, 30–31 октября 2014 г.

Политическая революция в России первой трети XX в. сопровождалась революцией интеллектуальной, обновившей интеллектуальную жизнь страны и оказавшей существенное влияние на развитие мировой культуры. (В известной мере политическая революция готовилась интеллектуальной и сама ей способствовала.) В ходе интеллектуальной революции сложилась «русская теория» первых послереволюционных десятилетий, которая, как теперь ясно, была одной из передовых сил, обусловивших взлет мировых гуманитарных наук.

На уровне институциональном русская интеллектуальная революция означала, что интеллектуальная и даже собственно научная деятельность вышла за рамки университетско-академической системы — в философские и научные кружки, в литературно-художественные журналы и сообщества (символистов, футуристов и т. д.). На уровне общественно-политическом она вела к радикализации позиций — даже к радикализации консерватизма, что вообще часто свойственно русской идейной жизни. На уровне дисциплинарном она заключалась в сложном, не лишенном конфликтов взаимодействии между философией (в России начала XX в. это была в значительной степени религиозная философия) и гуманитарными науками, которые в своих передовых течениях стремились вообще обходиться без философской спекуляции. На методологическом уровне интеллектуальная революция требовала при объяснении фактов мышления и культуры отходить от трансцендентных (культурфилософских) и позитивистских

(прежде всего историко-генетических) моделей — в пользу новых, имманентных моделей, объясняющих не происхождение и не высший духовный смысл культурных механизмов, а их способ функционирования. Этот поворот стимулировал обмен между науками и сам был обусловлен таким обменом: общественные науки сближались с установками наук о природе, стремясь не только к точному описанию, но и к функциональному объяснению фактов. Вместо вопросов «откуда это произошло?» и «что этим выражается?» они стали чаще задаваться вопросами «как это устроено?» и «как это действует?»

Некоторые из новых понятий, позволявших отвечать на подобные вопросы, заимствовались из других дисциплин, включая естественные, другие же заново вырабатывались в практике самих наук об обществе. Из физики и физиологии была взята категория энергии (или силы), с помощью которой формальная школа в литературоведении стала объяснять устройство и воздействие художественного текста, а перенесенный в Россию психоанализ — работу бессознательного. Лингвистика после Соссюра вместе с новой теорией литературы и фольклора заново усовершенствовала философское понятие структуры, положив его в основу нового метода изучения культуры и общества — структурализма. На скрещении феноменологического анализа с анализом социологическим и текстуальным стал формироваться новый объект изучения — межиндивидуальная и социальная коммуникация, в ее языковых и неязыковых аспектах.

В условиях до- и послереволюционной России эти идеи встречали как приятие, так и противодействие. С одной стороны, они сталкивались с традиционными объяснительными моделями, одни из которых (например, генезис и эволюция) были общими для европейской научной традиции XIX в., а другие (например, представление о культуре и личности как органических целостностях) составляли специфический набор инструментов русской интеллектуальной культуры; с другой стороны, после 1917 г. им приходилось уживаться и искать точек соприкосновения с идеями марксизма, утверждавшимися в качестве официальной государственной идеологии.

Все эти процессы, которыми формировались не только наиболее исторически перспективные школы в отечественной науке, но и, косвенным образом, ряд передовых течений в науке мировой, образуют особый предмет междисциплинарного изучения, привлекающий к себе все большее внимание исследователей.

Конференция «Русская интеллектуальная революция», продолжавшая собой две другие конференции на близкие темы — «Русская теория: 1920–1930-е годы» (X Лотмановские чтения, 2002) и «Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов» (2009), которые проходили в РГГУ, — должна была решать две задачи: историческую и методологическую. С одной стороны, предстояло лучше уяснить развитие, происходившее в отечественной науке и интеллектуальной культуре в одну из самых плодотворных эпох их истории; с другой стороны, на примере этого развития исследовать

общий процесс междисциплинарной миграции понятий и объяснительных моделей, который сохраняет значимость для современных исследований о человеке и обществе.

В международный организационный комитет конференции вошли Илона Светликова, Елена Шумилова, Аркадий Блюмбаум, Николай Гринцер, Сергей Зенкин, Сергей Зуев, Патрик Серио. В течение двух рабочих дней были заслушаны 17 докладов, авторы которых — признанные специалисты и молодые ученые, занимающиеся интеллектуальной историей и работающие в научных центрах России (Москва, Санкт-Петербург, Иваново) и других стран (Берлин, Лондон, Констанц, Лозанна, Бохум, Прага, Нью-Йорк, Чикаго). Среди тем, которым были посвящены доклады, — философские источники новой «русской теории» (Николай Плотников, Александр Дмитриев, Патрик Флак, Илона Светликова), общие методологические проблемы гуманитарных наук в XX в. (Игорь Смирнов, Ирина Сироткина, Патрик Серио, Сергей Зенкин), проблемы формализма в разных областях науки (Илья Клигер, Борис Маслов, Галин Тиханов, Сергей Фокин, Томаш Гланц, Анке Хенниг), взаимодействие новых научных теорий с русским авангардом (Дмитрий Шукуров), соцреализмом (Роберт Бёрд), с теорией и практикой советского кино (Ян Левченко).

В этих докладах, а также в содержательной профессиональной дискуссии, которая следовала за каждым из них, формировалось новое историческое понятие — «русская интеллектуальная революция», включавшая в себя обновление научных методов, новое переживание и теоретическое осмысление исторического времени, новые отношения между научной теорией, политической идеологией и авангардным искусством.

По материалам конференции будет издан сборник статей.

INTERNATIONAL CONFERENCE “RUSSIAN INTELLECTUAL REVOLUTION, 1910–1930”

Zenkine Serge N.

*Doctor of Philology, Research Professor, Russian State University for the Humanities
Russia, Moscow, GSP-3, 125993, Miusskaya sq., 6*

Tel.: +7 (495) 259-66-68

E-mail: serge.zenkine@mtu-net.ru

Abstract. The short paper contains a review of conference, which was held in the School of Advanced Studies the Humanities, RANEPa, on 2014, October 30–31.

ZENKINE, S. N. (2015). INTERNATIONAL CONFERENCE “RUSSIAN INTELLECTUAL REVOLUTION, 1910–1930”. SHAGI / STEPS, 1 (1), 252–254

Научный журнал
Academic journal

Шаги / Steps
Shagi / Steps

2015, 1 (1)

Основан в мае 2015 г.
Established in May, 2015

Научный редактор

М. В. Ахметова

Редактор английского текста

Х. Баран

Корректурa

Е. П. Шумилова

Верстка, дизайн

В. Ф. Лурье

Academic Editor

M. V. Akhmetova

English Language Editor

H. Baran

Copy Editor

E. P. Shumilova

Layout Editor, Designer

V. F. Lurie

ISSN 2412-9410

Адрес редакции: 119606, г. Москва, просп. Вернадского, 82, корп. 9
Postal address: Russia, 119606, Moscow, Prospect Vernadskogo, 82, corpus 9

Учредитель издания: Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

The journal is published by The Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
In case of reprinting, reference to the journal is obligatory.

Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования и экспертного отбора.
All articles published in the journal have been peer-reviewed.

Подписано в печать

Формат 70×100/16

Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии РАНХиГС
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82-84

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77–61736 от 07.05.2015

© Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

© Авторы

© The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

© Authors